

**ЛЕХАИМ N 12 (200)**

**ДЕКАБРЬ  
2008г.**

**КИСЛЕВ  
5769**

# ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА, СОЗНАНИЯ И ДУХА

*לִיטוֹאֵשׁוֹ אֵיךְ עִינֵי אֵלֹהִים אֵיךְ*

## О сне и сновидениях

### О режиме сна

<...> Вы пишете о времени отхода ко сну, пробуждении и спрашиваете, правильно ли все делаете и не нужно ли менять режим сна.

Главным критерием для Вас должно стать разъяснение Алтер Ребе в Законах изучения Торы относительно учителя детей. Алтер Ребе говорит: учителю не следует ложиться слишком поздно, чтобы недосыпание не сказалось утром на его преподавании.

Очевидно, то же относится к изучению Торы любым человеком: нельзя ложиться слишком поздно, ведь на следующий день это отразится на нашем внимании.

Поскольку необходимое время для сна зависит от индивидуальных особенностей организма, привычек и т. д., я не могу сказать, сколько времени нужно тратить на сон.

Указания в различных законодательных кодексах берут среднее значение и ориентированы на большинство – Тора говорит о потребностях большинства, хотя индивидуальные потребности в сне различны.

Проверьте, сколько часов сна нужно Вам для того, чтобы, проснувшись, Вы могли изучать Тору внимательно и глубоко. Это позволит Вам определить для себя точное время отхода ко сну и пробуждения.

<...> Ясно, что спать следует ночью (это соответствует как открытому, так и скрытому смыслу Торы, а также природе человека). Дневной сон разрешается только в особых случаях; то же, что написано в Книге обычаев Хатам Софера, требует дополнительного исследования.

<...> Вы пишете о беспокоящем Вас состоянии, когда в процессе занятий Вас охватывает глубокий сон.

Изучайте то, что Вам кажется особенно интересным, время от времени меняя занятия.

Не стоит в течение многих часов изучать один и тот же предмет, или же, если Вы изучаете долго один предмет, меняйте формы занятий – переключайтесь от интенсивной формы обучения к более поверхностной.

Понятно, что все сказанное дополняет необходимость укрепления Вашего здоровья в целом, поскольку пребывать в добром здравии важно само по себе. Как сказал Рамбам, «поддержание здоровья и крепость тела – составная часть служения Б-гу».

Относительно сна в шабат см.: Шульхан арух, конец 281-й главы, а также При эц хаим, Шаар, 16, гл 1. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

В любом случае Вы должны точно соблюдать время утренней Шма. Это особенно важно летом, когда очень легко пропустить нужное время для повторения Шма.



### **Как улучшить сон**

Вы пишете об общей слабости и бессоннице. Возможно, это результат неумения вести размеренный образ жизни, отводить определенные часы еде, питью, сну.

Больше того, хорошо известно, как наши ребе требовали, чтобы другие строго и точно придерживались установленного распорядка, а также сами старались следовать этому. Они объясняли, что отсутствие режима и распорядка мешает исполнению Торы и мицвот.

Это относится в особенности к Вам и Вашей работе – ведь Вы заняты священным трудом колена Звулуна, духовно предшествующим труду колена Иссахара. Для того, кто занят таким трудом, необходим установленный порядок, как об этом ясно сказано в стихе: «Радуйся, Звулун, выходу твоему и трудись, как положено».

Проконсультируйтесь с врачом, пусть он рассеет ваши страхи по поводу слабости и бессонницы. Попросите его установить для Вас распорядок сна, еды, питья и т. д. Вам нужно строго следовать этому распорядку.

Да пошлет Вам Б-г исцеляющие слова, исцелит и укрепит Вас.

<...> Вы пишете о проблемах со сном, а также сообщаете, что консультировались с врачом и пока он не знает, чем помочь.

Сначала и прежде всего проверьте мезузы в Вашем доме, а также Ваши тфилин, чтобы удостовериться в их кошерности. Держите кошерную мезузу поближе к кровати (в добавление к мезузе на двери Вашей спальни). При необходимости мезузу следует дважды обернуть. Кроме того, давайте каждое утро по будням несколько центов на цдаку. После каждой утренней молитвы в будние дни, а также на шабат и йом тов повторяйте ежедневную часть Теилим, в соответствии с днями месяца.

Носите проверенный на кошерность талит катан не только в течение дня, но и ночью, в соответствии с указанием Аризаля (которого цитирует Алтер Ребе в сидуре,



Законны цидит). Очень надеюсь, что, тщательно соблюдая все вышесказанное, Вы исправите положение и преодолете бессонницу.

Тем не менее, поскольку любые проблемы, включая те, что связаны с Вашим физическим состоянием, требуют не только духовного целительства, но и лечения естественными методами, обратитесь к врачу и следуйте его указаниям – несомненно, он назначит Вам лекарства.

Не сосредоточивайтесь на проблемах со сном, и скоро Вы полностью выздоровеете.

Чем меньше Вы обращаете внимания на расстройства сна и укрепляете свою веру в Б-га, Творца и Вершителя судеб мира, тем большие благословения Вы получаете от Б-га, и тем большее благополучие ожидает Вас как в борьбе с бессонницей, так и во всех прочих делах.

### **О затрудненном дыхании во время сна**

<...> Почти уверен, что причина затрудненного дыхания во время сна – «нервы». Читайте перед сном Шма, как будто обращаетесь ко Всевышнему. По словам Шма, «Г-сподь – страж твой, Г-сподь – сень для тебя по правую руку твою» (Теилим, 121:5). И тогда, несомненно, все неприятности будут обходить Вас стороной.

То же касается и Вашего здоровья: абсолютно нечего опасаться, поскольку Ваши болезни «растают как воск» (Теилим, 97:5).

Спросите врача, следует ли Вам увеличить промежуток времени между приемом пищи и питья и временем отхода ко сну.

### **О ночных кошмарах: как их преодолеть**

<...> Ваша жена просыпается в середине ночи, крича и плача, и Вы хотите знать, как Вам поступить. Известно – и об этом говорили благословенной памяти наши мудрецы, – что «сны человека проистекают от пустых мыслей в течение дня». Сведя на нет причину, сведем на нет и следствие.

Проверьте мезузы в Вашем доме, а также тфилин, чтобы удостовериться в их кошерности. Пусть Ваша жена даст несколько центов на цдаку, прежде чем зажечь свечи, а также каждое утро дает в будни. Пусть внимательно прочтет Шма перед сном, а также наизусть несколько стихов из Таныи и подумает над ними. Так же внимательно и неоднократно ей следует вникнуть в раздел Шаар а-битахон в книге Ховот а-Левавот. Вашей жене было бы полезно прочитать один-два отрывка из воспоминаний Йосефа-Ицхака Шнеерсона, на идише или на английском, перед чтением Шма и отходом ко сну.

Спросите также жену, не обидела ли она когда-то кого-нибудь – мужчину или женщину. Если обидела, ей следует попросить общего прощения перед тремя людьми. То есть она должна сказать: «Если я оскорбила чью-либо честь, то сожалею об этом всем сердцем и прошу прощения».

Кроме того, она не должна обращать внимания на свои страхи и концентрироваться на них – им даже не стоит сопротивляться. Со временем они сами ослабнут, а потом и вовсе исчезнут.

Тяжелую пищу следует принимать не позже чем за час-два перед сном.

Уверен, когда жена Ваша исполнит все перечисленное, ситуация значительно улучшится: хотя не сразу, но кошмары ее прекратятся.

### **Ночные происшествия**

<...> Ночное мочеиспускание порой связано со словесной неводержанностью. Часто это результат физической слабости. Иногда следует проверить тфилин и мезузы и при необходимости заменить их.

Обратите внимание на все эти вещи и с еще большим усердием изучайте Тору и учение хасидизма.

## МОЛИТВА НУЖНА ТЕБЕ

### *Аадэ Ёақад*

На днях ко мне подошел один еврей, бизнесмен, и рассказал такую историю: «Несколько месяцев назад я вел переговоры о крупном инвестиционном проекте. Для меня было очень важно, чтобы он состоялся. Поэтому я ходил в синагогу, молился, просил Б-га об успехе в делах. А договор возьми да и сорвись в самый последний момент! И как оказалось, слава Б-гу: если бы документ был подписан, я вложил бы деньги, а из-за нынешнего кризиса они бы наверняка пропали...»

Вот хороший ответ на вопрос, которым задаются многие люди: почему Б-г не отвечает на их молитвы? На самом деле Он слышит все наши просьбы и каждый раз принимает решение. Но мы должны понимать, что далеко не всегда то, чего мы хотим, пошло бы нам на пользу. Это как в семье: маленький ребенок плачет и просит шоколадку, а мама не дает. Ребенок просит, потому что шоколад сладкий, а мама знает, что от него бывает аллергия, а можно еще и зубы испортить. Кто прав? Думаю, ответ очевиден для каждого.

В наших отношениях с Б-гом мы – эти самые маленькие дети. Мы просим по своему пониманию, Б-г дает нам по Своему разумению – то, что для нас объективно лучше. Далеко не всегда мы способны понять Его мудрость, ведь наша способность связывать причины и обстоятельства бесконечно меньше, чем у Б-га. Порой Б-г не дает нам того, к чему мы стремимся всей душой, – но это не потому, что Он нас не слышит, и уж тем более не потому, что Он не желает нам добра. Как раз наоборот: Б-г спасает нас от плохих последствий наших же собственных недальновидных желаний, ориентирует нас на наилучший выход из ситуации, в которой мы оказались. Как говорится: «В конце концов все будет хорошо, а если вдруг не хорошо, так это еще не конец».

В Торе сказано: «И будете служить Б-гу всеильному вашему, и Он благословит хлеб ваш и воду вашу; и отвращу от вас болезни». По сути, мы молимся и просим Б-га о том, что Он и так нам дает! Зачем же Ему надо, чтобы мы обращались к Нему с этими просьбами? Тем более что Б-г заранее – и уж в любом случае лучше нас – знает, что нам нужно...

На самом деле молитва нужна больше не Б-гу, а человеку. Когда мы молимся, то есть возлагаем свои надежды и упования на Б-га, – мы лучше понимаем, что все, что у нас есть, пришло к нам от Б-га. А почему нам так уж необходимо это понимать и постоянно об этом помнить? Да прежде всего для нашей же пользы! Б-г хочет от нас, чтобы мы вели правильную, праведную жизнь – для нашего же блага. Но Он не собирается лишать нас свободы выбора. Чтобы нам было хорошо, нужно, чтобы мы сами делали сознательный выбор в пользу добра, сами учились принимать правильные решения. А это гораздо легче человеку, который понимает, что не все, чего ему бы хотелось, пойдет во благо: нужно получить благословение Свыше, потому что Б-г знает лучше. Такой человек не будет слепо следовать своим желаниям и полагаться только на себя и свой ум. Он подумает, а потом сверится с высшим авторитетом – Торой и нашими мудрецами, – чтобы избрать верный путь.

Есть известная история об ученике Бааль-Шем-Това, реб Зеэве Кицесе, который решил поехать в Святую землю. Он пришел к учителю за благословением. Бешт пожелал ему удачи, но предупредил, что в пути надо быть осторожным: знать, какие вопросы будут задавать, и взвешивать слова, когда отвечаешь.

В те времена путешествие в Святую землю было длительным, в основном по морю. Как-то раз корабль, на котором плыл реб Зеэв, пристал у некоего острова, и так случилось, что наш путешественник запоздал с возвращением на судно – оно ушло без него. Что делать? Конечно, искать евреев и просить о помощи. Приходит реб Зеэв в местную синагогу и встречает еврея, по виду совершенного праведника. По поведению, как оказалось, тоже: принял гостя в своем доме, кормил и поил до появления следующего корабля, учил с ним вместе Тору в синагоге... При расставании хозяин, как водится, спросил гостя, как живут евреи в его стране. А реб Зеэв, очарованный прекрасным приемом, не хотел огорчать праведника и ответил, что все слава Б-гу. И только уже в открытом море вспомнил, что Бешт предупреждал его хорошенько подумать, прежде чем отвечать на вопросы. «Что же я наделал?! – сказал себе Зеэв Кицес. – Обманул праведника, сказал ему, что все хорошо, не упомянул о погромах, о притеснениях, о тяжести жизни в изгнании!..» В первом же порту сошел с корабля и отправился обратно в Меджибож. Пришел к своему ребу, а тот рассказал ему такую историю: «Каждый год праотец наш Авраам спрашивает Б-га, сколько нам еще мучиться в диаспоре. Каждый год Б-г отвечает: скоро это закончится, но срок еще не пришел. В последний раз Авраам не выдержал и воскликнул: Б-же, больше ждать и терпеть нельзя! И тогда Б-г сказал ему: а ты спустишься на землю, спроси реб Зеэва Кицеса, можно терпеть или нет? Как он скажет, так и будет...»

Эта притча учит нас не только тому, что нельзя говорить и совершать поступки поспешно, повинувшись собственным эмоциям, но и еще одной важной вещи: если трудно – надо всегда обращаться к Б-гу, Он поможет. Об этом нам говорит и Тора. Человек должен знать, что вся помощь идет от Б-га, что Б-г все может решить. Если когда-то нам кажется, что наша молитва не исполнена – стоит напомнить себе, что человек не знает, каковы были бы последствия буквального исполнения его желаний. Именно поэтому мы говорим в молитве о «благе видимом и осязаемом» – то есть просим, чтобы Б-г всякий раз позволил нам понять и почувствовать, что мы получаем лучшее из того, что можно.

Итак, молитва, обращение к Б-гу, необходима нам для лучшего осознания того, что все от Б-га, что человек не всемогущ. Наши успехи в жизни – не оттого, что мы такие умные и талантливые, а оттого, что так хотел Б-г, потому что Он наделил нас умом и талантами. А если вдруг человек терпит неудачу в делах или заболевает – это Б-г посылает ему испытание, чтобы он что-то понял, в чем-то изменил свою жизнь.

Если вернуться к самому началу нашей сегодняшней истории, к экономическому кризису – мы можем молиться, чтобы его последствия нас не коснулись, но при этом понимать, что Б-г послал нам это испытание ради нашего же блага. Может быть, для того, чтобы мы оторвались, хотя бы на время, от погони за финансовыми успехами и вспомнили, что есть и другие ценности: семья, любовь, дети...

## РАББИ ПИНХАС ИЗ КОРЕЦА

*Nai oee Aidoee*

Окончание. Начало в № 11, 2008

### 4.

Рабби Пинхас еще при жизни прославился во всем хасидском мире, о нем говорили как о великом праведнике и святом человеке. Когда он перебрался в городок Корец, с которым традиция навсегда связала его имя, там собралось великое множество евреев, жаждавших внимать его учению и наставлениям. В числе его последователей были такие прославленные и уважаемые люди, как рабби Рефаэль из Бершади (который продолжил его дело после смерти учителя: вокруг рабби Рефаэля сплотилась группа хасидов, называвшихся бершидерами), рабби Зеэв из Балты, Хазан Заславский, рабби Дов бен рабби Бунем и рабби Зеэв из Житомира.

Рабби Пинхас предпочитал публично поучать пожилых людей. «Перед стариком, – сказал он однажды, – даже если он не семи пядей во лбу, я могу произносить слова Торы безо всякой опаски». В этом он отличался от другого известного цадика, рабби Нахмана из Брацлава. «Не могу я приближать к себе стариков, – говорил рабби Нахман. – Нехорошо быть стариком – ни старым хасидом, ни старым цадиком. Старость вообще вещь нехорошая, ведь каждый день должно происходить обновление». Рабби Пинхас, напротив, приближал к себе глубоких старцев, находя в них то, что ценил более всего: незатейливость, простоту. По той же причине он часто оказывал больший почет простолюдинам, чем известным людям, и выступал с проповедями перед толпой.

Он старался не перегружать паству слишком многими наставлениями одновременно: «Это о том, кто учит больше, чем может исполнить, говорили наши мудрецы: “Если ученость человека преобладает над его деяниями – она долго не продержится”(Пиркей Авот, 3:12)».

«Когда мне надо отчитать еврея и наставить его на правильный путь, я раскрываю перед ним слова мудрости и тем вкладываю в него душу, иногда это можно сделать даже шуткой. Ведь сказано, что мудрость дает человеку жизнь, а мудрость и есть душа. В нашем же поколении многие лишь предъявляют человеку высокие требования, призывая вернуться к Б-гу, – но как он сам, без посторонней помощи, найдет путь ко Всевышнему?!»

Рабби Пинхас, как и другие цадики, верил, что «цадик является источником блага для всех миров», ведь слова цадика идут от чистого сердца и потому обязательно достигают цели и приносят плоды. Его слова, обращенные к почитателям и последователям, действительно достигали цели, и пусть его хасиды были немногочисленны, почти все они отличались истинной Б-гобоязненностью и идеальными человеческими качествами. Они практически не смешивались с другими хасидами и не принимали участия в их деятельности. Когда еврейские общины были охвачены пожаром яростных споров, как внешних – между хасидами и митнагедами, так и внутренних – между Дедушкой из Шполы и рабби Нахманом из Брацлава, рабби Пинхас приказал своей пастве «вообще не говорить об этом, а просто молчать», хотя сам он как-то выразил свое

мнение, отозвавшись о рабби Нахмане словами пророка Ирмеяу (10:16) «Не таковы <люди> в уделе Яакова».

По неизвестной нам причине между рабби Пинхасом и учеником Магида рабби Шломо из Луцка, также проживавшим в Кореце, вспыхнул конфликт. Рабби Пинхас, который всегда отличался миролюбием и старался водворять согласие между людьми, не мог снести возникшей неприязни и перебрался в Острог. Он купил там дом, и в синагоге, где он когда-то молился, «до сих пор приняты гимны, покаянные молитвы и другие обычаи, которые он ввел». Судя по всему, местная община была весьма рада его появлению, так как мы находим в расчетной книге следующую запись: «Послано вино рабби Пинхасу по месту жительства в день приезда». В этой книге содержится также множество записей о посылке ему меда. Известнейшие местные хасиды, рав Ейва и рабби Ушер-Цви, оказывали ему великий почет и в каждый праздник наносили ему визит<sup>[1]</sup>.

Между тем имя рабби Пинхаса гремело во всем хасидском мире. Цадики называли его «святым» и повторяли его слова в своих трудах. Известный цадик рабби Элимелех из Динова часто упоминает его в своей книге и величает «святым раввином, жившим незадолго до нашего поколения, прославившимся своей святой вдохновенностью». Рабби Пинхас оставил большое письменное наследие, но оно выходило лишь отдельными брошюрами или приводилось в сочинениях других авторов, и потому до нас дошла небольшая его часть.

Отношение рабби Пинхаса к другим цадикам того времени определялось его основным качеством – искренностью и не было лицеприятным; вспомним хотя бы его слова о том, что «в нашем поколении есть праведники, которые не остерегаются лжи». Интересно предание о его отношении к ученику Бешта, рабби Яакову-Йосефу из Полонного. После смерти Бешта многие, в том числе и сам рабби Яаков-Йосеф, надеялись, что он, старейший из учеников, займет место учителя. Но, вопреки ожиданиям, его преемником и магидом стал рабби Дов-Бер из Межирича. Рабби Яаков-Йосеф был чрезвычайно расстроен и открыто выражал свое недовольство. Как-то раз он встретил рабби Пинхаса, который обратился к нему с такими словами: «У меня всегда вызывало изумление, что царскую корону, когда царь ее снимает, вешают на крючок. Ведь корона – предмет очень ценный, она возлагается на чело самого монарха. Не правильнее ли было бы передавать корону важной персоне, чтобы носила ее на своей голове, пока корона вновь не понадобится царю? Однако ответ прост: человек может возгордиться и начнет сравнивать себя с царем, а от крючка такого ждать не приходится». Рабби Яаков-Йосеф напрягся, ожидая подвоха, но рабби Пинхас продолжил: «Только столь великий человек, как Моше, был настолько скромнен, что Всевышний мог доверить ему Свою корону, как сказано: “Возрадуется Моше даром доли своей <...> венец великолепия возложил Ты на голову его”<sup>[2]</sup>».



**Могилы рабби Пинхаса и его сыновей. Шепетовка.**

В 1791 году рабби Пинхас покинул Острог и пожелал направиться в Святую землю. Предание рассказывает, что, когда он отбыл, рабби Ейва сказал: «Рабби Пинхас – великий мудрец, он знает, что в Талмуде написано (Сота, 49а): “Когда два мудреца живут в одном городе, один умирает, а другой направляется в изгнание”, и хочет избрать долю изгнанника, но у меня большое сомнение, доведут ли его ноги до Эрец-Исраэль».

По пути рабби Пинхас заехал в Шепетовку, где опасно заболел; он не смог оправиться от болезни и там умер.

Будучи больным, рабби Пинхас сказал сыновьям, что, если увидит рабби Хаима Кроснера, одного из знаменитейших хасидов того времени, сможет излечиться. В субботу, в четвертый день месяца элул, состояние больного резко ухудшилось, и он в очередной раз повторил, что, только повидав рабби Хаима, сможет встать со смертного одра. Раввины, приехавшие навестить рабби Пинхаса, решили нарушить святость шабата и послать рабби Хаиму срочное письмо, чтобы приезжал в Шепетовку как можно скорее, ведь по закону если жизни угрожает опасность, можно нарушить шабат, при условии, что есть хоть малейшая надежда, что это нарушение поможет. Рамбам, описывая законы шабата, говорит, что в случае угрозы для жизни нарушать шабат приличествует даже «величайшим и мудрейшим, и каждый, кто поспешит приложить к этому усилия, достоин похвалы» (Мишне Тора, Законы шабата, 2:3). Но раввины все-таки опасались усаживаться за письмо, они боялись написать лишнее и тем нарушить святость субботы, ведь «написавший две буквы в шабат, должен быть приговорен к казни через побивание камнями» (Шабат, 103а). Поэтому составление послания решено было поручить рабби Якову-Шимшону из Шепетовки, прославленному хасиду, ученику Межиричского

магида, который к тому же слыл мастером слова и знатоком грамматики, и можно было не сомневаться, что уж он-то не добавит ни одной лишней буквы. Каково же было их удивление, когда рабби Шимшон начал свое письмо так: «Сегодня день святой субботы...» – ведь дата в данном случае не играет никакой роли?! Но рабби Шимшон успокоил присутствующих, объяснив, что этим он выполняет заповедь «Помни день субботний, дабы святить его» (Шмот, 20:8). То, что мы нарушаем законы покоя ради спасения жизни, не есть нарушение шабата, наоборот, в этом и есть его соблюдение и освящение, ведь сказали наши мудрецы: «Шабат передан вам в руки, а не вы – в руки шабата» (Йома, 85б). И потому, производя работу в шабат ради спасения больного, мы обязаны исполнить заповедь «Помни день субботний, дабы святить его».

Так письмо было написано и вручено адресату, но рабби Хаим приехать не успел. В пятницу, десятого элула, рабби Пинхас умер и был похоронен на кладбище в Шепетовке. Надпись на его могиле была составлена в стихотворной форме рабби Яковом-Шимшоном и Хаимом Кроснером:

*Çääüü i iéièòüü äóóà äüüíäèí à íàóää,  
i iôíäèäóää íà Í èí ðäüä, üüí à Bèðä,  
íí - äüðäí èá üüò íàóèð,  
ó:èòäèüü íàó è íäüòääí èé,  
ðäááé Í èí ðäüä üüí ðäááé Ääðäüí à Óäí èðí,  
äíçäí äýüèéé íäüäó  
è íðäí üpüèéé i ðíéíí ;  
üèäüé äüü í äí iéièèäüü çäí èý,  
äóóà äüü íüð ääèèä äüü üèíðí i üüð èæíí,  
i iüüí ó äüé i iôíðí íáí ä yò íé i íäèä  
äüüüò íäü äíü i äüüöä yéóé i í ü: äò ó  
«Ä äüüí èöä, ä èíò íðíé äüé i íäüäüí  
Ä-æèé : äèí ääè»<sup>[3]</sup>.*

\* \* \*

Рабби Пинхас из Кореца оставил после себя пятерых сыновей и дочь. Из них особо стоит отметить рабби Моше, который был раввином в Славуте, однако не получал платы от общины, существуя на доходы от основанной им типографии. Он был мастером по изготовлению литер и рисунков и собственноручно гравировал переплеты для печатавшихся у него книг.

Два его сына, то есть внуки рабби Пинхаса из Кореца, – рабби Шмуэль-Аба и рабби Пинхас, тоже принимали участие в работе типографии. После ложного доноса,

будто бы один из еврейских «доносчиков и предателей» был убит по наущению братьев, 9 апреля 1836 года они были арестованы и отправлены в Киев. Там с ними обошлись крайне жестоко, и они три года сидели в полутемных одиночных камерах. Лишь 30 марта 1838 года Высший военный трибунал вынес приговор: полторы тысячи шпицрутенов, лишение всех прав и ссылка в Сибирь. Вот как описывает эту казнь историк Саул Гинцбург в брошюре «Славутский навет»: «Пятьсот солдат строили в две шеренги, одна напротив другой, на расстоянии в несколько шагов. Каждый солдат держал шпицрутен – длинную, изогнутую палку, два с половиною сантиметра в диаметре. Осужденного раздевали до пояса и привязывали к рукам сзади по ружью. Позади него шли два унтер-офицера и медленно вели его, держась за ружья, сквозь строй. Каждый солдат обрушивал на голую спину осужденного палочный удар. Офицеры следили, чтобы удары были производимы с размаху и достаточно сильно».

К подобной экзекуции были приговорены и внуки рабби Пинхаса, братья Шмуэль-Аба и Пинхас. 15 июня 1839 года приговор был утвержден императором Николаем I. Рабби Шмуэлю-Абе было тогда пятьдесят пять лет, а рабби Пинхасу, который был особенно слаб здоровьем, – пятьдесят.

Семнадцатого ава 5599 (1839) года страшный приговор был приведен в исполнение. Раны братьев внушали ужас, долгие недели провели они в палате государственной больницы, залечивая иссеченные спины. Во время наказания щепки откалывались от шпицрутенов, застревая в живой плоти их тел, и последующее извлечение этих заноз из ран приносило братьям нечеловеческие страдания. Только к концу 1839 года их раны поджили, и следующим испытанием был длинный пеший этап в Сибирь под охраной конвоя. Ноги заключенных были закованы в тяжелые цепи. Дорога в ссылку шла через Москву, до которой братья Шапиро дошли только через год, в конце 1840-го. Там они заболели и содержались в тюрьме до выздоровления. Прошения, поданные их сыновьями, отпустить отцов, были отклонены. 23 мая 1841 года Николай I начертал: «Если они больны, пусть остаются в Москве в богадельне. Домой не пускать». Согласно этому указу братья были переведены из тюрьмы в богадельню.

Страдания братьев Шапиро продолжались двадцать лет, из которых шестнадцать они провели в Москве. После смерти Николая I Александр II подписал указ, по которому им были дарованы свобода и разрешение вернуться в Славуту. Рабби Шмуэлю-Абе было тогда уже семьдесят два, а рабби Пинхасу – шестьдесят семь. Оба по возвращении были слабы телом, но сильны духом.

Саул Гинцбург далее пишет: «Перед отъездом братьев из Москвы домой, в Славуту, вокруг них собралось множество сияющих от радости евреев, но рабби Шмуэль-Аба сидел хмурый, поникший. Его спросили: “Что ж вы грустите? Ведь мы столько ждали этого дня!” Он ответил: “Я опасаюсь, что именно сейчас мы потеряем свою свободу. Там, дома, нас встретят как святых мучеников. Хватит ли у нас сил устоять перед искушением, когда нас будут упрашивать стать во главе общины, быть адморами? Я молюсь, чтобы Всевышний уберег нас от этого”. Так оно и случилось – по возвращении домой оба отвергли все просьбы и мольбы волынских хасидов возглавить их общину».

Рабби Шмуэль-Аба умер в 1863 году в местечке Теплик в Подолии в возрасте семидесяти семи лет. Рабби Пинхас умер в Славуте в 1872-м, и ему было восемьдесят. А их отец, рабби Моше, заболел, не снеся всех бед, выпавших на долю семьи, и умер 10-го дня месяца кислев 1837 года.

<sup>[1]</sup> Согласно Талмуду (Сукка, 27б), в праздник еврею следует навестить своего учителя.

<sup>[2]</sup> Из утренней молитвы амида в шабат.

<sup>[3]</sup> У евреев было принято обозначать год таким словосочетанием из Танаха (иногда слегка видоизменяя его), в котором сумма числовых значений ивритских букв равнялась числу, обозначающему год. В данном случае использована цитата из Млахим I, 13:30, и имеется в виду 5551 год от сотворения мира, или 1791 год.

## ТАЙНА ХАНУКАЛЬНОГО ВОЛЧКА

### *Ḥīḳḳī - Ḥayā Dāi ḥīḳḳō*

Наверное, многим известно об обычае играть в волчок на Хануку. На иврите ханукальный волчок называется «свивон». В волчок играют и дети, и взрослые, а иногда все вместе, целой семьей. Волчок имеет четыре грани. На гранях вырезаны четыре буквы: «нун», «гимель», «эй», «шин» – по одной букве на каждой грани.



Эти буквы принято расшифровывать как аббревиатуру четырех слов: «Нес гадоль ая шам» («Великое чудо произошло там»). Существуют волчки, на которых вместо буквы «шин» вырезают букву «пей». Тогда эти буквы расшифровываются так: «Нес гадоль ая по» («Великое чудо произошло здесь»). Различие это объясняют следующим образом: если волчок изготавливают и играют в него в Эрец-Исраэль, то на нем должна быть буква «пей», ибо чудо имело место в Стране Израиля. Если же волчок берут для игры за пределами Эрец-Исраэль, то на нем должна быть вырезана буква «шин» – первая буква слова «шам» («там»). Однако из нижесказанного будет следовать, что в любом случае на волчке следует все-таки вырезать букву «шин» – вне зависимости от географического места.

Игра в волчок на Хануку освящена древней традицией, и буквы, вырезанные на нем, содержат в себе и более глубокий смысл. Объяснить, на что указывают буквы, которые принято вырезать на волчке, можно на основании сказанного рабби Йеудой-Лейбом бен Бецалелем, известным как Маараль из Праги (1525–1609), в его книге «Нер мицва» («Свеча заповеди»), посвященной празднику Ханука.

Он дает толкования этому празднику в свете каббалы и философии. Маараль упоминает о четырех царствах (империях), которые властвовали над еврейским народом и Страной Израиля. Они открылись Даниэлю в пророческом видении в образе четырех животных (см. Даниэль, 7:2–7). Их же увидел в сновидении Невухаднецар, правитель Вавилона, в образе одного человека (см. Даниэль, 2:32, 33).

Маараль объясняет, почему царь Вавилона видел их в образе человека, а Даниэль – в образе четырех животных. Эти царства также упоминаются в Мидраше

(Берешит раба, 2:5). Здесь они называются так: Бавель (Вавилон), Модай (Медия, Персия), Яван (Греко-Сирийское царство) и Роми (Рим). Автор «Нер мицва» соотносит на уровне символики эти четыре царства с четырьмя уровнями бытия – неорганическая природа, растительный мир, мир животных и человек – как они находят свое выражение в человеке.

Низший уровень бытия проявляется в физическом существовании человека – его плоти (тела). Второй – в его душе, которая обеспечивает жизненные функции тела, его рост, развитие, питание и т. п. Эта душа – некое подобие мира растений, где происходят подобные процессы. Третий уровень бытия – мир живых существ – символизирует на уровне каббалы мозг человека и его разум. Ибо мозг – это источник жизни всего организма, а разум – источник духовной жизни человека. Четвертый уровень – сам человек, в котором органически соединяются все три уровня бытия и образуется еще один, высший уровень – существо, обладающее даром речи.

Подобное этим четырем составляющим можно найти и в еврейском народе: 1) его физическое существование; 2) его «душу», которой является Иерусалимский Храм и жертвоприношения в нем: служение в Храме обеспечивало питанием души и тела людей, приносило изобилие в Страну Израиля, стимулировало духовный рост его обитателей, жертвоприношения очищали души людей от грехов, мешающих достойному существованию; 3) «мозг и интеллект» народа – Тора; 4) совокупность всех этих составляющих, которая и образует еврейский народ как органическое целое.

В терминологии Маараля эти четыре составляющие называются так: 1) «гуфани» (букв. «телесное», «физическое») и первая буква в слове «гуфани» – «гимель»; 2) «нафши» («духовное») и первая буква в слове «нафши» – «нун»; 3) «сихли» («интеллектуальное», «разумное») и первая буква – «шин»; 4) «а-коль» («совокупность», «тотальность») и первая буква в слове «а-коль» – «эй».

Каждое из четырех царств стремилось разрушить или погубить одну из составляющих существования еврейского народа. Вавилон стремился погубить его «душу», поэтому в первую очередь был разрушен Иерусалимский Храм. Модай (Персия) стремилась физически уничтожить еврейский народ в дни злодея Амана, о чем рассказывается в Книге Эстер. Эллины стремились лишить Израиль Торы, противопоставляя свою философскую мудрость мудрости Торы. Рим стремился разрушить все составляющие бытия еврейского народа: был разрушен второй Храм, истреблялись евреи, им запрещалось изучать Тору. Рим, согласно каббале, символизирует христианский мир. На протяжении двух тысяч лет изгнания этот мир использовал различные способы уничтожения Израиля – и физическое уничтожение, и насильственное крещение, и ассимиляцию. В молитве на Йом Кипур мы говорим, имея в виду Рим: «Они причинили нам больше зла, чем все другие народы Земли». Поэтому на Рим указывает слово «а-коль».

Ханукальный волчок символизирует колесо истории, центром которого является Израиль. Буква «нун» на одной из его граней – Бавель, буква «гимель» – Модай, буква «шин» – Яван, буква «эй» – Рим. Эти буквы указывают на четыре уровня борьбы разных империй с Израилем. Следует также заметить, что гематрия этих четырех букв: «нун» (50) + «гимель» (3) + «шин» (300) + «эй» (5) = 358. Гематрия слова «нашаш» («змея»): «нун» (50) + «хет» (8) + «шин» (300) = 358. «Нашаш» – намек на первобытного змея – источник зла в мире.



«Монархический колосс». Лубок. Начало XIX века.

**На русской лубочной картинке изображен огромный воин, которого увидел во сне царь Навуходоносор и который символизировал историю смены монархий. Смысл сна был истолкован пророком Даниилом. На шлеме, латах, одежде и на ногах колосса помещены названия монархий и царств и перечислены государи, в них царствовавшие. По сторонам от колосса помещены изображения четырех зверей, которые явились в видении пророку Даниилу.**

Гематрия слов стиха «Ад-най малах, Ад-най мелех, Ад-най имлох» («Г-сподь царствовал, Г-сподь – Царь, Г-сподь будет царствовать») = 358. Гематрия четырехбуквенного Имени: «йод» (10) + «эй» (5) + «вав» (6) + «эй» (5) = 26. В этом стихе оно повторяется трижды, итого:  $3 \times 26 = 78$ . Гематрия каждого из слов «мелех» и «малах» = 90;  $90 \times 2 = 180$ . Гематрия слова «имлох» = 100.  $78 + 180 + 100 = 358$ . Гематрия слова «Машиах» в полном написании этого слова также равна 358: «мем» (40) + «шин» (300) + «йод» (10) + «хет» (8) = 358.

Во всем этом заключен намек на то, что на смену четырем царствам, которые питались от зла первобытного змея, придет царство Всевышнего, и оно наступит с приходом Машиаха.

Согласно древнему обычаю, волчок должен быть деревянным. На это указывает стих: «А ты, сын человеческий, возьми себе деревянную дощечку <посох один> и напиши на ней “Йеуде и сынам Исраэля <...>”» (Йехезкель, 37:16). Объяснение этого обычая и то, каким образом в приведенном стихе содержится указание на ханукальный волчок, достойно отдельной статьи.

## МУДРОСТЬ ПРОТИВ МУДРОСТИ

### *עֵשֶׂת יָמִים אֶתְחַלֵּק*

«Что такое Ханука? Учили наши учителя: 25 кислева начинаются дни Хануки, и восемь этих дней – запрещенные для надгробных речей и поста.

Когда греки ворвались в Храм, они осквернили все масло в чертоге, но когда царство дома Хасмонеев набрало силу и победило их, то искали, но не нашли чистого масла, кроме одного кувшинчика, запечатанного печатью первосвященника, и не было в нем масла более, чем чтобы лишь один раз зажечь менору. Однако произошло с ним чудо, и зажигали из него восемь дней.

На другой год установили и исполнили эти дни как праздничные, с восхвалением Всевышнего и вознесением Ему благодарности» (Шабат, 21б).

Событие это относится к середине третьего тысячелетия от сотворения мира согласно еврейской традиции, то есть к середине II века до н. э. Страна Израиля оказалась тогда под властью эллинистического Сирийского царства, управляемого Селевкидами (потомками полководца Селевка, которому досталась Сирия при разделе империи Александра Македонского). Один из них, Антиох по прозвищу Эпифан, «Безумный», поставил себе задачу искоренить Тору Израиля и принялся осуществлять это намерение с беспрецедентной жестокостью. Он был уже не столь далек от своей цели, когда крошечная горстка религиозных евреев во главе с семьей Хасмонеев, потомственных коенов (служителей Храма), расстроила все его планы: подняла восстание, разгромила в 100 раз (!) превосходящую по численности имперскую армию, освободила Иерусалим и заново освятила оскверненный Храм. Братья Хасмонеи положили начало новой царской династии и постепенно освободили от оккупантов всю Страну Израиля.

Однако это известно нам из других источников. Гемара же упоминает лишь чудо с кувшинчиком масла, совершенно игнорируя его предысторию. Почему?

Вызывает удивление и последовательность обсуждения темы Хануки. Сначала сообщается ряд законов и установлений, касающихся зажигания ханукальных светильников, в то время как суть этой заповеди, казалось бы, всем ясна и никаких вопросов не вызывает. И вдруг, словно спохватившись, Гемара спрашивает: «А что это, в сущности, такое – Ханука?» Создается впечатление, что мудрецы Талмуда прибегли к концу что-то очень важное (потому что затем они переходят к совершенно иной теме). Однако ответ, который предлагает Гемара, настолько лаконичен, что далеко не удовлетворяет вдумчивого исследователя. Он побуждает к новым изысканиям: что здесь может скрываться под внешней простотой выражения?

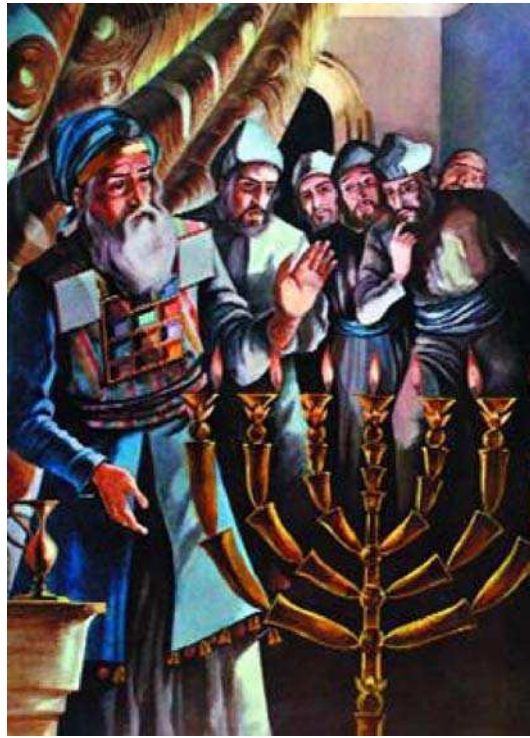
Например, с давних времен ученых Торы занимала проблема числа дней Хануки: почему именно восемь? Потому что, говорят, восемь дней требовалось для изготовления нового масла. Но это совершенно непонятно: собрать маслины и выжать из них масло можно за несколько часов, тем более что самое высококачественное масло для меноры получали не из-под пресса, а выбивая его из маслин в ступе. Так что уж дня, безусловно, хватило бы – а тем временем в меноре горело бы масло из найденного кувшинчика.

И вообще, почему считается, что чудо длилось восемь дней? Раз найденного масла было достаточно, чтобы зажечь менору один раз, значит, в первые сутки сгорание масла было естественным процессом, и чудо, следовательно, длилось не восемь, а семь дней!..

Проще всего, пожалуй, ответить на последние два вопроса. Восемь дней требовалось для изготовления не просто оливкового масла, а ритуально чистого масла. Поскольку евреи, оставшиеся верными Торе, только что закончили бой, то все они были нечисты трупной скверной, а очищение от нее, согласно закону Торы, занимает не меньше семи дней. Потому-то и понадобилось восемь дней: семь для очищения людей и день для изготовления масла.

Что же касается вопроса о времени, в течение которого длилось чудо, то на него есть несколько ответов (см. Бейт Йосеф, глава о Хануке). Вот тот из них, который в наибольшей степени соответствует простому смыслу слов Талмуда: «...И зажигали из него восемь дней». То есть когда в первый раз найденным маслом залили светильники меноры, оказалось, что кувшинчик остался таким же полным, как и был. Следовательно, уже тогда все поняли, что произошло чудо! То же самое повторялось еще семь дней: когда наполняли светильники меноры, кувшинчик оставался полным<sup>11</sup>.

Но этим проблема не исчерпывается. Исследование чудес, о которых рассказывает Тора, выявляет общий принцип: Всевышний совершает чудо лишь тогда, когда обойтись без него невозможно. Например, когда после Исхода из Египта сыны Израиля оказались в безвыходном положении (позади – фараон с войском, впереди – море), Всевышний рассек море; когда не стало воды – Он дал чудесный колодец; когда кончились съестные припасы – послал ман, «хлеб с Небес»... Если же из сложной ситуации можно выйти естественным путем, Всевышний не только не меняет законов природы, но прямо запрещает полагаться на чудо (Псахим, 64б; Кидушин, 39б). И возникает очень острый вопрос касательно Хануки. Согласно закону Торы, когда нет чистого масла, в менору разрешается залить масло оскверненное. Почему же Хасмонеи не сделали этого? И раз Всевышний все-таки совершил столь впечатляющее чудо, что в честь него установили новый праздник, значит, Он одобрил такой образ действий. Но как увязать его с Алахой, выражением воли Всевышнего?



Чтобы найти ответы на эти вопросы, необходимо выйти за пределы так называемой Открытой Торы и обратиться к сфере каббалы и учения хасидизма. Прежде всего следует понять, так сказать, «всемирно-историческое значение» Хануки, а тогда найдут свое разрешение и остальные проблемы – более частного характера. Но сначала необходимо остановиться на некоторых понятиях каббалы, необходимых для понимания ее интерпретации событий, связанных с Ханукой.

Совокупность принципов управления Творцом сотворенным миром обобщается каббалой в понятии сфирот. При этом даже сколько-нибудь исчерпывающего объяснения, что такое сфира, дать невозможно, так как это понятие относится к области аксиоматических понятий каббалы<sup>[2]</sup>. Однако для наших целей достаточно такого (заведомо неполного) определения: каждая из сфирот – это образ, в котором Творец являет Себя Своим созданиям, чтобы они получили некоторое представление о Нем. Так, когда мы изумляемся, как премудро устроен мир, мы имеем в виду разнообразные проявления сфиры Хохма («Мудрость»); когда ощущаем доброту Всевышнего – воспринимаем воздействие сфиры Хесед («Доброта»); когда испытываем страх перед Его наказанием – представляем себе Всевышнего в образе грозного судьи, олицетворением которого является сфира Гвура («Мощь» в смысле «Строгость»), и т. д. Однако во всех этих случаях мы отталкиваемся от своего повседневного опыта и «приписываем» Всевышнему качества, которыми обладаем сами<sup>[3]</sup>, потому что адекватное определение Б-жественного невозможно, пока мир наш остается в нынешнем состоянии: таком, при котором Творец полностью скрывает Себя от Своих созданий.

И тут мы подходим к еще одному каббалистическому понятию, имеющему важнейшее значение для понимания сути окружающего нас мира и нашей собственной сути. Всевышний совершенно скрыл Себя от человека, чтобы у того сохранялась свобода выбора. Ведь если бы Б-жественное проявляло себя открыто, именно как Б-жественное, человек подвергался бы столь сильному влиянию, что у него уже не оставалось бы возможности избрать то, что хотя бы в какой-то степени противоречит воле Творца. Он, однако, хочет, чтобы человеку казалось, будто ничто не ограничивает его свободу выбора, – и ради этой цели сотворены особые духовные силы. Их назначение – «заслонять»

Творца от человека, а также искушать человека, стараясь отвлечь его от исполнения миссии, возложенной на него Всевышним.

Эти силы называются клипот. Слово «клипа» означает «скорлупа», «кожура». Это тоже метафора: как скорлупа ореха скрывает под собой ядро или как кожура плода скрывает его мякоть, так клипот скрывают от нас Б-жественные силы, поддерживающие существование и жизнь мира и всего, что есть в нем.

Поскольку клипа противостоит Святости, она – Зло, скверна. Однако не следует думать, будто клипа проявляет себя непременно в образах отвратительных, отталкивающих. Если бы это было так, она никого не соблазнила бы. Наоборот, человеку она является в самых привлекательных формах. Как в Торе сказано о причине, почему первая женщина, Хава, нарушила запрет на плоды «Древа познания Добра и Зла»: «И увидела жена, что дерево это хорошо для еды и что услада оно для глаз, и вожделенно это дерево для развития ума...» Вследствие этого «...взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему с собою, и он ел» (Берешит, 3:6).

Поскольку клипа противостоит Святости, у нее есть все те же самые силы, что и у Святости, то есть аналоги сфирот. Любви ко Всевышнему клипа противопоставляет страсть к земным наслаждениям, боязни Всевышнего – страх земных бед, а сфире Хохма противостоит «мудрость» клипы. И так же как в каждом человеке идет борьба между добрыми и дурными побуждениями, в масштабе всего мира клипа ведет войну со Святостью, и в этом-то состоит сокровенный смысл истории. Ханука – одно из самых ярких событий этой войны.

Гонения Антиоха Эпифана – это первый в истории человечества пример попытки посягнуть на духовную жизнь народа Израиля. Проявление ожесточенной ненависти к евреям как к народу начинается еще в период египетского изгнания; после Исхода из Египта – это нападение Амалека; вся книга Шофтим («Судьи») – это история войн, которые вел Израиль с народами, старавшимися поработить его. Однако никто из этих врагов не дерзнул затронуть религию евреев, их служение Всевышнему. Более того, все они уважали еврейскую Тору и в известной мере воспринимали ее влияние. Почему же Эллинистическое царство отважилось на большее, чем все ненавистники Израиля до тех пор?

Распространяя свою культуру почти на весь тогдашний цивилизованный мир, греки считали, что исполняют великую миссию. Поэтому такую ярость вызвало у них «упрямство» небольшого народа, не желавшего поступиться своими «безумными заблуждениями». Согласно греческой философии, Творец оставил сотворенный Им мир на волю установленных в нем законов, и никакое общение с Ним невозможно. Очевидно, что это представление – диаметрально противоположность Торе, целиком основанной на пророчестве, центральное понятие которой – ашгаха пратит, непрерывное «соучастие» Творца абсолютно во всем, что происходит в мире

Поэтому целью гонений Антиоха было «заставить забыть Тору Твою»<sup>[4]</sup> – то есть Б-жественность Торы, превышающую возможности человеческого разума. Эллинистическому мировоззрению не противоречило изучение евреями Торы как создания человеческой премудрости; однако нельзя было, чтобы ее считали Б-жественной Торой, данной Всевышним. Греки настаивали: Тора – такой же плод человеческой мудрости, как философия греческих мудрецов. И ту же самую цель греки преследовали, запрещая исполнение заповедей как «законов, установленных волей Твоей»<sup>[5]</sup>. Особую ярость у них вызывали именно те заповеди, смысл которых априори недоступен

человеческому разумению и которые исполняются лишь из осознания, что такова воля Всевышнего. Но даже их эллины разрешили бы, если бы им было дано хоть какое-то рациональное объяснение: мол, несмотря на то, что смысл этих законов сейчас непонятен (поскольку давший их имел какой-то необыкновенный ум), в них есть какой-то смысл, который в принципе может быть когда-нибудь понят. Однако они не могли стерпеть исполнения таких заповедей безо всякого объяснения – единственно лишь из представления об их Б-жественности, из-за безропотного принятия на себя «ига высшей власти Творца».

Учение хасидизма раскрывает, что война греков с Хасмонеями не была обычной войной (см. об этом у рабби Дов-Бера [Мителер Ребе], Шаарей ора). Любое событие на земле в действительности является отражением происходящего в духовной сфере. И эта война была борьбой премудростей клипы с мудростью Торы. Вот почему эллины осквернили все масло в Храме: масло – символ Б-жественной мудрости, которая выше человеческого разума. И весь смысл ритуальной чистоты и нечистоты – выше разума. «Не мертвый оскверняет, и не вода очищает, но – приказ Я отдал, закон Я установил» (Бемидбар раба, 19:1). Человеческий ум не в состоянии объяснить, почему мертвый человек оскверняет и почему микве очищает: таков строгий закон, установленный Творцом, и человек не имеет права подвергать его сомнению. Но поскольку понятие ритуальной нечистоты абсолютно недоступно человеческому уму, эллины яростно боролись с Торой и осквернили все масло в Храме.

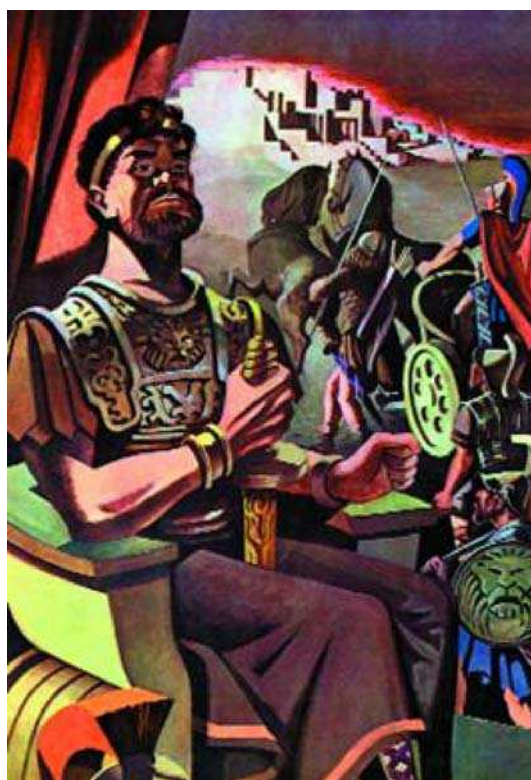
Победа на земле тоже зависит от того, кто побеждает в духовной сфере. Греческая философия была чрезвычайно прельстительным «плодом с Древа познания Добра и Зла»: недаром свою привлекательность и очарование она сохранила до сегодняшнего дня. Хохма Торы, чтобы победить мощную хохму клипы, должна была обрести какую-то дополнительную силу. И тут мы подходим к самому главному пункту, с прояснением которого все вопросы, связанные с Ханукой, получают свое разрешение.

Каббала и вслед за ней учение хасидизма объясняют, что в храмовой меноре семь светильников соответствуют семи сфирот, которые называются Хесед («Доброта»), Гвура («Суровая мощь»), Тиферет («Прекрасное»), Нецах («Упорство»), Од («Признательность»), Йесод («Первооснова») и Малхут («Царская власть»). Эти семь сфирот обозначают семь основных свойств человеческого характера, от сочетания которых рождается невообразимое множество индивидуальностей. Таким образом, менора – это источник всех душ Израиля.

Известно также, что свет меноры был светом сверхъестественным: он свидетельствовал о том, что Всевышний присутствует в среде сынов Израиля. Это был свет Б-жественной Хохмы: спускаясь с Небес, он «облачался» в свет семи светильников меноры, от которых расходился по всему миру<sup>16</sup>. Однако, когда хохма клипы дерзнула напасть на Хохму Торы, чтобы вновь зажечь храмовую менору, света Б-жественной Хохмы оказалось недостаточно. Греки, ненавидевшие евреев, в душе которых горел Б-жественный свет, хотели, чтобы евреи перестали отличаться от них самих, и постарались этот свет загасить. Чтобы одолеть хохму греческой клипы, евреи должны были «притянуть» в наш мир столь высокий Б-жественный свет, от которого все клипот разбежались бы, как мрак бежит от света.

Этот свет невозможно «притянуть» простым исполнением заповедей Торы (так как оно остается в пределах мироздания). Необходимо деяние, выходящее за границы обычного: служение евреев Всевышнему должно было стать выше границ разума и здравого смысла – в абсолютной готовности к самопожертвованию, безо всяких видов на

успех или вознаграждение, месирут нефеш. Сила для подобного деяния коренится в самой сути еврейской души и выявляется при исключительных обстоятельствах, когда не остается никакой возможности быть евреем перед лицом духовного уничтожения (см. Танья, 24а, 25а-б). Именно это произошло тогда: война против эллинов велась с полной готовностью к самопожертвованию (слабые – против сильных, немногие – против многочисленных и т. д.<sup>[7]</sup>) – за Всевышнего, за Его Тору и заповеди. Месирут нефеш Хасмонеев достигло Самой Б-жественной Сущности и вызвало мощнейший поток Б-жественного света – так произошло чудо Хануки. Оно – кульминация истории о восстании Хасмонеев, свидетельство высшего благоволения и помощи Всевышнего евреям, самоотверженно защищавшим свою религию, свое мировоззрение и свой образ жизни. Все-таки военные победы, при всей своей необъяснимости с рациональной точки зрения, – лишь подготовка чуда Хануки. Поэтому не «Алель» и не «Аль а-нисим» – благодарение за победу в войне с эллинами, – а ханукальные огни указывают на неразрывную и ничем не ограниченную связь евреев со Всевышним (см. Ликутей сихот, т. 3, Ханука).



Вот почему в ханукальной меноре восемь светильников. Семь из них соответствуют семи светильникам храмовой меноры, а восьмой – свет Б-жественной Хохмы. Тем не менее все они находятся на одном уровне, потому что по сравнению с Б-жественной Сущностью все сфирот равны: и самая нижняя из них, Малхут, и самая высокая, Хохма, находятся как бы на одном уровне. И все же восемь светильников ханукальной меноры вместе светят светом Б-жественной Сущности<sup>[8]</sup>, «притянутым» самопожертвованием евреев и нисходящим с Небес каждый год в годовщину чуда Хануки.

Заметим, это тот самый свет, который откроется в нашем мире в будущем, когда мир будет полностью очищен и освящен исполнением заповедей Торы и станет формой, способной воспринять и открыть свет Б-жественной Сущности. Так что Ханука – это ежегодный «аванс» Грядущего освобождения, на которое намекает опять-таки количество ее дней. Восемь – число, имеющее особое отношение к дням Машиаха<sup>[9]</sup>. В самом общем плане оно указывает на то, что выше рамок природы<sup>[10]</sup>.

Теперь понятно, почему Хасмонеи не хотели зажечь в храмовой меноре нечистое масло. Им нужно было продемонстрировать, что мудрость Торы должна оставаться чистой: в чертог Торы нельзя впускать «греческую премудрость». И Всевышний одобрил их намерение, чтобы все последующие поколения знали: если допустить даже малейшую уступку в вопросе о Б-жественности Торы, позволить сравнить Тору с любым – даже самым возвышенным – плодом человеческого интеллекта, то «чистое масло» не только не очистит «нечистого масла», но, напротив, и «чистое масло» осквернится. И это может привести, не дай Б-г, не только к катастрофе духовной, но и к катастрофе в буквальном смысле слова. Поэтому, подчеркивает Любавичский Ребе (см. Ликутей сихот, т. 2, приложение I, Ханука), Рамбам именно в связи с осквернением святынь упоминает о том, что греки «простерли руки свои на достояние и на дочерей» евреев (см. Мишне Тора, Законы о чтении Мегилы и о Хануке, 3:1): все это связано.

Как случилось, что греки получили святыню? Дело в том, что евреи сами тянулись к грекам – «разрушители твои и разорители из тебя же и вышли!» (Йешаяу, 49:17). Однако, если греков, греческую премудрость не впускают в чертог Торы, тогда «масло» (то есть Мудрость) остается «чистым маслом» (Б-жественной Мудростью).

Вот что содержится в кратком рассказе Гемары о том, «что такое Ханука».

И в качестве постскриптума – о том, как на земле отразилась духовная победа Хохмы Торы над премудростью клипы.

Даже самый поверхностный взгляд на историю древнегреческой философии выявляет, что после чуда Хануки развитие ее резко пошло на спад. Учителем Александра Македонского, в результате войн которого возник эллинистический мир (и было предопределено столкновение с еврейской Торой), был Аристотель. Его учение – пик теоретической мысли древних греков, после него интерес к теоретическому объяснению происхождения и строения мира стал угасать. На первый план выдвинулись чисто практические темы – этика и мораль, а умозрительное творчество ослабело. В дальнейшем одни течения философской мысли принимали все более явную религиозную окраску (то есть переходили в свою противоположность), а другие вырождались в забаву знатных дам. Так, в эпоху Римской империи стало модным держать в своем доме эдакого «учителя добродетели»...

<sup>[1]</sup> Это объяснение имеет преимущество перед тем, например, согласно которому масло в меноре горело семь дней. Есть целый ряд действий, которые связаны с заповедью зажечь менору: двухэтапное очищение ее светильников от сажи, заливка их свежим маслом и зажжение огня в них. Из приведенного нами объяснения следует, что в течение первых восьми дней после возобновления храмового служения заповедь зажечь менору исполнялась полностью, во всех деталях. Согласно другому объяснению, менору зажгли только один раз, и в последующие семь дней заповедь о ней не исполнялась вовсе.

<sup>[2]</sup> См.: Лехаим, 2007, № 8, статью Ш. Силмана «Тора, математика и грядущее освобождение», в которой доказывается, что источник аксиоматического метода – Тора (а именно каббала).

<sup>[3]</sup> Тора разрешает такой путь познания Б-жественного, формулируя его как принцип: «Из плоти своей узрю Б-жество» (Иов, 19:26). Однако лишь при соблюдении необходимого условия: постоянно помнить, что все подобные «атрибуты» Творца – не больше чем метафора.

<sup>[4]</sup> Слова из дополнения «Аль а-нисим» к молитве «Шмоне эсре» на Хануку.

<sup>[5]</sup> Там же.

<sup>[6]</sup> Окна в Храме были необычной формы: узкие изнутри и расширяющиеся наружу (см. Млахим I, 6:4 и комментарии), так как предназначались для того, чтобы не впускать свет в Храм снаружи, но выпускать свет из Храма наружу.

<sup>[7]</sup> См. благодарение «Аль а-нисим». Заметим, что и само начало восстания имело характер деяния, выходящего за рамки не только здравого смысла, но и Алахи. Престарелый Матитьяу зарубил еврея (готового к поруганию закона Торы), но не подал знака напасть на греков. Очевидно, месирут нефеш Хасмонеев с самого начала ориентировалось на принцип: «Время действовать ради Г-спода – расторгли Тору Твою!» (Брахот, 5:5).

<sup>[8]</sup> Теперь понятно, почему запрещается пользоваться светом ханукальной меноры: он указывает на связь евреев с Б-жественной Сущностью и потому не может иметь никакой другой цели. Весь смысл света ханукальных огней заключается в них самих (см. Ликутей сихот, т. 3, Ханука).

<sup>[9]</sup> Как сказано в Талмуде (Арахин, 13б), «лира в Храме была с семью струнами <...>, а в дни Машиаха их будет восемь».

<sup>[10]</sup> Подробно это объясняется в маамаре Ребе Раяца «Вайеи байом а-шмини» (Сефер а-мааморим 5704). Кстати заметим, просьбу об излечении больных установили именно в восьмом благословении молитвы «Шмоне эсре».

# ЧТО ДЕЛАТЬ СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ, КОТОРОЙ НЕ УДАЕТСЯ ЗАЧАТЬ РЕБЕНКА

*Аזני עי עיני*

Раввин Давид Мишлов, читавший в Университете Бар-Илан курс «Семейная жизнь в свете Алахи», нередко говорил на лекциях: «Есть проблемы, у которых в принципе не может быть “хороших” решений. Например, если больные родители человека живут в другом городе и он должен выбирать между обязательствами по отношению к ним и к своей семье, – любое решение раввина неизбежно будет очень болезненным». В этой статье мы поговорим об одной из таких проблем, связанных с заповедью плодиться и размножаться.

Согласно Торе, Всевышний, сотворив первых людей, обратился к ним с такими словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею...» (Берешит, 1:28). Еврейская и христианская традиции понимают эти слова по-разному. Христиане считают, что в данном случае речь идет о благословении, поскольку перед этим сказано: «И благословил их Б-г». Однако с еврейской точки зрения этот стих следует понимать как заповедь, в соответствии с которой человек обязан иметь детей. Как писал Рамбам, «нам заповедано размножаться, чтобы род человеческий не пресекался» (Книга заповедей, разд. Повелевающие заповеди, с. 212).

Приведенные слова Всевышнего были обращены как к мужчине, так и к женщине. Однако мудрецы Талмуда после долгой дискуссии пришли к выводу, что эта обязанность возложена только на мужчин. Женщина же, если хочет, может оставаться бездетной, не нарушая при этом закон (Мишна, Йевамот, 6:6). Этому решению есть несколько объяснений. Наиболее логичным из них нам кажется следующее: беременность и роды всегда связаны с серьезной опасностью для здоровья и даже жизни. Обязать же человека рисковать жизнью нельзя.

Заповедь плодиться и размножаться считается в иудаизме одной из важнейших, ибо, как справедливо заметил средневековый испанский автор, «благодаря этой заповеди есть возможность исполнить и все остальные» (Сефер а-хинух, заповедь 1). Однако в жизни, к сожалению, нередко возникают ситуации, препятствующие ее исполнению. Причем это относится не только к одинокому человеку, который по какой-то причине не нашел «добродетельную жену», но и к тому, кто состоит в браке и честно живет по законам Торы, в надежде произвести на свет ребенка.

Причины бесплодия различны: от медицинских до алахических (если овуляция наступает у женщины раньше, чем она вправе пойти в микве после окончания месячных). Даже современной медицине далеко не всегда удастся решить эту проблему. Поэтому во всех поколениях у евреев, к сожалению, было много бездетных пар, спрашивающих раввинов, как им поступать.



**Авраам советуется с Сарой. Джеймс Тиссо.**

Эта проблема обсуждается уже в Мишне. По словам мудрецов, «если человек прожил с женой десять лет и она не родила ему ребенка, он не должен сидеть сложа руки» – то есть, как разъясняет Раши, ему следует «либо взять вторую жену, либо развестись с первой и жениться вторично» (Мишна, Йевамот, 6:6 [64а], см. также Раши).

Говоря «или, или», Раши в данном случае рассуждал сугубо теоретически. Ибо даже в его эпоху большая часть ашкеназских общин официально запретила многоженство (установление этого запрета обычно приписывают величайшему ашкеназскому законоучителю рабейну Гершону Светочу Изгнания). Поэтому для бездетной пары реально существовал лишь один вариант – развод и попытка создать новую семью.

Поскольку тогдашние врачи не могли точно установить, кто из супругов бесплоден, то в случае развода бездетной пары и муж, и жена имели право сочетаться вторым браком. Однако, если женщине вновь не удавалось забеременеть, это считалось доказательством ее бесплодия, и в таком случае рассчитывать на третий брак она уже, как правило, не могла (Рамбам к Йевамот, 6:6).

Разумеется, к данному закону было множество дополнений и разъяснений, регламентирующих его применение. Например, если муж надолго уезжал или находился в плену, то время его отсутствия при вычислении десяти бесплодных лет не учитывалось. Этот закон распространялся также на случаи болезни одного из супругов. Кроме того, считалось, что святость Земли Израиля избавляет человека от бесплодия. Поэтому, если бездетная пара переселялась в Святую землю, отчет десяти лет начинался заново, с момента репатриации. (Вавилонский Талмуд, Йевамот, 64а). Тем не менее, несмотря на все эти установления, в каждом поколении оказывалось немало бесплодных пар, и по закону они должны были расстаться.

В мидраше есть рассказ о благочестивых супругах, которые, не родив за десять лет ребенка, по обоюдному согласию, развелись, поняв: «Творцу нет от нас никакой пользы» (Берешит раба, 17:7). Однако далеко не все евреи вели себя столь смиренно в подобной ситуации. Поэтому раввинам нередко приходилось решать, что делать, когда либо жена, либо муж категорически не желали разводиться, хотя у них не было детей.

Согласно букве закона, муж вправе развестись с женой независимо от ее согласия. Однако уже в Средние века упоминавшийся выше рабейну Гершом запретил многоженство, постановив, что развод без согласия жены недопустим. Этот закон, получивший название Херем де-рабейну Гершом, был принят большинством еврейских общин. Соответственно, если бездетная жена не желала разводиться, ее муж оказывался в очень трудном положении, поскольку для того, чтобы выполнить заповедь плодиться и размножаться, ему пришлось бы нарушить раввинский запрет: либо взять вторую жену, либо развестись с первой без ее согласия.

Мнения раввинов, как поступать в таких случаях, разделились. С точки зрения большинства, постановление рабейну Гершома не имеет силы, ибо речь идет об исполнении заповеди. Значит, человек может по выбору взять вторую жену или развестись с первой, не добившись ее согласия. При этом предпочтение явно отдавалось второму варианту. Этому мнению, в частности, придерживались рабби Мордехай бен Гилель (Германия, XIII век; Мордехай к Йевамот, 112), рабби Ашер бен Йехиэль (Рош; Германия и Испания, XIII–XIV века; Респонсы Роша, рес. 42), рабби Шмуэль Фейвиш (Польша, XVII век; Бейт Шмуэль, Эвен эзер, 154:53) и многие другие. С этим мнением согласился и современный главный раввинат Израиля, постановив, что этот закон имеет силу, даже если речь идет о нерелигиозной паре. Правда, при этом было сделано важное дополнение: развод без согласия жены возможен только в том случае, когда суд полностью уверен, что муж действует только ради заповеди плодиться и размножаться, а не использует отсутствие детей как предлог, позволяющий ему развестись в обход обычных формальностей. Поэтому если у раввинов возникает хоть малейшее сомнение в характере отношений супругов – например, они узнают, что муж регулярно ссорится с женой, имеет любовницу и т. д., – бракоразводный процесс проходит обычным порядком.

Мнения раввинов разделились и по поводу возможности взять вторую жену. Знаменитый пражский раввин рабби Йехезкель бен Йеуда Ландау (XVIII век) считал двоеженство недопустимым даже ради исполнения заповеди (Ноде бен-Йеуда, Эвен эзер, 1). К его мнению присоединились многие законоучители, в частности, прославленный рабби Моше Файнштейн, запретивший брать вторую жену даже в том случае, когда у первой была хирургически удалена матка (Игрот Моше, Эвен эзер, 1:3). С другой стороны, не менее известный ученый рабби Йехиэль Эпштейн (Шульхан арух) придерживался противоположного мнения. По его словам, если после десяти лет бесплодного брака женщина не желает разводиться, ее муж может взять вторую жену (Шульхан арух, Эвен эзер, 1). Так же считали и некоторые другие раввины, впрочем добавляя при этом, что разрешение на второй брак следует получить не менее чем у ста раввинов. Более того, кое-кто предлагал заручиться согласием раввинов из трех разных стран.

Теперь поговорим о ситуации, когда муж не хочет разводиться с бездетной женой. Уже мудрецы Талмуда разошлись в том, как следует поступать в этом случае – принудить супруга расторгнуть подобный брак или оставить все без изменений.

«Сказал рабби Йеуда: “Мы расторгаем только изначально незаконные браки...”» Сказал рабби Тахлифа бар Авимей от имени Шмуэля: “Мы также заставляем дать развод после десяти лет бездетного брака”» (Шульхан арух, Эвен эзер, 154:10, см. также Рама).

И раввины следующих поколений не пришли к консенсусу: одни соглашались с равом Тахлифой, другие возражали, утверждая, что в их общинах так никогда не поступали. В конце концов рабби Йосеф Каро постановил, что, если бездетный муж не хочет разводиться с женой, еврейский суд должен заставить его сделать это, не

останавливаясь даже перед телесными наказаниями. А рабби Моше Исерлес (Рама) заметил: в ашкеназских общинах «мы не практикуем подобное принуждение» (Шульхан арух, Эвен эзер, 154:10, см. также Рама).

Колебания раввинов вполне понятны. Как сказано в известном мидраше, найти подходящую пару так же трудно, как рассечь воды Красного моря. Поэтому если два человека живут в мире и согласии, то разрушать подобный союз даже ради очень важной заповеди – дело нелегкое и, наверное, не слишком хорошее.

Более того, в иных случаях, когда муж, в принципе, был готов дать развод бездетной жене, однако сомневался в своем решении, раввины нередко советовали ему не спешить. К примеру, к рабби Мешуламу Фиорде (XIX век) как-то обратились с таким вопросом: должен ли человек развестись с бездетной супругой, которая не только безукоризненно выполняет свои обязанности, но и ухаживает за немолодым мужем, когда он долго болеет, а еще ведет семейный бизнес, что позволяет ему заниматься Торой. В ответ рабби Фиорде написал, что найти столь преданную и Б-гобоязненную женщину «в наши дни» действительно трудно. А кроме того, никто не в состоянии предвидеть, родит ли ему ребенка другая женщина. Поэтому в подобной ситуации разводиться, скорее всего, не следует. А если человек очень хочет наследника, пусть возьмет на воспитание сироту (Бигдей кеуна, Эвен эзер, 1:73).



**Авраам и три ангела. Ян Викторс.**

Сходной позиции придерживался и упомянутый выше рабби Йехиэль Эпштейн. По его мнению, только Всевышнему известно, почему у той или иной пары нет детей. Поэтому если есть хоть малейшая возможность предположить, что женщина не бесплодна, но не может забеременеть по каким-либо причинам, муж не обязан разводиться с ней (Шульхан арух, Эвен эзер, 154:27).

Не только упомянутые раввины рассуждали подобным образом. Поэтому не стоит удивляться, что еврейская история знает десятки, если не сотни примеров, когда люди, чьи праведность и познания в Торе были вне подозрений, жили и умирали бездетными, но не разводились с женами, не способными родить.

Таким образом, бездетной семейной паре еврейское законодательство предлагает несколько возможностей для решения ситуации. Каждая из них довольно болезненна.

Поэтому и супругам, и раввину, к которому они обратятся за советом, следует действовать неспешно и осмотрительно, руководствуясь принципом «не навреди».

Кроме того, не нужно забывать, что Всевышний милостив и всемогущ. Поэтому даже в безвыходной ситуации иногда находится решение, вполне устраивающее всех. Оптимистическим рассказом об одном таком случае мне хотелось бы завершить эту статью, посвященную не слишком веселой теме.

Однажды к рабби Шимону бар Йохою пришла бездетная пара, прожившая вместе десять лет. Супруги очень любили друг друга, и сама мысль о расставании была для них невыносима. Выслушав их грустную историю, рабе Шимон сказал: «Когда вы справляли свадьбу, еда и питье были на вашем праздничном столе. Теперь, когда вы решили расстаться, пусть будет так же – еда и питье на вашем прощальном столе».

Муж устроил прощальное застолье для любимой жены, да и захмелел. Еще не впад в забытие, он обратился к жене: «Дочь моя! Можешь взять отсюда в дом отца любую, самую дорогую вещь». И когда муж заснул, женщина велела слугам перенести в дом отца... мужа!

Ночью муж проснулся, огляделся с удивлением и спросил: «Дочь моя, где я?!» Она ответила: «Не ты ли сказал мне вечером, чтобы я забрала с собой из твоего дома самую дорогую вещь? Знай, что нет для меня в мире ничего дороже, чем ты!»

Вскоре после этого женщина забеременела, и у нее родился сын (Шир а-ширим раба, 1:30).

## КРОВЬ ЗА КРОВЬ, МИФ ЗА МИФ:

### НАВЕТЫ И ОТВЕТЫ

*Ἀσέει ἂ Ἐσείει ἂ*

Продолжение. Начало в № 11, 2008



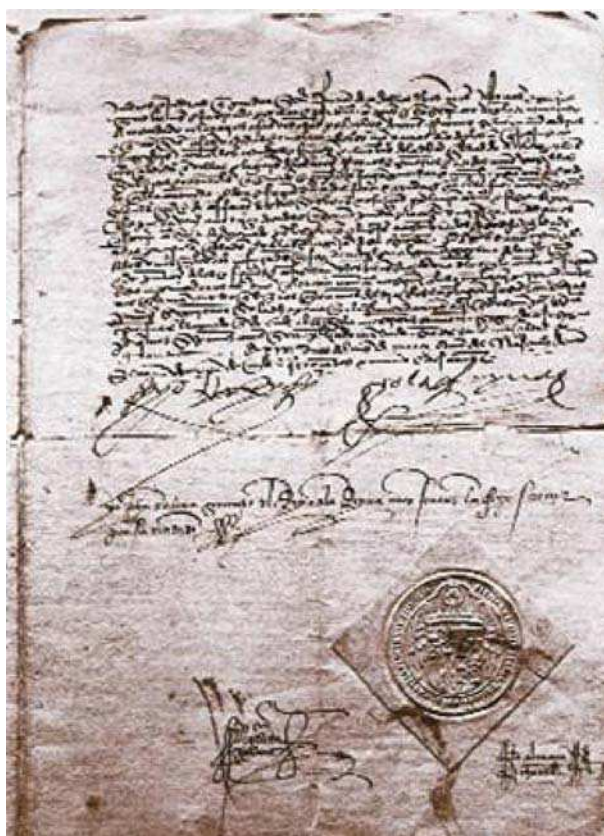
#### ГВАРДЕЙСКОЕ ДИТЯ И ПЛАН ТОРКВЕМАДЫ

В 1491 году в Кастилии прошел инквизиционный процесс, в результате которого несколько евреев и конверсо (крещеных евреев) были признаны виновными в ритуальном убийстве младенца в городке Ла-Гуардия под Толедо и сожжены. Это было самое знаменитое дело из немногочисленных подобных дел на Пиренейском полуострове, самый поздний средневековый кровавый навет – если ограничивать еврейское Средневековье изгнанием из Испании – и один из прекрасно срежиссированных поводов к этому изгнанию.

Процесс начался с ареста конверсо Бенито Гарсии из Ла-Гуардии по обвинению в приверженности иудаизму и контактах с иудеями; среди помогавших ему иудеев был назван Юсе Франко из соседнего городка. Ему в свою очередь инкриминировали соращение конверсо в иудаизм и участие в ритуальном убийстве мальчика (как якобы сознался Юсе – вместо «того человека», то есть Иисуса Христа), совершенном несколько лет назад в Ла-Гуардии. В результате по обвинению в «моисеевой ереси» и особых преступлениях против католической веры арестовали целую группу людей, евреев и конверсо. Выдвинутые изначально обвинения были довольно расплывчатыми, и облик преступления лишь постепенно сформировался в ходе расследования. Очевидно,

подследственные, в надежде получить более мягкий приговор, частично признавали и даже развивали обвинения, но основную вину пытались возложить друг на друга (к примеру, сознавались в том, что присутствовали на церемонии, но ключевые действия приписывали другим участникам). Инквизиторы не смущались регулярными расхождениями между показаниями обвиняемых, и через несколько месяцев сюжет приобрел следующие очертания. В Страстную пятницу 1488 года необходимый для вредоносной магии квазиминьян, состоявший из пяти евреев и пяти христиан (в данном случае – конверсо), собрался в пещере недалеко от Ла-Гуардии. Кстати, пещеры – излюбленный *locus delicti*<sup>[1]</sup> в инквизиционных расследованиях, начиная еще с Альбигойских войн; согласно народным религиозным представлениям, усвоенным (если не сконструированным) католической пропагандой, преступление, совершенное в пещере, укрыто не только от людских глаз, но и от Господнего гнева, ибо Вззирающий свыше не пронизает земную твердь. Собравшиеся распяли христианского младенца и совершили над его сердцем вкупе с заранее украденной гостией магический обряд с целью заразить всех христиан бешенством. Очевидно, обряд не увенчался успехом, однако причины этого не раскрываются; также довольно амбивалентны показания касательно использования крови жертвы. Ответственность за колдовской замысел обвиняемые возлагали на двух докторов-евреев, известных как маги: один из них на момент следствия уже умер (клевета на умерших – как самая безобидная – широко распространена в инквизиционных материалах), а другой жил в Саморе, довольно далеко от Толедо. Примечательно, что первый не был осужден посмертно, как то было принято в инквизиторской практике, а второго не стали даже искать, что лишний раз выявляет полную сфабрикованность дела. Впрочем, главной проблемой, как мы видели – отнюдь не уникальной в истории кровавого навета, стало отсутствие жертвы. За давностью событий вопрос так и оставили нерешенным. Утверждалось, что в тот год в окрестностях Ла-Гуардии пропало несколько детей; некоторые обвиняемые, наоборот, говорили, что ребенка привезли из Мурсии или из Толедо. Следствие предпочитало игнорировать неясности и противоречия, дабы не задерживать ход процесса, и осенью 1491 года основных обвиняемых сожгли.

Это дело довольно необычно для Испании и особенно для Кастилии, где кровавый навет не получил распространения, а кроме того, ему присущи определенные странности формального свойства. Так, испанская инквизиция в то время занималась почти исключительно конверсо, подозреваемыми в тайной приверженности иудаизму, – иудеев как таковых она не преследовала и не имела на это права. Мало того что инквизиция вообще занялась этим делом – оно было поручено не толедскому трибуналу, к которому по географическому признаку относилась Ла-Гуардия, а более крупному и авторитетному трибуналу Сеговии, а затем Авилы. И наконец, дело было начато по специальному распоряжению генерального инквизитора Торквемады, в котором тот счел нужным упомянуть, что сам бы им занялся, если бы не другие неотложные обязанности, и поручил задание трем особенно опытным инквизиторам. Необычность ситуации заставила ученых предположить, что вся история со святым дитем из Ла-Гуардии была плодом политической мысли Томаса Торквемады: генеральный инквизитор задумал использовать безотказное средство воздействия на общественное мнение – популярнейший во всей Европе навет, – чтобы оправдать деятельность инквизиции, придав ей роль защитника старохристиан от коварства новохристиан, действующих заодно со своими бывшими единоверцами, а главное, чтобы легитимировать грядущее изгнание евреев – в глазах как общества, так и, возможно, самих Католических королей Фердинанда и Изабеллы. Однако тому нет документальных подтверждений; например, в Эдикте об изгнании евреев из Испании, изданном Их высочествами всего через несколько месяцев после завершения дела о ритуальном убийстве, оно вовсе не упоминается среди еврейских прегрешений.



**Эдикт об изгнании евреев из Испании, подписанный Фердинандом и Изабеллой.**

И наконец, вот что в 1940-х годах писал об этом деле Ицхак Бер, крупнейший исследователь испанского еврейства и видный представитель «слезной школы» в еврейской историографии:

*Ясно одно: убийство в ритуальных или магических целях – преступление, абсолютно не совместимое с установками еврея. Материалы нашего дела не говорят ни о чем, кроме сфабрикованных обвинений и исков. <...> Совершенно очевидно, что обвинение выросло из антисемитской литературы предыдущего века, а не из признаний арестованных. <...> Нельзя даже допустить мысли о том, чтобы евреи стали использовать христианские культовые предметы или согласились на участие [в ритуале] конверсо, которых не считали иудеями и которые не были даже обрезаны. <...> Нет ни тени сомнения: обвинения в распятии ребенка и колдовстве были изобретениями антисемитской пропаганды<sup>[2]</sup>.*

Следует учитывать, что его точка зрения – применительно не только к делу в Ла-Гуардии, а к навету вообще – была и продолжает быть абсолютно нормативной для большинства еврейских исследователей.

## **ОТ ПЕРВОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА ДО KRISTALLNACHT**

Систематическое изучение кровавого навета и иных проявлений средневекового антисемитизма началось с середины XX века, порожденное Холокостом и разочарованием в прогрессе, неспособном истребить предрассудки, и породившее «теперь почти ортодоксальный взгляд на упорный марш европейской нетерпимости сквозь века, <...> от Первого крестового похода до Kristallnacht»<sup>[3]</sup>.

Первым достижением исследователей этой проблематики стало проведение границы – в массовом сознании совершенно стертой – между кровавым наветом и обвинением в ритуальном убийстве<sup>[41]</sup>. Как явствует из предыдущих историй, ранние наветы – будь то в Норвиче или в Блуа – не включают в себя обвинение в использовании крови жертвы. Тема крови внедряется в историю с навета в германском городе Фульда в 1235 году и утверждается в каноне, появляясь в большинстве последующих случаев. Если классическое обвинение в ритуальном убийстве акцентирует сходство с распятием Христа (невинный младенец как невинный агнец Христос, терновые шипы, распятие на кресте или его аналоге, причем в Страстную пятницу, произнесение соответствующих формул), видя в этом оскорбление иудеями святой католической веры и месть поработившим их христианам, то кровавый навет зачастую забывает о Пасхе и ритуальном компоненте, расширяя компонент магический: полученная христианская кровь (или даже не только кровь, но и внутренние органы, особенно сердце, или, например, молоко кормящей женщины) служит и вредоносной (как в показаниях евреев из Ла-Гуардии), и целебной магии. Средневековые евреи, наследники древней и арабской медицины, ценились как врачи, в том числе врачи придворные, и фольклор приписывает им неоднократные попытки излечить своих августейших патронов кровью или сушеным и толченым сердцем христианского младенца.

Следующим вопросом, живо волнующим историков, было распределение активных ролей: кто режиссировал навет, кто его поддерживал, кто вел разбирательство, кто продвигал культ жертвы? Наконец, как сочетается традиционно покровительственное отношение высшей власти – как светской, так и церковной – к своим еврейским подданным с регулярным возникновением и успешным продвижением подобных наветов? Как мы уже видели из Трентского дела, папство занимало однозначно негативную позицию по этому вопросу, отрицая антиеврейские наветы. Эта позиция основывалась, в частности, на знаменитой булле папы Иннокентия IV от 1247 года:

*Мы слышали слезные жалобы евреев на то, что против них изобретают безбожные обвинения, изыскивая повод, чтобы грабить их и отнимать их имущество. В то время как Святое Писание велит: «Не убий!» – против евреев поднимают ложное обвинение, будто бы они едят в праздник Песах сердце убитого младенца. Полагают, что это им повелевает их закон, который, наоборот, строго запрещает подобные деяния. Как только находят где-нибудь труп неизвестно кем убитого человека, убийство по злобе приписывается евреям. Все это служит предлогом для их яростного преследования. Без суда и следствия, не добившись ни улик против обвиняемых, ни собственного их признания, у них безбожно и несправедливо отнимают имущество, морят их голодом, подвергают их заточению и пыткам и осуждают на позорную смерть. Участь евреев под властью таких князей и правителей становится еще более ужасною, чем участь их предков в Египте под властью фараонов. Из-за этих преследований они вынуждены покидать те места, где предки их жили с древнейших времен. Не желая, чтобы евреев несправедливо мучили, мы приказываем вам, чтобы вы обращались с ними дружески и доброжелательно. Если вы услышите о каких-нибудь несправедливых нападениях на евреев, препятствуйте этому и не допускайте на будущее время, чтобы их подобным образом притесняли<sup>[42]</sup>.*



**Фридрих II Гогенштауфен с соколом. Миниатюра из его трактата «Искусство охоты с птицами». Конец XIII века.**

Еще раньше аналогичную позицию огласила империя в лице Фридриха II Гогенштауфена. После кровавого навета в Фульде император, известный своей склонностью к расследованиям и экспериментам, призванным проверить разные неоспоримые истины вроде наличия у человека души, собрал специальную комиссию из ученых крещеных евреев:

*Этим последним <...> мы приказали, для отыскания правды, прилежно исследовать и нам сообщить, существует ли у них [евреев] чье-либо мнение, которое побуждало бы их совершать вышеупомянутые преступления. <...> Их ответ гласил:*

*«Ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет указаний, чтобы евреи жаждали человеческой крови. Напротив, в полном противоречии с этим утверждением, в Библии, в данных Моисеем законах, и в еврейских постановлениях, которые называются Талмудом, совершенно ясно сказано, что они вообще должны беречься запятнания какой бы то ни было кровью. С очень большой вероятностью мы можем предположить, что те, кому запрещена кровь даже разрешенных животных, едва ли могут жаждать человеческой крови, потому что это слишком ужасно, потому что природа это запрещает и вследствие родства рас, которое связывает их с христианами, а также потому, что они не стали бы подвергать опасности свое имущество и свою жизнь».*

*Поэтому мы, с одобрения князей, объявили евреев вышеупомянутого местечка вполне оправданными от приписываемого им преступления, а остальных евреев Германии – от такого тяжелого обвинения<sup>161</sup>.*

Примечательно, что доказательство – в соответствии со средневековыми нормами – строится на auctoritas, авторитете, и ratio, разуме или логике. Авторитетом здесь выступают крещеные евреи, бывшие иудеи, начитанные в еврейском законе, и сам этот закон, или Библия и Талмуд; рациональные же аргументы дает как прагматика (евреи не стали бы совершать подобные преступления из соображений собственной

безопасности), так и модная тогда теория естественности-противоестественности (contra naturae).

Как аргументы, так и выводы Фридриха повторил через три с лишним века Карл V Габсбург, властитель «империи, где никогда не заходит солнце», состоявшей из Германии, Австрии, Испании, Нидерландов, Неаполя, Сицилии и Сардинии, а также колоний в Новом Свете:

*...Эти обвинения против евреев выставляются не на основании ясных и известных фактов или достаточных доказательств и показаний, но по подозрениям и сплетням или по простым доносам зложелателей (несмотря на то, что святые отцы и папы на этот счет давали разъяснения и запретили этому верить и что любезный наш господин и дед, император Фридрих блаженной памяти, после таких папских деклараций разослал строгие приказы всем сословиям Священной империи и каждому из них в отдельности, чтобы они прекратили такое поведение, не поддерживали бы и не разрешали бы его, но, напротив, где обнаружится такое отношение, донесли бы об этом Его Величеству, верховному господину и судье, которому принадлежит непосредственно весь еврейский народ, и всё это строго бы приказали). <...> Мы постановляем и желаем, чтобы отныне никто, какого бы сословия он ни был, не смел сажать в тюрьму ни одного еврея или еврейку без предварительного достаточного указания или доказательства со стороны достоверных свидетелей<sup>17</sup>.*

Но даже эти протекционистские заявления призваны были гарантировать не столько повсеместную защиту евреев от подобных обвинений, сколько контроль соответствующей инстанции – будь то апостольский престол или император, с XII века рассматривавший еврейское население как «рабов казны» (servi camerae). Клаузулы о «достаточных доказательствах» оставляли лазейку потенциальным зачинщикам наветов, каковые время от времени обнаруживались среди локальных властей, заинтересованных в канонизации умученного иудеями младенца и развитии прибыльного местного культа. Как показывает история Трентского дела, инициатива на местах вполне способна была перебороть вялое сопротивление центра.

И наконец, главная проблема, занимающая исследователей средневекового кровавого навета, это его генезис. Первым и самым очевидным путем ее решения был путь исторический – поиск прецедентов в античности. Наиболее подходящим примером здесь служит сюжет о регулярных человеческих жертвоприношениях в Иерусалимском храме, зафиксированный у Демокрита и Апиона, пересказанный и раскритикованный впоследствии Иосифом Флавием:

*Глашатаем всех остальных стал Апион, который сказал, что Антиох нашел в храме ложе и лежащего на нем человека, перед которым был поставлен небольшой стол, исполненный изысканными яствами, плодами морскими и земными. <...> Тут-то он и узнал об ужасном еврейском обычае, ради которого его откармливали. Поймав какого-нибудь греческого бродягу, они в продолжение года кормят этого человека, затем, отведя в какой-то лес, убивают, тело его по своему обряду приносят в жертву и, вкусив от его внутренностей, во время жертвоприношения приносят клятву в том, что всегда будут ненавидеть эллинов.*

***(«Ἰδὸς ἁλιεῖν», II:8)***

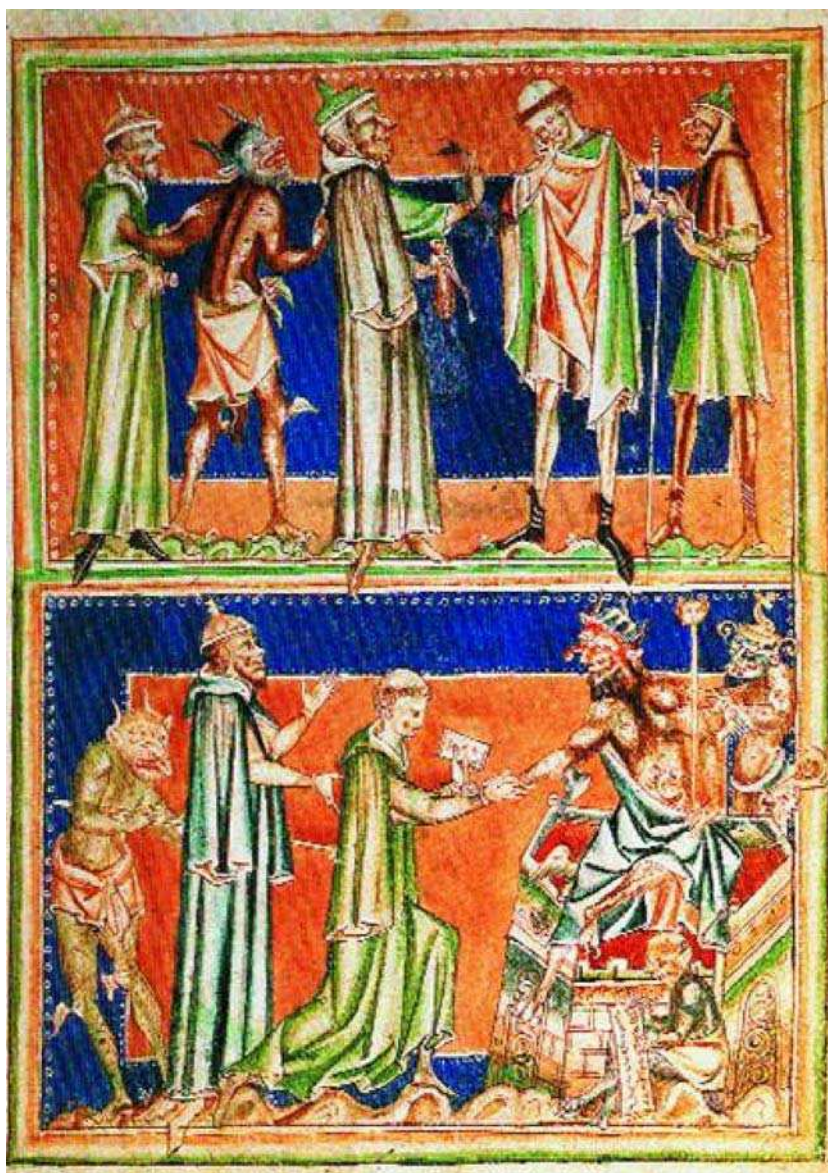
Сам Флавий предположил, что эта «эллинская басня» была состряпана с апологетическими целями – оправдать ограбление и осквернение Храма, произведенное

по приказу селевкидского царя Антиоха Епифана, его праведным возмущением еврейским варварством и жестокостью, и предположение Флавия было подхвачено современными исследователями<sup>[8]</sup>.

Еще несколько сюжетов о еврейских преступлениях против человечности предоставляет нам ранневизантийская литература: уже упоминавшийся выше *exemplum* про отца, посадившего собственного сына в печь, легенда о евреях-людоедах в Синопе, откусивших палец апостолу Андрею, рассказы о пуримских буйствах сирийских евреев, расправлявшихся с местными Аманами, и, наконец, наиболее близкая к средневековому навету история о распятии христианского мальчика, которую приводит константинопольский историк Сократ Схоластик (V век):

*В одном месте, называемом Инместар, которое находится между Халкидою и сирийской Антиохией, у них был обычай совершать какие-то игры. Во время этих игр, делая много бессмысленного, они, упоенные вином, издевались над христианами и над самим Христом и, осмеивая как крест, так и уповающих на Распятого, между прочим придумали следующее: схватив христианского мальчика, они привязали его ко кресту и повесили, потом начали смеяться и издеваться над ним, а вскоре, обезумев, стали бить его и убили до смерти. По сему случаю между ними и христианами произошла сильная схватка. Когда же это сделалось известно царям, то областные начальники получили предписание разыскать виновных и казнить. Таким образом, тамошние иудеи за совершенное ими во время игр злодеяние были наказаны.*

***(«Ὁμολογία αὐτῶν ἰδεῖ», VII:16)***



Пример демонизации евреев в средневековом фольклоре и искусстве: легенда о еврее Теофиле, пособнике Дьявола в покупке христианских душ.

Миниатюра из Ламбетского Апокалипсиса. Англия. Середина XIII века.

Однако, сколь бы ни походили истории про древних и византийских евреев на экзерсисы, приписываемые их более поздним и более западным соплеменникам, в них нельзя с уверенностью видеть источник для Томаса Монмаутского и других летописцев кровавого навета, поскольку невозможно доказать знакомство последних с этими текстами, даже напротив – можно доказать обратное. Кроме того, признание в Демокрите, Апионе и Сократе Схоластике источников для автора «Жития Уильяма Норвичского» еще не объясняет, почему это обвинение возродилось именно в XII веке.

Этиологический вопрос вкупе с хронологическим пытаются решить различные теории средневекового антисемитизма. Одна из них, теория «преследующего общества» (persecuting society), используя модель, предложенную Эмилем Дюркгеймом, объясняет зарождение европейской нетерпимости следующим образом: в XI–XII веках католическая церковь намеренно создает образ Чужого и Врага, выделяет девиантные группы, дабы объединить против них христианское общество и тем самым сплотить его под собственным руководством<sup>19</sup>. В чужие естественным образом попадают разнообразные

меньшинства: еретики, прокаженные, гомосексуалы, евреи. Причем последние не только интересовали церковь как предмет пропагандистских манипуляций, но и волновали клириков как потенциальные конкуренты – образованные, сплоченные, полностью лояльные – на место чиновников при королевских дворах.

Этнологическая теория антисемитизма видит в XII веке время формирования наций, а заодно и этноцентризма и вражды к другим нациям, что, однако, не объясняет активизацию именно юдофобии вместо любой другой межнациональной розни. Прочие теории: психоаналитическая (иудео-христианские отношения как Эдипов комплекс, где христиане – сын, желающий уничтожить своего отца в лице евреев)<sup>[10]</sup>, проективная (христиане переносили свою вину за символический каннибализм евхаристии на евреев)<sup>[11]</sup>, антропологическая (конфликта на поражение не было, было сосуществование, состоявшее из терпимости и нетерпимости, гармонии и насилия, согласно африканской пословице: «Они наши враги – мы на них женимся»)<sup>[12]</sup>, кастовая (евреи как каста неприкасаемых в европейском социуме)<sup>[13]</sup>, – тоже не могут удовлетворительно объяснить ни дату усугубления антиеврейских настроений в средневековой Европе, ни их конкретно-историческую специфику, ни собственно генезис кровавого навета.

Недостатки существующих гипотез, а также характерный для современной иудаики отказ от парадигмы «слезливости» и виктимности в пользу нормализующего и компаративного подхода привели к выдвиганию в последние два десятилетия новых концепций генезиса ритуального навета, основанных на изучении еврейских реакций на христианскую агрессию и собственно еврейской агрессии по отношению к христианам.

## *Ἰερί τῆς αἰματηρῆς ἐπιβολῆς*

<sup>[1]</sup> Место преступления (лат.).

<sup>[2]</sup> Baer Y. A History of the Jews in Christian Spain. Philadelphia, 1992. Vol. 2. P. 403–404, 421.

<sup>[3]</sup> Nirenberg D. Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages. Princeton, 1996. P. 7.

<sup>[4]</sup> См., к примеру: Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи: Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом. М. – Иерусалим, 1998. С. 117–147. (Первое издание этой книги относится к 1943 году.)

<sup>[5]</sup> Цит. по: Штрак Г.Л. Кровь в верованиях и суевериях человечества // Кровь в верованиях и суевериях человечества / Сост. В.Ф. Бойков. СПб., 1995. С. 206.

<sup>[6]</sup> Там же. С. 196–197.

<sup>[7]</sup> Там же. С. 211–212.

<sup>[8]</sup> См.: Трахтенберг Дж. С. 119.

<sup>[9]</sup> См.: Moore R.I. The Form

ation of a Persecuting Society. Power and Deviance in Western Europe, 950–1250. N.-Y., 1987.

<sup>[10]</sup> См. изложение этой теории в: Langmuir G. Toward a Definition of Antisemitism. Berkeley, 1990.

<sup>[11]</sup> Дандес А. «Кровавый навет» или легенда о ритуальном убийстве: антисемитизм сквозь призму проективной инверсии // Он же. Фольклор: семиотика и/или психоанализ. М., 2003. С. 204–230.

<sup>[12]</sup> См.: Nirenberg D. Op. cit.

<sup>[13]</sup> См., например: Kriegel M. Les juifs a` la fin du Moyen Age dans l'Europe méditerranéenne. Paris, 1979.

## ЕВРЕИ И ВЛАСТЬ

*Doó Áàéñ*

Издательство «Текст» в серии «Чейсовская коллекция» готовит к выпуску книгу профессора Гарвардского университета, всемирно признанного специалиста по идишу Рут Вайс, в которой исследуются различные парадигмы взаимоотношений евреев с политической властью в самые разные эпохи, в разных странах, как в диаспоре, так и в своем государстве.

«Лехаим» предлагает вниманию читателей две главы из книги.

### ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА

Еврейская диаспора – один из крупнейших в истории политических экспериментов, столь же оригинальный, сколь и сам монотеизм, и непостижимый без него. Когда римляне опустошили Иерусалим и разграбили Второй храм в 70 году н. э. (Иосиф Флавий насчитывает 1,1 млн убитых евреев), многие евреи были насильно вывезены в Европу в качестве рабов. Хотя еврейская общинная жизнь в Земле Израиля продолжалась, большинство евреев стали расселяться повсюду, создавая огромную сеть из крупных и малых поселений в Европе, Северной Африке и Азии. У евреев не было сознательного плана продолжать национальную жизнь за пределами Земли Израиля; более того, до Новейшего времени никто из них не развивал идеологию, связанную с безгосударственным существованием. Однако жизнь за границей подразумевала, что нация будет процветать без трех главных элементов национальности: земли, центрального управления и средств самообороны.

Образец национальной жизни за пределами Земли Израиля возник намного раньше, вскоре после формирования собственной еврейской державы. Библия описывает период, когда Давид и Соломон правили единым Израилем (около 1000 – 922 годы до н. э.), как время великих культурных и материальных свершений. Давид – любимец Библии: друг и любовник, воин и псалмопевец, пастушок, оказавшийся достойным того, чтобы управлять государством. Его сын Соломон прославлен в традиционных источниках как «мудрейший из людей» и самый удачливый из монархов. Построенный Соломоном Храм в Иерусалиме распространил духовную и политическую власть его царствования<sup>[1]</sup>. Однако вскоре после смерти Соломона страна раскололась на Северное и Южное царства: Северный Израиль исчез с падением Самарии в 721 году; Южная Иудея держала врагов на расстоянии еще сто тридцать пять лет, но потом покорилась вавилонянам. Захватчики разрушили Храм, который служил центром еврейского религиозного культа, и увели верхушку еврейского общества в изгнание. В этот момент евреи должны были раствориться в истории, подобно многим другим завоеванным народам, оставив следы только в развалинах и надписях, фиксирующих их имена на древних табличках.

То, что они не ассимилировались, в значительной степени заслуга того, как они понимали суть своих отношений с Б-гом. Согласно Завету, заключенному на Синае, евреи обязались служить Всевышнему, Чей нравственный закон осуждал одни формы поведения и требовал других. Им было обещано, что в ответ на исполнение Закона когда-нибудь они будут приумножаться и процветать в собственной стране. «Царь царей» – это не просто метафора, а точное описание того, как Всевышний возглавлял политический треугольник, куда, по мысли евреев, входили они и другие народы. Евреи будут ограждены от

нападения, если выполнят условия своего договора со Всемогущим. Б-г будет гарантом власти евреев до тех пор, пока евреи будут послушны Его законам.



Сцены из жизни Давида. Манускрипт. Англия. XII век.

Благодаря такому пониманию ситуации пророки чувствовали себя вправе объяснять поражение евреев недовольством Б-га Своим народом. Пророки учили, что политическая судьба евреев зависит от их способности убедить не противника в своем военном искусстве, а Б-га в своей праведности. Они связывали потенциал народа с его моральной силой и ставили евреев в положение, когда Высший Судия постоянно судил их политические действия. Ведя, таким образом, собственные счета, евреи не воспринимали покорение врагам как приговор вечно находиться под властью последних. Те же самые пророки, которые порицали грехи, повлекшие за собой разрушение Храма, предсказывали, что евреи вернутся в Сион, когда отвергнут идолопоклонство и вернут себе благосклонность Б-га.

Объяснение военных поражений как следствия не превосходства врага, а неудачи в попытке угодить Б-гу защищало евреев от некоторых превратностей войны. Евреи, очевидно, видели разницу между победой и поражением, но поскольку их политика зависела от трансцендентной теории суда, им не обязательно было принимать вердикт, вынесенный на поле брани. Временный разгром оставлял вероятность того, что все вернется на круги своя, так же как временный уход из Земли Израиля не исключал шанса на возвращение. Чем больше власти приписывали евреи Б-гу, тем больше они приобретали политической независимости от власти других народов, тяготевшей над

ними. В то же время Б-г, Который соблюдал долгосрочное, а не краткосрочное соглашение, внушал индивиду чувство стабильности. Поведение всего народа, его повседневные привычки определяли суровость коллективного наказания или возможность коллективной награды.

Интересно сравнить концепцию национального служения с политической природой христианства, берущего свое начало в иудаизме. Придав универсальность учению «избранного народа», христианство избежало того, что считалось этноцентричностью евреев. Израильский пророк Ирмею призывает Б-га отомстить за Свой народ: «Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего; ибо они съели Яакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили»<sup>[2]</sup>. Иисус, согласно Матфею, проповедовал как раз обратное, говоря: «Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов ваших... и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного»<sup>[3]</sup>. Но в свое время вселенская церковь действовала сообща с государством, обладающим политическими амбициями, поощряя христиан принимать участие в национальных завоевательных войнах, чтобы распространить свою искупительную идею. Среди практических результатов вселенской щедрости христианства было избавление своих адептов от политических оков. Одно из наиболее существенных его отличий от иудаизма состоит в том, что оно не требует, чтобы народ накладывал на себя религиозные стандарты, необходимые для индивида. Христианские страны могли сражаться во Имя Б-жье, но они не считали, что сражаются по законам, установленным их спасителем. Это предположение может объяснить удивительное несовпадение между учением Иисуса и жестокостью столь многих правителей, действовавших во имя его.

Ислам имеет более прямое отношение к власти, чем христианство, поскольку пророк Мухаммед сам был воином, и описание его военных подвигов в форме комментариев и заповедей составляет основу Корана. Мухаммед жил мечом и никогда не мечтал перековать его на орало. Арабский пророк насаждал свою религию священной войной, поэтому нет никаких сомнений относительно того, что концентрация власти – итог моральных усилий ислама. Историк Бернанд Льюис указывает, что эта разница между исламом и родственными ему религиями восходит к началам ислама и биографии его основателя:

*В отличие от Моисея, Мухаммед дожил до вхождения в землю обетованную и завоевания ее. В отличие от Иисуса, он при жизни добился триумфа над земными врагами и основал мусульманское государство в Медине, которым сам и управлял... Мухаммед исполнял обычные обязанности главы государства – он вершил правосудие, он поднимал налоги, он издавал законы, он вел войну, он заключал мир. Другими словами, с самого начала, в освященной биографии пророка, в древнейшей истории, сохраненной Писанием и традицией, ислам как религия был связан с применением власти<sup>[4]</sup>.*

Куда более двусмысленное отношение к власти иудаизма тоже восходит к его древнейшей зафиксированной истории. 136-й псалом доносит до нас страдания захваченных в плен после разграбления Иерусалима. Победители издевались над евреями, заставляя их петь «из песней Сионских». Евреи отказывались, произнося вместо этого обет, звучащий сквозь столетия:

*Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя.*

*Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего<sup>[57]</sup>.*

А когда евреи наконец «пропели» этот псалом, его напев оказался далек от траурных мелодий, которых требовали захватчики:

*Припомни, Г-споди, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».*

*Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!*

*Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!<sup>[6]</sup>*

«Сыны Едомовы» – кровные враги Израиля, Вавилон – непосредственный агрессор. Вместо того чтобы сокрушить боевой дух евреев, насмешки захватчиков подхлестнули ярость евреев и укрепили мужество народа.

Вызывающий ужас символ воздаяния (этот термин некоторое авторы предпочитают «мести») раздражал тех читателей Библии, которые не были кровно заинтересованы в политической реабилитации евреев. Христианский философ Августин видел в 136-м псалме аллегорическую картину победы над вожделием, где реки Вавилона символизируют «все, что мы любили и утратили»; младенцы, разбитые о камень, – «зло, зародившееся при их рождении»; а Иерусалим – состояние святости, а не родину евреев<sup>[7]</sup>. Евреи, со своей стороны, были полностью настроены на восстановление страны и включали в понятие «Вавилон» всех позднейших врагов Израиля. Почти через две с половиной тысячи лет после вавилонского пленения, в конце второй мировой войны, еврейский ученый выражал возмущение, что «нееврейские критики, пишущие в комфортных и безопасных условиях, обычно сетуют на достойную сожаления мстительность проклятия, которым завершается [136-й] псалом», – он полагал, что евреи, которым удалось бежать от гитлеровской бойни, разделяют настроение псалмопевца, когда вернутся в родные города, опустошенные немцами<sup>[8]</sup>.

Однако, несмотря на всю свою риторическую жестокость, 136-й псалом не побуждал евреев взяться за оружие в своих собственных интересах. Признавая полную моральную ответственность за насилие, которого требует война, псалом взывает к Г-споду, дабы Он отомстил за поражение евреев, и к другим народам, чтобы они отплатили Вавилону «той же монетой». Здесь отражено историческое воспоминание: персы, а не евреи победили вавилонян, и царь Кир позволил евреям вернуться в Иерусалим и вновь выстроить свой Храм, за что Йешаяу назвал его «помазанником Б-жиим», вестником Б-жьей воли. От десницы Г-сподней, а не от воинов Израиля ожидается политическое возрождение евреев, поэтому, если бы персы не победили и не проявили великодушие, кто знает, сколько еще времени прошло бы до возвращения евреев домой?

Первое вавилонское изгнание доказало, что еврейский народ в состоянии выжить за пределами Земли Израиля, оставив открытым вопрос, когда и как он вновь обретет ее. Евреи считали себя действующими лицами политической истории, даже когда у них не было сил самим творить ее. С древнейших времен еврейские источники различали «хорошие» и «плохие» народы в зависимости от того, насколько терпимо те относились к еврейской личности.



**Разрушение Храма и изгнание евреев в Вавилон.**

**Рельеф. Башня Давида, Иерусалим.**

### **ОСМЫСЛЕНИЕ КАТАСТРОФЫ**

Первый период еврейского изгнания после падения Соломонова Храма продлился пятьдесят лет – до тех пор пока персы, которые перед этим победили вавилонян, не позволили евреям вернуться в Землю Израиля и восстановить свои религиозные институты. Через бесчисленные поколения прошло убеждение, что благодаря силе монотеистической веры «внутренняя сила народа ничуть не уменьшилась», несмотря на крушение национальной и территориальной основы<sup>[9]</sup>. Если хотите, память о поражении могла поддержать и еврейскую веру в переменчивость истории. Если бы евреи думали, что это бросает тень на их репутацию, то не включали бы так настойчиво в свою литургию и национальную память воспоминания о рабстве.

Во время Второго Еврейского государства, с 516 года до н. э. до 70 года н. э., евреи восстановили Храм и возобновили собственный образ жизни под властью региональных правителей. Маккавеи возглавили движение против эллинизированных сил Антиоха IV Епифана (175–163 годы до н. э.), которое считается первой в истории религиозной войной<sup>[10]</sup>. Память о ней сохранилась в сугубо национальном еврейском празднике Ханука. Историки, которые в других случаях расходятся в оценке еврейского милитаризма, соглашаются, что евреи древности героически сражались за право самим управлять собственной страной. Римские источники подтверждают, что через семьдесят лет после разгрома Иерусалима восстания евреев Палестины все еще были самой серьезной военной угрозой из тех, что возникали в империи<sup>[11]</sup>. Евреи сражались упорно и иногда успешно, и, соответственно, их поражения были тяжелы.

Единственное сообщение о падении Иерусалима от еврея – современника события было написано проницательным правителем Галилеи, который сменил ориентацию во время конфликта, сдался римлянам и взял имя Иосиф Флавий. Иосиф участвовал в событиях, описанных им в «Иудейской войне». Само название этого труда (напоминающее о «Пунических войнах» и «Галльской войне») свидетельствует о том, что он написан с точки зрения победителей-римлян. Иосиф не извинялся за свое предательство. Напротив, он оправдывал свои действия на том основании, что еврейские воины никогда бы первыми не подняли оружие против Рима. После такого изложения его подхода – который один из переводчиков вкратце описал так: «все, что делал Иосиф, было

правильно; все, что делали Иоанн или Симон<sup>[12]</sup>, было неправильно»<sup>[13]</sup> – мы не удивимся, что он заклеил евреев и прославил Цезаря, чьей защиты добивался:

Я не собираюсь принижать мужество римлян за счет преувеличения мужества моих соотечественников, но буду излагать события точно и бесстрастно. Однако речи, которые я включаю в повествование, отразят мои собственные переживания: так я смогу дать выход чувствам и оплакать бедствия родины. Она была погублена внутренними распрями, и римляне, предавшие огню священный Храм, сделали это не по своей воле, но подвигнутые правителями евреев; свидетелем тому сам император Тит. На всем протяжении войны он жалел народ, оказавшийся во власти мятежников: вновь и вновь он откладывал взятие города и продолжал осаду в надежде, что зачинщики сдадутся сами<sup>[14]</sup>.

Присоединившись к врагу, Иосиф приписал разрушение Иерусалима «безумной неосмотрительности» еврейских zelотов. И тот факт, что Иосиф был евреем, видимо, должен был удостоверить искренность его заявления.

Разве не любопытно, что о разрушении Второго Еврейского государства мы узнаем из описания еврея, который считает своей задачей оправдать разрушителя? Иосиф стал признанным эмиссаром к неевреям, тем человеком, кто объяснял евреям другим и им самим. Евреи не только проиграли войну против Рима, они еще оставили историка, который сделал их ответственными за поражение. К середине XVI века этот труд Флавия перевели на все основные западноевропейские языки. Язычники и христиане, среди которых жили евреи, узнавали от него, что евреи сами заслужили свой разгром.

Можно было бы ожидать, что раввинский комментарий на великое разрушение как-то опровергнет обвинение, брошенное Иосифом евреям. Но у раввинов были свои причины приписать неудачу больше внутренним, а не внешним факторам. Талмудическое обсуждение начинается с любопытного рассказа о Камце и Бар-Камце (один исследователь уподобил эти имена Твидддому и Твидлди, которых, со всей очевидностью, должны постоянно путать)<sup>[15]</sup>: некий житель Иерусалима, у которого был друг по имени Камца и враг по имени Бар-Камца, устроил пир, но приглашение, посланное первому, случайно было доставлено второму. Когда Бар-Камца, считая себя желанным гостем, пришел на пир, хозяин попытался спровадить нежданного визитера из дома. Над тем нависла угроза быть позорно выдворенным вон. За право остаться Бар-Камца предложил заплатить – сначала за еду, потом за половину пира и, наконец, за весь пир, – но все было бесполезно. Уходя, он возложил на хозяина и присутствовавших на пире мудрецов вину за свое унижение и в отместку заронил среди римлян подозрение, что у евреев зреет против них заговор.

Вот как Талмуд описывает его действия:

*Явившись к кесарю, Бар-Камца сказал:*

*– Государь! Евреи изменили тебе.*

*– Чем ты докажешь это? – спросил кесарь.*

*– Пошли им, – ответил Бар-Камца, – жертвоприношение, и увидишь, принесут ли они жертву твою.*

*Послал кесарь через него же трехлетнего тельца. В дороге Бар-Камца повредил тельцу верхнюю губу (по другому преданию – роговую оболочку), что делало*

животное непригодным для жертвоприношения. Держали ученые совет и решено было: ради царя принять тельца для жертвоприношения. Восстал против этого р. Захария бен Евколос.

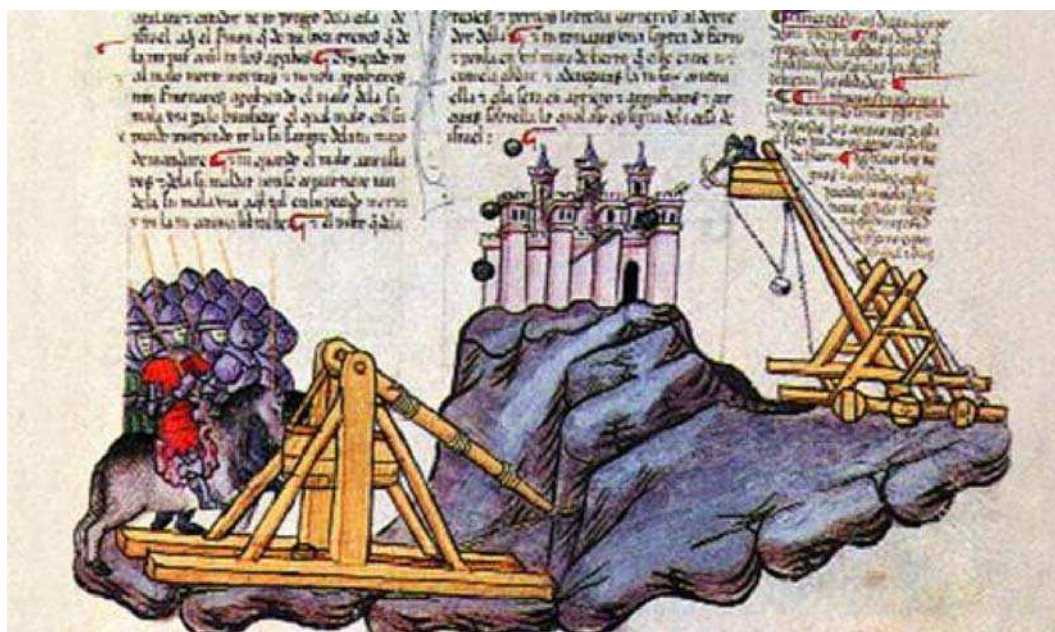
– Это, – сказал он, – может создать в народе мнение, что вообще животные с телесным изъяном могут быть приносимы в жертву.

Пришли к решению – казнить Бар-Камцу, дабы он не стал доносить о деле этом кесарю. И тут противником общего мнения выступил р. Захария.

– Утвердится мнение, – сказал он, – что казни подлежит всякий, кто причинит жертвенному животному повреждение.

По поводу этого рабби Иоханан говорил:

– Смирномудрие р. Захарии бен Евколоса привело к разрушению нашего храма, сожжению Святилища и изгнанию народа из родной земли <sup>16</sup>.



Йеуда Маккавей осаждает крепость Акру. Страница из Библии Альбы. XV век.

По безжалостной логике детского стихотворения «враг вступает в город, пленных не щадя, оттого что в кузнице не было гвоздя», Талмуд описывает, как приглашение, посланное не по адресу, и оскорбление, брошенное хозяином гостю, вызвали злодеяние Бар-Камцы, которое повлекло такие беды из-за слишком скрупулезного следования закону рабби Зхарьи. Раввины сознавали, что евреи, как подчиненное меньшинство, были уязвимы перед предательством недовольных членов общины, которые жаждали мести за реальное или воображаемое неуважение к себе.

В приведенном эпизоде сосредоточен целый политический трактат, но это политическое мышление особого рода. Как бы ни было велико их разногласие по поводу еврейского сопротивления Риму, раввины уходили от военных деталей к своего рода политической дисциплине, которой требовала долгая жизнь на земле, принадлежащей другим народам. «Камца и Бар-Камца» стали олицетворением синат хинам – ненависти, не имеющей разумной причины, – ею объясняли крушение государства. Почему был

разрушен Второй храм? Потому что евреев раздирали распри<sup>[17]</sup>. Безусловно, за этим объяснением кроется мысль о том, что римляне могли завоевать город, потому что евреев раздирали внутренние распри, а в Талмуде действия римлян выводятся из действий евреев и находят объяснения в поведении евреев, а не самих римлян. Даже рабби Йоханан, который приписывает поражение провалу еврейской «реальной политики», все равно усматривает ошибку, совершенную евреями. Сама природа талмудического спора обращает политический фокус внутрь, подальше от врага и поближе к собственной референтной группе.

Так, различным образом и с непохожими целями, и Иосиф, и раввины считали ответственными за политическое фиаско самих евреев. Приписывание поражения собственным ошибкам, а не превосходству противника есть способ сохранения моральной независимости, поскольку в этом случае активная роль отводится евреям или Б-гу, а не победителям. Ни Иосиф, ни раввины не сетовали на римский империализм и не высчитывали, где и в чем он превзошел евреев. В этом смысле они перевернули «нормальные» политические правила, которые мы находим в еврейской Библии, где народ гордится своими воинами и стремится посчитаться с врагами. Приспособление к зависимому положению в чужих странах породило политический нарратив, в котором евреи сохраняют контроль над своей национальной судьбой, принимая ответственность за политическое фиаско.

Приписывание поражения евреев междоусобным войнам – само по себе следствие их поражения от Рима. В такой циклической модели приспособление к изгнанию усиливало навыки ответственности перед собой, позволявшей приспособливаться к изгнанию. Подобное видение политической ситуации в виде треугольника должно было облегчить возрождение родины, как это случилось после вавилонского изгнания. Каждый еврейский школьник учил, что комар, терзавший мозг Тита, привел его к безумию, в результате которого он разрушил Храм и с триумфом пронес его сокровища по улицам Рима. Евреи ждали, что Б-г отомстит разрушителям и дарует им победу, когда они покажут себя достойными Его доверия. Ни один другой народ не выработал подобной долгосрочной стратегии выживания в условиях поражения.

<sup>[1]</sup> Млахим, 5:11. См., напр.: Haim Tadmor. *The United Monarchy // A History of the Jewish People* / Ed. N.H. Ben-Sasson. Cambridge: Harvard University Press, 1969. P. 102–106.

<sup>[2]</sup> Ирмеяу, 10:25. То же чувство сквозит в пасхальном седере, как раз перед восхвалением Б-га за Его щедрость.

<sup>[3]</sup> Мф., 5, 43–45.

<sup>[4]</sup> Bernard Lewis. *Islamic Revolution // New York Review of Books*. Vol. 34. № 21–22 (January 21, 1988).

<sup>[5]</sup> Теилим, 136:5–6.

<sup>[6]</sup> Теилим, 136:7–9.

<sup>[7]</sup> St. Augustine of Hippo. *Expositions on the Psalms*.

<sup>[8]</sup> *The Psalms / Commentary* A. Cohen. London: Soncino Press, 1945. P. 447.

<sup>[9]</sup> Yehezkel Kaufman. *The Age of Classical Prophecy / Trans. Moshe Greenberg // Great Ages and Ideas of the Jewish People* / Ed. Leo W. Schwartz. New York: Random House, 1956. P. 77.

<sup>[10]</sup> Salo Baron. *A Social and Religious History of the Jews*. Vol. I. New York: Columbia University, 1952. P. 233.

<sup>[11]</sup> Menahem Stern. *Antisemitism in Rome // Shmuel Ettinger. Antisemitism Through the Ages* / Ed. Shmuel Almog, trans. Nathan H. Reisner. Oxford, England: Pergamon Press, 1988. P. 14ff.

<sup>[12]</sup> Иоанн (Йоханан) и Симон (Шимон) – вожди zelотов, партии, не желавшей покоряться власти Рима.

<sup>[13]</sup> G.A. Williamson. *Introduction // Josephus. The Jewish War* / Trans. G.A. Williamson. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin, 1959. P. 14.

<sup>[14]</sup> Иосиф Флавий. *Иудейская война*, I. Введение.

<sup>[15]</sup> Jeffrey L. Rubinstein. *Talmudic Stories: Narrative Art, Composition, and Culture*. Baltimore: John Hopkins University Press, 1999. P. 148.

<sup>[16]</sup> Агада: Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей / Пер. с введением С.Г. Фруга по «Сефер а-Агада»; сост. И.Х. Равницким и Х.-Н. Бяликом.

<sup>[17]</sup> Пользователи Интернета могут произвести поиск на слова «Камца Бар-Камца», чтобы увидеть, как эта история применяется к современным событиям.

## «ДОБРОЕ ДЕЛО ДИРЕКТРИСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Из истории журнала «Новоселье» (1942–1950)

### *Ἐπίπεδα Ριέσσας*

Как известно, с началом второй мировой войны прекратили свое существование большая часть европейских русскоязычных издательств, а также почти все периодические издания, в том числе популярные эмигрантские журналы: «Современные записки», «Иллюстрированная Россия», «Путь», «Новый град», а также ведущие газеты: «Последние новости», «Сегодня», «Возрождение»... Вот как охарактеризовал сложившуюся к 1941 году обстановку в научной и литературной жизни Европы писатель М.А. Осоргин:

*Мыслью и вниманием попробуйте перенестись сюда, в воюющую или отвоевавшую Европу, и вы увидите, до какой низкой степени упали культурные ценности, все без исключения <...>. Совершенно перестали существовать и быть кому-нибудь нужными все науки гуманитарного порядка <...>. Урон, наносимый культуре войнами, всего очевиднее сказывается на художественной литературе. Можно почти без всяких оговорок сказать, что она в Европе прекратилась <...>. Мосты, нас соединявшие, взорваны и обрушены, духовному общению положен конец*<sup>11</sup>.

Центр русского зарубежья переместился из Европы в Северную Америку. С приездом многих деятелей русской культуры атмосфера литературно-художественной жизни русской общины Америки стала совсем иной: выходили газеты, журналы и книги русских авторов; создавались литературные кружки; устраивались художественные выставки; на вечерах и заседаниях обсуждались различные литературные, философские, религиозные, реже – политические вопросы. Не случайно в 1942 году – почти одновременно – в Нью-Йорке возникло два журнала, руководимых бывшими парижанами: «Новый журнал» (выходящий до сих пор) и «Новоселье». О последнем и пойдет речь в настоящей статье.

Инициатором и редактором-издателем «Новоселья» стала Софья Юльевна Прегель (1897–1972) – талантливая поэтесса и переводчица, хорошо известная в литературно-художественных кругах русского зарубежья. Она родилась в Одессе в весьма обеспеченной и дружной еврейской семье, с детства мечтала об актерской карьере и даже обучалась пению в Петроградской консерватории. После революции Софья Прегель прошла типичный путь русского эмигранта и, прожив довольно долго в Берлине, с 1932 года поселилась в Париже. К этому времени Софья Юльевна профессионально определилась и стала активно сотрудничать с русскими периодическими изданиями, в том числе со знаменитыми «Современными записками» (1920–1940) – главным «толстым» литературным и общественно-политическим журналом довоенной русской эмиграции. К началу войны она уже была автором трех стихотворных сборников (позже, при ее жизни, вышли еще три сборника стихов, а посмертно – один сборник и трилогия мемуаров «Мое детство»). С. Прегель посчастливилось избежать участи многих российских литераторов-евреев, оставшихся в оккупированной немцами Франции: в самом начале войны она переехала в Соединенные Штаты и поселилась в Нью-Йорке. А уже через три года, в самый разгар войны, Софья Юльевна сумела организовать издание ежемесячного журнала

«Новоселье», а также способствовала созданию нового русскоязычного издательства «Рифма».

С самого начала редакция «Новоселья» пыталась создать независимый орган, посвященный литературе, искусству и науке, откликающийся на вопросы современности. С этой целью сотрудники редакции постарались объединить вокруг журнала лучшие творческие силы русского зарубежья. Не менее важной задачей нового журнала было восстановление живой связи его читателей с Россией, принявшей на себя основной удар фашистской военной машины. «Мысль о России, обращенность к России, – писали организаторы нового издания, – будет руководящим началом всей нашей деятельности». Наконец, редакция стремилась стать посредником в сближении представителей русской, американской и западноевропейской интеллигенции.

Что же касается названия журнала, то в конце первого номера редакция поместила небольшую заметку, в которой, в частности, говорилось:

«Своим названием мы хотели подчеркнуть, что все мы – читатели и сотрудники журнала – здесь более или менее давние “новоселы”».

В русской литературе “Новоселье” имеет освященную временем и именем Пушкина традицию. Один из литературных альманахов пушкинской эпохи носил это название, и сам поэт в нем участвовал. Таким образом, мы ставим наш журнал под знак великого поэта».

«Новоселье» выходило сначала ежемесячно, а с 1943 года – раз в два месяца и реже. Объем журнала колебался от 80 до 150 страниц (в сдвоенных номерах). Подписная годовая цена журнала составляла в США 3,5 доллара, а в Канаде 4,5 доллара; цена номера в розничной продаже – 35 центов. Редакция и контора «Новоселья» находились по адресу: 2 East 86th Street, New York City.

Внешне журнал был оформлен чрезвычайно скромно и не помещал иллюстраций, что объясняется, вероятно, ограниченными материальными возможностями редакции. Художница Александра Прегель, жена брата Софьи Юльевны<sup>[2]</sup>, предложила самое простое решение обложки: в верхней части дается написанное от руки нарочито пошкольному название журнала, а в нижней – более мелко тем же почерком – «Нью-Йорк». Цвет обложки почти каждой новой книжки журнала менялся: преобладали сдержанные тона.

Уже в первых номерах «Новоселья», появившихся весной 1942 года, определилось его лицо, наметился основной круг авторов и тематических приоритетов. Свои рассказы передали редакции И. Бунин («Три рубля»), М. Алданов («Тьма»), Н. Федорова («Выпросила») и другие; стихи – М. Цетлин, Б. Божнев, Т. Остроумова, К. Франкфурт и другие. Немало интересного печаталось и из русского литературного наследия, например стихи М. Волошина, неизвестные стихи В. Маяковского, утерянные стихи А. Блока, неопубликованный в русской печати мемуарный очерк Е. Замятина «О Горьком», отрывки из воспоминаний В. Зензинова – одного из бывших лидеров партии эсеров; краткий обзор американской литературы 1941 года, сделанный М. Железновым, а также остроумное продолжение «Евгения Онегина» – «Евгений Онегин в Нью-Йорке» (глава «Татьяна Ларина» Аргуса [М.К. Айзенштадта]).

Особо важным для характеристики журнала представляется активное участие в его становлении Веры Александровны Шварц (1895–1966), писавшей под псевдонимом

«В. Александрова». Постоянный литературный обозреватель меньшевистского «Социалистического вестника» и популярной нью-йоркской газеты «Новое русское слово», она была хорошо известна своим необычным для тогдашней эмиграции отношением к Советской России. Она искренне считала большевистский переворот, при всем его уродстве и противоречиях, значительным народным творением; в революционной же эпохе находила переключку с Петровским временем. Обозревая современную советскую литературу, Шварц старалась быть достаточно объективной в своих оценках, «стремилась вжиться в авторскую позицию некоего внутрироссийского оппозиционера, отстаивающего перед лицом существующей власти ценности демократии и демократию социализма»<sup>[31]</sup>. Судя по всему, такая позиция была близка и Софье Прегель, и ряду авторов, тесно сотрудничавших с «Новосельем».

Большое влияние на редакционную политику оказывал также Марк Львович Слоним (1894–1976) – известный литературный критик, публицист, переводчик, историк русской литературы, крупный советолог. Подобно Илье Эренбургу, он не мог оставаться в стороне от военных событий мирового значения и выступал в «Новоселье» в основном как публицист.

Важным нововведением в журнале стали тематические номера. Так Петербургу-Ленинграду, перенесшему тяжелейшую блокаду, был посвящен 2-й номер за 1943 год, а обзору американской жизни и культуры были посвящены два тематических номера (1943, № 9–10 и № 17–18), в которых приняли участие американские писатели А. Комптон (нобелевский лауреат), В. Марч, Э. Ли Мастерс, Р. Мэккенни, Р. Райт, М. Киннан Роулингс, Э. Синклер и другие; художник Р. Кент и дирижер Л. Стоковский.

Естественно, что на протяжении всех военных лет тема борьбы с фашизмом не сходила со страниц «Новоселья». Известный американский писатель Говард Фаст (автор романа «Прославленные мои братья») в связи с 10-летием сожжения гитлеровцами книг опубликовал в журнале перевод своей статьи «Сжигатели книг». В ней он вновь обратил внимание на то, что «зарезо горевших книг было сигналом для возврата к варварству; пламя, поглотившее Гейне, Манна и Фрейда, охватило весь мир» (1944, № 12–13, с. 57).

Среди мемуарных материалов, регулярно появлявшихся на страницах журнала, можно найти немало замечательных по форме и содержанию образцов этого жанра. К ним, безусловно, следует отнести воспоминания художника Сергея Судейкина о его встречах с М.А. Врубелем (1945, № 4–5), безыскусный рассказ Лидии Шалапиной о своем отце (1945, № 17–18), неожиданно острые впечатления художника Мане-Каца от его встреч с Пабло Пикассо (1945, № 20), поэтичные воспоминания Р. Невадовской об Андрее Белом (1944, № 12–13) и др.

Рассказывая о «Новоселье», следует, прежде всего, воздать должное его серьезной литературной части. Помимо уже упомянутых Бунина и Алданова, с журналом активно сотрудничали такие мастера старшего и среднего поколения, как А. Ремизов, Н. Тэффи, О. Дымов, Г. Адамович, Н. Оцуп, Ю. Терапиано, М. Цетлин и др. Особо важную роль сыграл журнал в становлении новой литературной смены русского зарубежья (особенно со второй половины 1940-х годов), опубликовав произведения около тридцати молодых писателей, в том числе В. Андреева, Е. Бакуниной, В. Варшавского, Л. Зурова, Н. Кодрянской, Ю. Мандельштама (посмертно), В. Познера, Б. Сосинского, Е. Таубер...

В «Новоселье» было опубликовано также немало интересных материалов общественно-политического, историко-литературного и искусствоведческого характера. Их авторами, кроме ранее упомянутых В. Александровой и М. Слонима, выступали также

философ Н. Бердяев, историки А. Мандельштам, Ю. Бруцкус и Е. Извольская, литературоведы К. Вильчковский и Р. Якобсон, художественные критики С. Бертенсон, Е. Рубисова, Ю. Сазонова, музыканты В. Дукельский, С. Кусевицкий, С.А. Лурье, Н. Слонимский и Л. Стоковский, художники Ю. Анненков, М. Добужинский, М. Ларионов, Мане-Кац, Н. Рерих и другие.

Как складывались отношения между авторами и редактором журнала? В фонде Софьи Прегель, находящемся в Иллинойском университете, сохранились письма Алексея Ремизова, в определенной мере помогающие ответить на этот вопрос. Продолжая жить в годы войны в Париже, он начал сотрудничать с журналом по предложению С. Прегель с осени 1943 года. О том, что значила для писателя в те годы возможность не только печататься, но и получать за это гонорары, можно понять по приведенному ниже фрагменту из одного его письма послевоенного времени к редактору журнала: «<...> Я уже поставил крест на своем литературном творчестве, стал рисовать картинки с подписями – делать рукописные альбомы. Вы меня на свет выводите с Вашим “Новосельем” – как мне это не чувствовать и не принимать к самому благодарному Вам сердцу»<sup>[4]</sup>.

А вот как охарактеризовал редактора-издателя «Новоселья» поэт и мемуарист Юрий Терапиано (1892–1980): «<...> Я не преувеличу нисколько, если скажу, что личные качества Софьи Прегель как редактора, ее слух на поэзию и прозу, ее вкус, ее постоянное доброжелательное отношение к каждому из сотрудников – “старших”, “парижских” и “молодых” были единогласно признаны и оценены всеми, в результате чего в “Новоселье” создалась не только настоящая дружеская атмосфера, но и строгая, в то же время литературная разборчивость, обеспечивающая каждой новой книжке журнала высокий литературный уровень»<sup>[5]</sup>.



## Нью-Йорк. 1930-е годы.

Немало места на страницах «Новоселья» было уделено и судьбам еврейского народа, подвергнутого во время войны небывалому в мировой истории геноциду. Большую часть материалов на эту тему подготовила Софья Дубнова-Эрлих (1885– 1986) – поэтесса и публицист, дочь выдающегося еврейского историка Шимона Дубнова, погибшего в 1941 году в Риге от руки немецкого солдата. С большим трудом добравшись к осени 1942 года из Польши до США, она вскоре стала тесно сотрудничать с редакцией «Новоселья», выступая то в качестве поэта, то публициста, то мемуариста, то переводчика. И почти каждый ее труд так или иначе касается военных событий и трагедии еврейского народа. В очерке «Местечко» (лето 1943 года) Дубнова описала свою поездку весной 1939 года в одно из местечек, «затерянных среди польских нив и перелесков» и мало изменившихся за последние три столетия. Там, на своей лекции по современной советской литературе, она встретила с членами организации еврейской социалистической молодежи, задумавшими «перепрыгнуть из семнадцатого прямо в двадцатый, а то и в двадцать первый век...». В конце очерка автор с грустью прерывает свое элегическое повествование сообщением: осенью 1939 года разразилась война! И тогда «заголосило и ринулось в путь обезумевшее местечко <...> Ураган разметал столетиями складывавшийся быт» (1943, № 3, с. 65, 67). А год спустя, получив список жертв героического восстания в Варшавском гетто – запоздалый отклик оттуда, «из последнего круга преисподней», она пишет необычайно сильный, выстраданный очерк «На пепелище». Размеры злодеяний, совершенных фашистами, глубоко ее потрясают: «Человеческое воображение убого. Чудовищный образ гибели тысяч в газовых камерах не вызывает дрожи, ибо не умещается в мозгу. Но весть о смерти человека, которого мы помним живым, озабоченным или улыбающимся, вдруг раздвигает завесу: и перед нами встает ставший ныне кладбищем кусок живой, горячей жизни, которому было имя – еврейский квартал Варшавы». И вот, держа в руках список жертв восстания, где была почти сплошь молодежь (стариков и детей нацисты успели уничтожить до того), бывшая варшавянка пишет: «Многих я знала лично – по кружкам, собраниям, литературным вечерам, душевным беседам у письменного стола в моем небольшом кабинете. Но как они выросли за четыре года восхождения на Голгофу, четыре года в гетто!» (1944, № 11, с. 70).



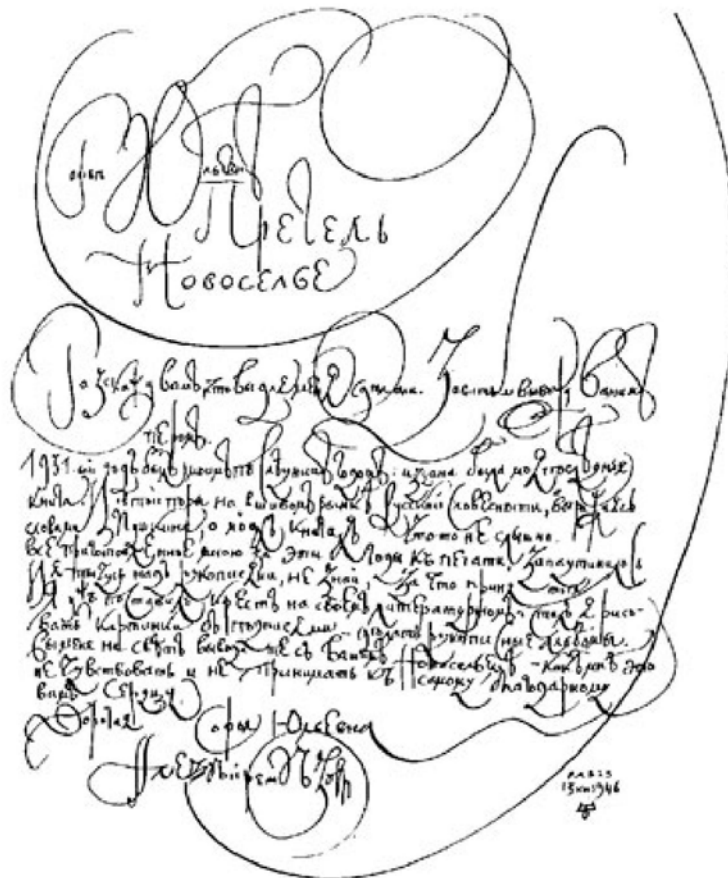
Обложка первого номера журнала «Новоселье».

Продолжение темы гибели польского еврейства мы находим в необычайно сильной статье-откровении известного польского поэта Юлиана Тувима (1894–1953), жившего в годы войны в США. Статья «Мы, польские евреи», опубликованная в 1944 году в блестящем переводе Софьи Дубновой, воспринимается порой как библейский плач Иеремии. Уже в посвящении – «Матери моей в Польше или ее дорогой тени» – ощутима степень потрясения автора, оглушенного размерами истребления польского еврейства. До войны Тувим был вполне ассимилированным евреем, чувствовавшим себя полноценным поляком, «ибо в Польше родился, рос, учился, был счастлив и несчастен <...> оттого, что в младенчестве вскормлен был польской речью <...>, оттого, что по-польски поведал о тревогах первой любви и лепетал о радостях ее и грозах». Однако потоки крови невинно загубленных миллионов евреев пробудили в поэте острое чувство национального самосознания: «<...> Примите меня, братья, в благородный орден невинно пролитой крови: к этой общине хочу я стать ныне причастным» (1944, № 14–15, с. 40–44).

В дни победы над гитлеровской Германией Софья Прегель помещает в «Новоселье» новый перевод С. Дубновой – очерк крупнейшего еврейского писателя того времени Шолома Аша (1880–1957) «Из огненной печи». Это документальный рассказ о том, как представители люблинского Еврейского комитета, приехавшие в деревушку близ Варшавы после ее освобождения от фашистов, с трудом отыскивали двух еврейских девочек-сестер, спрятанных от немцев одной местной крестьянкой. Когда их попросили рассказать о своей прежней довоенной жизни, то старшая не могла сказать ни слова, а младшая – десятилетняя – вспомнила, как мама решила покончить с собой в надежде, что поляки их пожалеют и спасут им жизнь... (1945, № 19).

Судьбам французских евреев во время немецкой оккупации были посвящены две публикации 1947 и 1948 годов. Первая из них – воспоминания поэта А. Элькана о пережитом им и его дочерью в печально знаменитом «расовом» лагере Дранси. Он характеризует Дранси как преддверие того ада, который создан нацистской Германией при молчаливом содействии всех темных сил мира. Писатель передает весь ужас ожидания заключенными своей участи: депортируют или не депортируют их в Аушвиц, а следовательно, жить или превратиться в пепел?

Вторая публикация вновь принадлежит Софье Дубновой. Это рецензия на книгу Довида Кнута, посвященную истории еврейского Резистанса (Сопrotивления) во Франции 1940–1944 годов и вышедшую в Париже в 1947 году. И хотя, по словам рецензента, книга не дает исчерпывающего описания бурного четырехлетия и не претендует на строгую историчность, она является волнующим прологом к тем главам, которые когда-нибудь напишет историк. Как известно, некоторые из участников еврейского Сопrotивления покинули Францию еще во время войны и вступили в палестинскую Еврейскую бригаду; многие же другие, из наиболее активных деятелей, погибли в бою, в подвалах гестапо и в газовых камерах. «Мы должны склониться с глубочайшим уважением перед этими мужчинами и женщинами, – пишет Кнут, – сверхчеловеческая сила, проявленная ими перед лицом смерти, превзошла даже подвиг их жизни. Пока сыновья и дочери нашего народа будут подыматься на смертный бой с врагами – жив будет Израиль» (1948, № 37–38).



Письмо А. Ремизова к С. Прегель от 13 декабря 1946 года.

Пятилетний юбилей «Новоселья», торжественно отмечавшийся 14 марта 1947 года в Нью-Йорке, свидетельствовал о безусловном признании заслуг журнала перед русской культурой. Помимо вечера, устроенного группой друзей и сотрудников редакции в Carnegie Chapter Room, С.Ю. Прегель получила поздравления и много добрых пожеланий от авторов и читателей: в ее архиве хранится около 30 писем и почтовых открыток, а также 8 телеграмм, непосредственно связанных с этим юбилеем. Пожалуй, лучше других выразил отношение творческой интеллигенции русского зарубежья к журналу и его редактору литератор-парижанин В. Сухомлинов:

*Дорогая Софья Юльевна,*

*Разрешите неверному, но старому сотруднику «Новоселья» поздравить его со вступлением в счастливый пятилетний возраст и выразить надежду, что сей вундеркинд будет приносить родителям больше радости, чем забот. Я знаю, что издание русского литературного журнала за границей – дело нелегкое, даже при обилии талантов, высокой технике и американских темпах типографии Раузена. Не скрою, что я всегда удивлялся неумолимому оптимизму, с каким Вы приступали ежемесячно к составлению очередного номера, и мягкой непреклонности, с какой Вам удавалось преодолевать все препятствия... Объединяя зарубежных русских литераторов и публицистов, отказавшихся прямо или косвенно служить врагам России, давая им*

*возможность вносить свою посильную лепту в творчество русской культуры, помогая русским эмигрантам различных поколений не забывать русский язык и разбираться в том, что происходит у них на родине и во всем мире, «Новоселье» делает скромное, но полезное русское дело. Таково, между прочим, мнение всех русских парижан, с которыми мне приходилось встречаться<sup>161</sup>.*

В 1949 году, на волне всеобщего признания и благодарности со стороны литературных кругов русского зарубежья, Софья Прегель вместе с редакцией «Новоселья» переехала в Париж. Однако в новых условиях экономическое положение журнала резко ухудшилось. В конце концов, возрастание типографских расходов сделало его дальнейшее существование невозможным, и в 1950 году вышли последние номера «Новоселья».

В качестве эпилога добавим несколько слов о дальнейшей судьбе С.Ю. Прегель и об отношении к ней в литературных кругах русского зарубежья. После закрытия «Новоселья» и до конца своей жизни она оставалась одним из авторитетнейших русскоязычных литераторов. Продолжая писать стихи, Прегель много времени, особенно в последние годы жизни, уделяла мемуарной прозе. Уже посмертно были опубликованы ее мастерски написанные воспоминания о счастливом детстве в Одессе<sup>171</sup>. Как и прежде, Софья Юльевна не могла ограничить себя только собственным творчеством. По словам многих хорошо знавших ее людей, она до конца жизни была полна энергии, откликалась с живейшим интересом на все события литературной жизни, интересовалась людьми и всегда была готова помочь им, если было нужно. Георгий Адамович, полушутя-полусерьезно называя Прегель «директрисой русской литературы», не раз говорил о том, что ей следовало бы, как скауту, здороваться левой рукой, – правая всегда наготове, чтобы помочь, поддержать слабого. Ирина Одоевцева – поэтесса, близко знавшая Софью Юльевну в последние годы, – свидетельствует:

*Она действительно играла очень большую, даже главенствующую роль в нашей литературе, несмотря на то, что ничего не печатала ни в газетах, ни в журналах, а только изредка издавала сборники своих стихов. С ее именем считались поэты и писатели не только в Европе и в Америке, но даже в России <...> У нее был огромный архив и безошибочная память. Она сама, смеясь, говорила, что она «справочная книга по делам русской литературы – со всеми литературными событиями и датами<sup>181</sup>.*

Софья Юльевна Прегель умерла 25 июля 1972 года – в дни, когда Париж был пуст и многие ее друзья были лишены возможности отдать ей последний долг. И все же появившийся вскоре в «Русской мысли» краткий некролог сумел вместить в себя главное:



**Софья Прегель.**

*Русская зарубежная литература потеряла верного и самоотверженного друга. Невзирая на личные симпатии и антипатии, на политические расхождения, иногда и острые, Софья Юльевна ни в чем не была тепло-прохладной – она помогала всем, кому помощь была нужна, являя нам, христианам, образ милосердного Самаритянина<sup>[1]</sup>.*

<sup>[1]</sup> Осоргин М.А. Письма о незначительном. Нью-Йорк, 1952. С. 13.

<sup>[2]</sup> Об Александре Прегель см. публикацию О. Демидовой: А.Н. Прегель. Воспоминания // Вестник Еврейского университета. 2006. № 11. С. 369–392.

<sup>[3]</sup> Хейфец М. «Социалистический вестник» и «социалистическая страна» // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1992. Вып. 1. С. 217.

<sup>[4]</sup> Письмо А. Ремизова к С. Прегель от 13 декабря 1946 года // Архив Иллинойского университета. Фонд С.Ю. Прегель.

<sup>[5]</sup> Терапиано Ю. Новоселье (Рукописные заметки). // Там же.

<sup>[6]</sup> Письмо В. Сухомлинова к С. Прегель от 4 марта 1947 года // Там же.

<sup>[7]</sup> См.: Прегель С. Мое детство: Автобиографическая трилогия. Париж, 1973–1974.

<sup>[8]</sup> Одоевцева И. Год потерь // Русская мысль. 1972. 21 сентября.

<sup>[9]</sup> З. Ш. <Зинаида Шаховская?>. Смерть Софии Прегель // Русская мысль. 1972. 3 августа.

## ЕВРЕИ ВЧЕРАШНЕГО МИРА

По поводу мемуаров Стефана Цвейга «The World of Yesterday, an Autobiography»

### *בְּאֵרֵי אֲדָמָה*

В 1947 году Ханна Арендт собрала ряд своих статей для немецкого издания. Сборник вышел под названием «Скрытая традиция», с посвящением Карлу Ясперсу. В этом посвящении автор оговаривает и принципиальность издания своей книги именно в Германии, именно на немецком языке, и формулирует принцип, объединяющий под одной обложкой эссе о Ф. Кафке, С. Цвейге, Г. Гейне, а также на темы историко-философского характера. Тема сборника – осознание еврейских судеб в XX веке, проблема еврейского самосознания и его трансформация на протяжении последних столетий.

Эссе о Стефане Цвейге, написанное по следам чтения его мемуаров, интерпретирует не только личную судьбу писателя, но содержит размышления о важнейших процессах в среде немецкого и австрийского еврейства накануне той эпохи, которая закончилась Катастрофой европейского еврейства.



Сто тридцать пять лет тому назад Рахель Фарнхаген<sup>[1]</sup> сделала запись в своем дневнике: ей приснилось, будто она умерла и вместе с подругами – Беттиной фон Арним и Каролиной фон Гумбольдт – оказалась на небе. Чтобы освободиться от бремени жизни, женщинам предстояла задача: спросить друг друга о самых тяжелых земных испытаниях.

«Знали ли вы обманутую любовь?» – спросила Рахель. В ответ подруги громко заплакали – и у всех троих отлегло от сердца. «Знали ли вы неверность? – продолжала Рахель. – Обиду? Заботу? Печаль?» При каждом вопросе женщины плакали вместе с Рахелью, и на душе у них становилось легче. Тогда Рахель задала последний вопрос: «Знали ли вы бесчестье?» Но как только она произнесла эти слова, повисло молчание, и ее собеседницы с растерянным недоуменным взглядом отодвинулись в сторону. В эту минуту Рахель осознала свое одиночество и поняла, что последняя тяжесть будет камнем лежать у нее на сердце. С этой мыслью она проснулась.

Категории «честь» и «бесчестье» лежат в сфере политики и общественных отношений. К миру образования и культуры, сугубо частного бытия или же деловой жизни эти две категории практически не применимы. Деловой человек знает только успех или неуспех, бесчестье он видит в бедности. Литератор – славу или безвестность; бесчестье состоит для него в анонимности. Стефан Цвейг, будучи литератором, описывает в своей последней книге литературный мир, давший ему и славу, и образование; благосклонность фортуны уберегла его от бедности, счастливый случай – от анонимности. Из чувства собственного достоинства Цвейг благородно сторонился политики – настолько, что катастрофа последнего десятилетия представляется автору мемуаров громом с ясного неба, чудовищным, непостижимым стихийным бедствием. Перед лицом событий он пытался, по мере сил и возможностей, сохранить достоинство и осанку. Ибо тот факт, что богатые видные граждане Вены выклянчивают себе визы в надежде на бегство в страны, которые они неделю-другую назад едва ли нашли бы на карте, казался Цвейгу невыносимым унижением. А что сам он, еще вчера – знаменитость, почетный зарубежный гость, – почему-то вынужден принадлежать к этой несчастной толпе людей без родины, подозрительных личностей, – просто-напросто адом. Как бы сильно ни изменил 1933 год его личную судьбу, он ни на йоту не сдвинул ценностных установок Цвейга, не изменил его отношения к миру и окружающей жизни. Писатель не уставал гордиться собственной аполитичностью; ему и в голову не приходило, что – говоря языком политики – для человека может быть честью оказаться объявленным вне закона, если перед законом не все равны. А что высший свет, причем не только в нацистской Германии, в тридцатых годах шел на уступки нацистам с их ценностными критериями, подвергая дискриминации отверженных и гонимых, Цвейг чувствовал и от себя не скрывал.

Ни одна из его реакций этого времени не свидетельствует о каком-либо политическом убеждении, все они продиктованы сверхчуткостью к социальному унижению. Вместо того чтобы ненавидеть нацистов, он надеялся раздражать их. Вместо того чтобы презирать сблизившихся с властями друзей, испытывал благодарность к Рихарду Штраусу: тот, мол, еще принимает его либретто, – нечто вроде благодарности другу, не покинувшему в беде. Вместо того чтобы бороться – хранил молчание и был доволен, что его сочинения запретили не сразу. И, даже утешаясь сознанием, что его книги изъяты в Германии из продажи вместе с книгами столь же прославленных авторов, мучился тем, что нацисты поставили на его имени клеймо преступника, что знаменитый Стефан Цвейг превратился в еврея Цвейга. Точно так же, как и его коллеги по цеху (менее чуткие, менее одаренные, а стало быть, и подвергнутые меньшей опасности), Цвейг не сумел предвидеть, что пресловутая благородная сдержанность, испокон веку вознесенная обществом в эталон подлинной образованности, в контексте общественной жизни означает порой банальную трусость, а внутренний аристократизм, так долго и действительно защищавший от всего неприятного и неловкого, обернется вдруг бесконечной серией унижений, от которых жизнь действительно превращается в ад.



Австрия. Конец 1930-х годов.

Прежде чем совершить самоубийство, Стефан Цвейг с той беспощадной точностью, какая только и порождается холодом подлинного отчаяния, подводит итог: что подарил ему этот мир и что он сделал с ним под конец. Пишет о счастье славы и позоре унижения. Пишет, как был изгнан из рая; райского сада просвещенного вкуса, где он вращался не столько в кругу единомышленников, сколько среди таких же баловней славы; райского сада бесконечного любопытства к мертвым гениям человечества – проникать в их частную жизнь, собирать как реликвии глубоко личные следы их земного существования составляло отраднейшую задачу бездеятельной жизни. Пишет, как вдруг столкнулся с реальностью, где наслаждаться более нечем, где баловни славы сторонятся или жалеют его и где утолять культурное любопытство к минувшему невозможно из-за постоянного невыносимого гула дурных новостей, злодейского грохота бомбардировок и бесконечных бюрократических унижений.

Ушел, навеки разрушен тот мир, где поколение «слишком рано даровитых, вечно грустных, вечно нежных»<sup>[2]</sup> устроилось по-домашнему; тот парк для прогулок живых и мертвых, где избранники вкуса присягали на верность Искусству и чьи решетки отгораживали от профанного vulgus<sup>[3]</sup> непросвещенных надежней Великой Китайской стены. А вместе с ним погибло и то зеркальное отражение общества знаменитостей, в котором столь многие, как это ни покажется странным, чаяли обрести «реальную жизнь»: мир богемы. В глазах мальчика из буржуазной семьи, бегущего от защищенности родительского мирка, представитель богемы, каковой отличается от мальчика весьма существенными деталями: он редко и неохотно пользуется расческой и вечно не в состоянии расплатиться за чашку кофе, – воплощал собой бывалого, понатерпевшегося человека. В глазах того, кто добился успеха, тот, кто его не добился и кому остается только мечтать о больших тиражах, воплощал собой непризнанного гения, а стало быть, ту ужасную участь, какую подчас уготавливает «реальная жизнь» исполненному надежд молодому человеку.

Но разумеется, изображаемый Цвейгом мир – какой угодно, но только не мир вчерашний; разумеется, автор воспоминаний жил не столько в этом мире, сколько где-то на периферии. Позолоченный частокор, закрывавший этот уникальный заповедник от посторонних глаз, был столь густым, что не оставлял ни единой лазейки, через которую открылась бы некая панорама, некая перспектива, которая может помешать наслаждению; в такой степени, что о самом страшном и роковом явлении послевоенного времени – безработице, принесшей его родной Австрии больше страданий, чем любой другой европейской стране, – Цвейг не обмолвился ни единым словом. Но пусть даже нам, сегодняшним, решетки, за которыми провели жизнь эти люди и которым они были обязаны своим чувством сверхзащищенности, кажутся чем-то похожими на стены тюрем и гетто – это нисколько не умаляет необычайной ценности цвейговского *document humain*<sup>[4]</sup>. Странно и как-то не по себе становится от того, что среди нас, ныне живущих, еще недавно был человек, чье невежество было столь глубоко, а совесть настолько чиста, чтобы взглянуть на довоенный мир – глазами довоенного времени, на первую мировую войну – с позиций бессильного и пустого женевского пацифизма<sup>[5]</sup>, а в обманчивом затишье перед бурей (между 1924 и 1933 годами) усмотреть возвращение к обыденной повседневности. И все же трудно не восхититься и не сказать спасибо тому, кто не побоялся в деталях, ничего не тая и не приукрашивая, перенести это мироощущение на бумагу – притом что Цвейг отлично осознавал, какими глупцами все они были; пусть даже взаимосвязь между постигшими их несчастьями и их глупостью так и осталась для автора непроясненной.

Время, именуемое Цвейгом «золотым веком надежности», другой его ровесник – павший на полях первой мировой Шарль Пеги – описывал за несколько месяцев до своей гибели как такое столетие, когда все политические порядки, явно отжившие свое и уже нелегитимные для народов, по какой-то непостижимой причине продолжали действовать дальше: в России – устаревшая деспотия; в Австрии – забюрократизированное правление Габсбургов; в Германии – одинаково ненавистная и либеральному бюргерству, и рабочим армейская власть отупевшего юнкерства; во Франции – получившая, невзирая на все кризисы, очередную отсрочку на двадцать лет Третья республика. Объясняется эта загадка тем, что Европа была слишком занята расширением радиуса своего экономического влияния для того, чтобы какая-либо общественная прослойка или нация всерьез задумалась бы о вопросах политики. Прежде чем напряжение противоборствующих экономических интересов разрядилось в национальных конфликтах, втянувших в свой водоворот все политические структуры европейского человечества, – репрезентация политической власти на протяжении полувека чем дальше, тем больше напоминала театр, чтобы не сказать – оперетту. И одновременно театр в Австрии и в России стал средоточием национальной жизни господствующей верхушки.

«Золотой век надежности» примечательным образом изменил расстановку сил на мировой арене. Невероятный прогресс всей промышленно-экономической сферы привел к тому, что факторы политические неуклонно ослабевали, реальное же господство в международной игре захватили сугубо экономические начала. Власть стала равнозначна экономической мощи, которой и подчинились правительства. Вот почему юридически этим правительствам оставалось в конечном счете лишь выполнять представительские задачи и почему это представительство все сильнее отдавало театральным и опереточным духом. При этом еврейская буржуазия – не в пример немецкой или австрийской – отнюдь не стремилась встать у кормила власти, в том числе экономической; она была довольна приобретенным богатством и счастлива той надежностью, залогом и гарантом которой ей виделся накопленный капитал. Все больше детей из обеспеченных еврейских семейств бросали коммерцию, не видя смысла в пустом накопительстве; их все неудержимей тянуло к культурным профессиям. Так за немногие десятилетия в Германии, как и в

Австрии, огромная доля культурной жизни, газетного, книгоиздательского и театрального дела, перешла в еврейские руки.

Если бы евреи тех западно- и средневропейских стран хоть на миг озаботились политической ситуацией, у них были бы все основания почувствовать шаткость своего положения. Ведь первые антисемитские партии зародились в Германии еще в восьмидесятых годах девятнадцатого века; Трейчке<sup>[6]</sup>, если воспользоваться его собственным выражением, сделал антисемитизм «допустимым в приличном обществе». В Австрии на рубеже веков началась агитация в духе Люгера-Шёнерера<sup>[7]</sup>, завершившаяся избранием Карла Люгера на пост бургомистра Вены. Во Франции дело Дрейфуса долгие годы определяло внутреннюю и внешнюю политику страны. Стефан Цвейг, упоминая Люгера, рисует образ доброжелательного господина, всегда сохранявшего верность своим еврейским друзьям. И ясно, что никто из венских евреев – за исключением разве что «полоумного» Теодора Герцля<sup>[8]</sup>, редактора литературного отдела в «Нойе Фрайе прессе» – не принимал антисемитизм всерьез, а уж тем более в столь домашнем, австрийском его проявлении, как бургомистр Люгер. На первый взгляд все, казалось бы, так и есть. Но при более пристальном рассмотрении картина меняется. Ведь когда Генрих Трейчке ввел моду на антисемитизм, в Австрии и Германии крещение явно перестало быть пропуском в нееврейский мир. Впрочем, об антисемитизме «лучшего общества» еврейские предприниматели Австрии вряд ли догадывались: они преследовали исключительно деловые интересы и к признанию нееврейского общества, вообще говоря, не стремились. Зато их дети догадались мгновенно: чтобы еврея принимали за равного, ему нужно ни много ни мало добиться славы.

Нет документа, который бы лучше обрисовывал положение евреев того времени, чем первые главы воспоминаний Цвейга. Они ярко свидетельствуют о том, в какой степени всю молодежь того поколения захватила идея славы, желание стать знаменитым. Ее идеалом был гений, воплощенный в образе Гете. Каждый еврейский мальчик, мало-мальски умеющий рифмовать, примерял на себя молодого Гете; каждый, кто хоть чуть-чуть рисовал, – будущего Рембрандта; любой музыкальный ребенок – демонического Бетховена. И чем утонченней была семья этих вундеркиндов, тем больше усилий уходило на имитацию. Причем не только в области сочинительства. На имитации строился целостный образ себя: юноши ощущали гетевскую возвышенность, подражали «олимпийской» отрешенности классика от политики, коллекционировали каждый клочок, оставшийся от славных мужей былого, старались лично соприкоснуться с любой знаменитостью; так на тебя будто падали отблески чужой славы, и ты готовился, учился быть знаменитым.



Карикатура на Карла Люгера.

Надпись гласит: «Я полагаю, что еврейский вопрос полностью надуман».

Конечно же, поклонение идолу гениальности не ограничивалось еврейской средой. Герхарт Гауптман, нееврей по происхождению, зашел, как известно, так далеко, что целиком стилизовал свою внешность – не под живого Гете, но под многочисленные классицистские портреты и бюсты великого мастера. И хотя нельзя утверждать, что восторги мелкой буржуазии Германии по поводу наполеоновского величия породили к жизни Адольфа Гитлера, все же этот энтузиазм весьма поспособствовал истерическому обожанию целым рядом немецких и австрийских интеллектуалов сего «великого мужа».

Однако, даже если обожествление «великого мужа» как такового – без оглядки на характер его свершений – и стало повальной болезнью эпохи, не подлежит сомнению, что у евреев этот недуг принял весьма специфические формы, а протекал, коль скоро дело касалось великих людей культуры, особенно бурно. В любом случае венская еврейская молодежь ходила «учиться славе» – в театр; самый наглядный образчик славы давали венцам актеры.

Но здесь опять-таки нужно оговориться. Ни в каком другом европейском городе театру не довелось сыграть такую же роль, как в Вене в годы политического брожения. Цвейг рисует яркую сцену: узнав о смерти известной придворной певицы, кухарка, которая служит у Цвейгов и певицу эту ни разу не слышала и не видела, проливает потоки слез. По мере того как политическая репрезентация превращалась в театр, сам театр становился своего рода национальной институцией, а актеры – национальными героями. В силу того что мир безусловно проникся театральным началом, театральная сцена начала подменять собой окружающую реальность. Сегодня с трудом умещается в голове, что даже Гуго фон Гофмансталь купился на этот театральный психоз и на несколько десятилетий уверовал в то, что за театральным энтузиазмом венцев крылось нечто вроде афинского чувства гражданственности. Гофмансталь упустил из

виду, что афиняне ходили в театр ради поставленной пьесы, обращения к мифу и возвышенности поэтического слова, через которое, как им верилось, они совладают со страстями жизни и с игрой национальных судеб. Венцы же ходили в театр исключительно ради актеров; под того или иного актера писалась пьеса, только конкретный актер и его роль оценивались в рецензиях; дирекция принимала и отклоняла пьесу, руководствуясь лишь одним: найдутся ли здесь эффектные роли для этих любимцев публики. Словом, еще до того, как за дело взялся кинематограф, в Вене была уже полностью готова модель будущего сотворения звезд. Не возрождение классики, а Голливуд маячил на горизонте.

Однако, если смешение сути и видимости и было обусловлено политическими обстоятельствами, то главной движущей силой, запустившей этот иллюзорный мир в действие, создавшей ему аудиторию и почву для славы, стали евреи. А поскольку Европа по праву восприняла австрийскую фасадную культуру как весьма характерную для эпохи, Цвейг снова в известной степени прав, гордо провозглашая: «девять десятых того, что мир окрестил венской культурой девятнадцатого столетия, была культура, поддерживаемая, питаемая или созданная еврейством»<sup>[9]</sup>.

Культура, выстроенная вокруг актера и виртуозного исполнителя, вводит своеобразные и сомнительные стандарты. «Потомки – миму лавров не сплетут!»<sup>[10]</sup> – так что слава и аплодисменты требуются актеру в невероятных количествах. Пресловутое актерское тщеславие есть не что иное, как профессиональная болезнь. Ибо насколько в природе любого художника лежит стремление что-то после себя оставить, сохранить для потомков, настолько обделены в этом смысле виртуозные исполнители и актеры; в истерике от хронической неудовлетворенности основного художественного посыла они ищут и находят отдушины. Из-за вынужденного отказа от внимания потомков актер все измеряет критерием прижизненного успеха. Но дело в том, что тот же самый критерий – прижизненного успеха – выпадал и на долю «Гениев», когда этих вождельных «великих людей» отделяли от всех их свершений и начинали рассматривать их «величие как таковое». В литературе это сделали биографии, в которых намеренно изображались только жизнь, личность, чувства и поведение великих мужей – даже не столько в угоду пошлему любопытству к домашним тайнам, сколько в силу того, что все почему-то поверили: через такую почти ненормальную степень абстракции можно как раз таки ухватить самую суть величия гениев. Впрочем, по части благоговения перед «величием как таковым» евреи и неевреи были вполне едины. Поэтому культурная жизнь, управляемая евреями, и еврейский театральный мир австрийской столицы сумели легко утвердиться и, более того, стать олицетворением европейской культуры.

Стефан Цвейг хорошо разбирался в истории, что и спасло его от безоговорочной апелляции к критерию прижизненного успеха. И тем не менее величайших немецкоязычных авторов послевоенного времени – Кафку и Брехта, при жизни не имевших широкого круга читателей, – он, невзирая на весь свой «connaissance»<sup>[11]</sup>, просто проигнорировал, равно как не удержался и от подмены значения авторов тиражами их книг: «Гофмансталь, Артур Шницлер, Беер-Гофман, Петер Альтенберг вывели венскую литературу на европейский уровень, каковым она не обладала даже при Грильпарцере и Штифтере»<sup>[12]</sup>. Человек поистине скромный, Цвейг деликатно обходит в своих мемуарах сугубо личные темы как неинтересные – тем сильнее бьют в глаза многократные перечисления знаменитых мужей, с которыми он знакомился в течение жизни и которых принимал у себя дома, – бьют в глаза, непреложно доказывая одно: даже лучшие среди этих развитых и просвещенных евреев не смогли уберечься от проклятия своего времени, от поклонения равняющего всех и вся под одну гребенку кумиру Успеха. И никакая эмоциональная тонкость, никакая сверхчувствительность, – ничто не могло побороть нелепого тщеславия, заставлявшего

без разбору, без всякого ощущения разницы уровней, выстраивать в ряд все известные имена. В своем зальцбургском альбоме для посетителей Цвейг коллекционировал «выдающихся современников» с той же страстью, с какой он собирал автографы ушедших из жизни поэтов, музыкантов, ученых. Собственного успеха, собственной творческой славы не хватало для утоления ненасытной прорвы тщеславия, едва ли порождавшегося характером – пожалуй, даже противоречившего натуре Цвейга, – но тем прочней коренившегося в глубинах мировоззрения, согласно которому – начиная с идеи поиска «прирожденного гения», «поэта во плоти» – жизнь обладает ценностью только постольку, поскольку проистекает в атмосфере славы, в самой гуще элиты избранных.

Ненасыщаемость собственным успехом, стремление сделать славу социальной средой, создать особую касту, основать союз знаменитостей – вот что выделяло евреев того поколения на общем фоне, существенно отличая их поведение от столь характерной тогда мании гениальности. Именно благодаря такой установке в их руки практически сами собой попали все учреждения, заведующие литературой, искусством, музыкой и театром. Лишь евреи оказались заинтересованными чем-то гораздо большим, чем просто изделиями собственного труда и собственной знаменитости.

Ибо насколько надежной была экономическая ситуация поколения евреев начала двадцатого века, насколько свыклось оно с гражданским равноправием – настолько сомнительным стало его положение в обществе, настолько шатким и двусмысленным – его социальный статус. В глазах окружающих евреи были и оставались изгоями, если только чрезвычайными средствами не отвоевывали себе место в приличном обществе. Применительно же к прославленному еврею общество забывало свои неписанные законы. Цвейговская «сияющая власть славы» являла собой реальную общественную силу, в ореоле которой ты мог свободно вращаться в любых кругах и водить дружбу даже с антисемитами наподобие Рихарда Штрауса и господина Хаусхофера<sup>[13]</sup>. Слава, успех становились для социально безродных средством создания родины и среды. А так как большой успех выходит за национальные рамки, легко создавалось чувство, будто бы знаменитости составляют некое расплывчатое интернациональное общество, где национальные предрассудки не действуют. В любом случае австрийский еврей легче признавался австрийцем во Франции, нежели у себя на родине. Космополитизм этого поколения, странная национальность, в принадлежности к каковой оно расписывалось всякий раз, как только ему напомнят о его еврейском происхождении, – все это уже отчаянно походило на те злополучные паспорта, что дают право владельцу пребывать в какой угодно стране, кроме той, которая выдала паспорт.

В 1914 году интернациональный союз знаменитостей был впервые разогнан, в 1933-м – окончательно уничтожен. К чести Цвейга нужно отметить, что он не поддался всеобщей военной истерии, до самого конца сохранив верность своему правилу держаться в стороне от политики и, в отличие от множества литераторов, устоял от соблазна воспользоваться войной для того, чтобы упрочить свое положение вне круга интернациональной интеллигенции. Подыграло Цвейгу и то обстоятельство, что остатки этого предвоенного союза сохранились после войны. Как известно, в двадцатых годах, то есть в то время, которому Цвейг обязан самым большим успехом, в Европе снова наладилось интернациональное сообщество славы. И только после 1938-го Цвейг с горечью понял: и это сообщество, и права на гражданство в нем зависят от наличия национального паспорта, а для лиц без гражданства не существует даже международной общности.

Интернациональное общество успешных и знаменитых оказалось единственным, где евреи были на равных со всеми. Неудивительно, что они холили и лелеяли любую крупицу таланта, что им «самым дивным ароматом на земле, – слаще

ширахской розы, – казался запах типографской краски»<sup>[14]</sup> и что не было в их жизни более радостного волнения и большей заботы, чем сдача книги в печать, отзывы критиков, количество проданных экземпляров, переводы на иностранные языки. То было раз за разом возобновляемое со-отношение с миром, где тебя не признают, если ты не предъявишь свое имя в печатном виде.



**Памятник Стефану Цвейгу в Ботаническом саду Люксембурга.**

Слава, дававшая парии некое право гражданства в международной элите преуспевающих, предоставляла еще одну и, судя по описаниям Цвейга, как минимум равноценную привилегию: отмену анонимности частной жизни; возможность того, что каждый встречный тебя узнает, любой незнакомец тобой восхитится. Даже если ты и уйдешь на время в тень анонимности, слава твоя никуда не денется: в любой момент ты сможешь вновь облачиться в нее как в панцирь для защиты от жизненных неприятностей. Цвейга ничто не коробило больше, чем враждебное отношение, и ничего он так не боялся, как погружения в трясину безвестности. Ибо там, лишенный имени и славы, он опять станет тем, кем был в начале пути, только уже при других и гораздо более страшных условиях – станет одним из тех горемык, которые видят перед собой практически неразрешимую миссию: завоевывать, восхищать, побеждать этот абсолютно чужой, жутковатый мир, каковым общество неизбежно предстает для любого, кто подвергается дискриминации, кто не принадлежит к нему по праву рождения.

В это анонимное существование и швырнула его наконец судьба в обличии политической катастрофы. Похитив его славу: Цвейг лучше многих своих коллег понимал, что писательская слава неизбежно угасает, если писатель перестает творить и печататься на родном языке. Украл его коллекции, а вместе с ними – близкие отношения с

прославленными мертвецами. Украд его дом в Зальцбурге, а вместе с ним – отношения с прославленными живыми. И наконец, украд его драгоценный паспорт, представляющий человека без родины за границей и сглаживающий, благодаря поездкам, сомнительные моменты существования в качестве гражданина на родине.

И опять к чести Цвейга нужно сказать, что он вновь, как и во время первой мировой, не поддался всеобщей истерии, не соблазнился приобретением английского подданства. Представлять Англию за границей он все равно не смог бы. Когда же потом, в годы второй мировой, интернациональный союз знаменитостей был наконец разрушен до основания, человек без родины потерял тот единственный мир, где он пользовался правом на гражданство.

В последней статье, написанной перед смертью – «The Great Silence»<sup>[15]</sup> («ОНА», 9 марта 1945 года), – Цвейг сделал попытку дать политическую оценку событиям – впервые за все годы. Слово «еврей» здесь не фигурирует; в этот последний раз Цвейг хотел говорить от лица Европы – Центральной Европы, – которая, как он писал, задыхается от молчания. Заговори он об ужасной участи своего народа, Цвейг стал бы ближе тем европейским нациям, которые в своей борьбе с угнетателем подняли голос и против преследователей евреев. Они-то лучше, чем этот ходатай, который за всю свою жизнь ни разу не озаботился их политической судьбой, понимали, что между Вчера и Сегодня не пролегает гигантской пропасти – «будто бы человека сильнее ударом столкнуло с высокой вершины», – ибо для них Вчера никоим образом не сводилось к «столетию, прогресс, наука, искусство и величайшие открытия которого исполняли всех нас гордостью и верой».

Лишенным защитного одеяния славы, раздетым догола встретил Стефан Цвейг реальность еврейского народа. От социального отщепенства было куда уходить, например – в башню из слоновой кости, в Башню Славы. От политики, положения-вне-закона оставалось только одно: бегство через весь земной шар. Такой позор казался бесчестьем всякому, кто намеревался жить в мире с политическими и общественными ценностями эпохи. А ведь в этом искусстве Стефан Цвейг, несомненно, и упражнялся всю жизнь – в искусстве согласия с миром, в искусстве благородного воздержания от всякой борьбы и от всякой политики. В глазах существующего мира, с которым Цвейг некогда заключил свой союз, быть евреем было и остается бесчестьем, – бесчестьем, за которое современное общество, пусть даже не убивая нас напрямую, карает нас позором и поношением, – и индивидуальный выход в международную славу сегодня уже невозможен, выход только один – в политический образ мыслей, в борьбу за честь всего народа.

<sup>[1]</sup> Рахель Фарнхаген, урожд. Левин (1771–1833) – немецкая писательница еврейского происхождения, хозяйка литературного салона. Ее жизни посвящена первая книга Ханны Арентд, долгое время пролежавшая в столе. Вслед за английским изданием: Hannah Arendt: Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess. London 1958 – последовало немецкое: Hannah Arendt: Rahel Varnhagen: Lebensgeschichte einer deutschen Ju.din aus der Romantik. Mu.nchen, 1959. – Здесь и далее примеч. перев.

<sup>[2]</sup> Пер. А. Прокопьева. Цитата из стихотворного предисловия Гуго фон Гофманстала к одноактной пьесе Артура Шницлера «Анатоль» (опубл. в 1983 году).

<sup>[3]</sup> Чернь, толпа (лат.).

<sup>[4]</sup> Человеческий документ (фр.).

<sup>[5]</sup> Подразумевается Женевский протокол о мирном урегулировании международных споров, подписанный в 1924 году, в самый разгар так называемой «эры пацифизма».

<sup>[6]</sup> Генрих фон Трейчке (1834–1896) – крупный немецкий историк, публицист и политик, много писавший о еврейском вопросе и выступавший за полную ассимиляцию немецких евреев.

<sup>[7]</sup> Карл Люгер (1844–1910) – австрийский политический деятель, с 1897 года – обер-бургомистр Вены. Георг фон Шённерер (1842–1921) – политический деятель, сторонник пангерманизма. Идеи обоих политиков оказали влияние на Гитлера.

<sup>[8]</sup> Теодор Герцль (1860–1904) – австрийский писатель еврейского происхождения, журналист, основоположник идеологии сионизма.

<sup>[9]</sup> Стефан Цвейг. Вчерашний мир. Воспоминания европейца / Пер. Г. Кагана // М.: Вагриус, 2004. С. 26–27.

<sup>[10]</sup> Ф. Шиллер. Валленштейн / Пер. Н.А. Славятинского // М.: Наука, 1981. С. 8.

<sup>[11]</sup> Тонкий вкус (англ.).

<sup>[12]</sup> Стефан Цвейг. Там же. С. 27.

<sup>[13]</sup> Карл Хаусхофер (1869–1946) – немецкий военный и геополитик.

<sup>[14]</sup> Предыдущие цитаты из воспоминаний Цвейга (примеч. 9/12) Ханна Арендт приводит по английскому изданию. Здесь и далее она неточно цитирует Цвейга по-немецки, помещая закавыченный текст внутрь собственной фразы. При этом «ширазская роза» Цвейга превращается у Арендт в «ширахскую розу». Шираз – персидский город, знаменитый своими розами. Бальдур фон Ширах – немецкий партийный деятель, руководитель объединения «Гитлерюгенд».

<sup>[15]</sup> Великое молчание (англ.).

## УЛОВКА 282

### *Αἰθεὶς Ἐεὶ*

Недавно на парламентских слушаниях в Госдуме представители Генпрокуратуры и МВД объявили: одних только убийств за первые шесть месяцев 2008 года было 19, а всего «актов экстремизма» – 250. В ответ думцы намерены дать судам право закрывать доступ к вредным сайтам в Интернете и ужесточить наказание, в том числе и для СМИ, а также усилить контроль за деятельностью религиозных организаций. Между тем закон «О борьбе с экстремизмом» и статья 282 Уголовного кодекса, карающая за разжигание всяких розней, сами по себе стали фактором напряженности в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Не замечать этого – недальновидно и опасно. Сторонники запрета книг, журналов, фильмов, сайтов, в числе которых такие уважаемые люди, как адвокат Генри Резник и президент фонда «Холокост» Алла Гербер, почему-то уверены, что именно они будут составлять «черные списки». Откуда у них такая уверенность – не знаю. На самом деле этим могут заняться совсем другие люди. И если маховик уголовного преследования в этой области раскручивать и дальше, очень скоро мало никому не покажется. Евреям в том числе.



Самый яркий пример – история издания трактата «Кицур Шульхан арух». Пару лет назад под следствием оказался раввин Зиновий Коган. Русские националисты усмотрели в этом трактате антихристианские выпады и обратились в прокуратуру. Теперь раввин Коган сомневается в необходимости существования 282-й статьи УК: «В религиозных спорах должны разбираться богословы, а не следователи. Ну что будет, если

дискуссию между физиками станет рассматривать суд?» А между прочим, такой период в жизни нашей страны не так уж давно был. Правда, речь шла не о физике, а о генетике. Научные разногласия завершались именно приговорами. «Пока 282-я статья есть, всегда может возникнуть соблазн расправиться с оппонентом руками суда», – считает раввин Коган.

Мусульмане добиваются привлечения к уголовной ответственности православного священника Даниила Сысоева. Он, мол, оскорбляет чувства мусульман, проповедуя среди них христианство. Цитировать отца Даниила не стану – с органами шутки плохи. Но суть претензий в том, что миссионер пытается опровергнуть основы ислама. Если дело возбудят, православная общественность встанет горой на его защиту. Если откажут – мусульмане получат повод обвинить государство в дискриминации. При этом Совет муфтиев России возмущается судебными запретами книг ряда исламских богословов. А сейчас в прокуратуре возбуждено новое дело. Следователи изучают книгу «Личность мусульманина» с предисловием члена Общественной палаты, председателя Совета муфтиев России Рафиля Гайнутдина.

За последние несколько лет с проблемой «282» так или иначе сталкивались представители как традиционных конфессий, так и язычники. Судили и славянских волхвов, и даже марийского жреца. «Под раздачу» попадают и люди вполне светские, чьи картины, выставки, публикации не нравятся священнослужителям.

Поскольку на абсолютную истину претендует любая религия, то ни одна из них не может уложиться в рамки политической корректности. Меня не удивляют запреты трудов отдельных богословов. Странно, что никто еще не попытался найти «экстремизм» в самой Библии. А ведь труда не составит.

– Библия – действительно книга не политкорректная в современном понимании, – соглашается пресс-секретарь Московской Патриархии священник Владимир Вигилянский, – она осуждает гомосексуализм.

Но не только. Возьмем уничтожение язычников. Поголовное, между прочим. Включая женщин и детей. Правда, раввин Коган объясняет, что те язычники занимались человеческими жертвоприношениями... Может, и так. Он человек ученый, ему виднее. Но что это меняет с точки зрения Уголовного кодекса? Ничего. И кстати, я такой детализации в Торе не обнаружил. Впрочем, может, перевод неточный? Именно на плохие переводы сетует руководитель аппарата духовного управления мусульман Нижегородской области Дамир-хазрат Мухетдинов. Он уверяет, что в арабском тексте Корана нет призывов к насилию, а лишь указание на самооборону. И вообще, воинственные вещи в священной книге, по мнению Мухетдинова, надо понимать аллегорически. Раввин Коган вообще считает, что Писание читать без комментариев нельзя. Но и с комментариями тоже все не просто.

Большинство из них дошло до нас из времен Средневековья. И представления о нормах дискуссий были совсем иные. Я спросил профессора Московской духовной академии Алексея Осипова:

– Верно ли, что древние православные авторы использовали по отношению к иным конфессиям слово «блядство»?

– Таким оно стало в результате трансформаций переводов. Было «блядево», что означало «буесловие», то есть буйные слова, полоумность. Использовалось много разных

гневно-хулящих слов и по отношению к иным конфессиям, и к еретикам, и даже друг к другу. Такова была культура того времени. Сейчас они безусловно оскорбительны.

– И что теперь делать с трудами Иоанна Златоуста, оскорбительными для иных конфессий?

– Это древний памятник. Издавать.

– Издавать с комментариями, – добавляет раввин Коган, – мы допустили ошибку, не сделав этого в отношении «Кицур Шульхан арух».

– Древние памятники вообще нечего обсуждать, – заявляет либеральный правозащитник Евгений Ихлов.

А Дамир-хазрат Мухетдинов против: «Я не сторонник издания средневековой литературы. Она устарела. А люди прошлого могли ошибаться и ошибались. Мы стараемся издавать современников».

Тем не менее и православные, и мусульмане, и иудеи издают. Потом цитируют. А там и начинаются скандалы, обращения в прокуратуру. Возбуждаются дела. Обвиняемые твердят, что это лишь история. Оппоненты парируют: «Нет, издано на современном русском языке, распространяется среди учащихся. Стало быть, на этом воспитывают, а значит, разжигают рознь». Дальше – больше. «Экстремисты» объясняют: мы повторяли слова религиозных мыслителей, святых, мудрецов, учителей и т. д. И вообще, так они исповедуют веру.

Один из обвиняемых по 282-й статье – главный редактор антисемитской газеты «Русь православная» Константин Душенов говорит:

– Государство теряет свой светский статус, если суд решает, правильно ли я верю в Бога. Да и как он может это решать? В делах по 282-й статье приговоры выносят на основании субъективного мнения эксперта. И это ведь не дактилоскопическая экспертиза, не трассологическая, которые подтверждаются объективными научными данными.

Лично мне деятельность Душенова отвратительна. Но я против привлечения его к уголовной ответственности. И не из-за каких-то идеальных представлений о свободе слова. Дело в элементарном здравом смысле. Я просто не хочу тоже оказаться на скамье подсудимых. А сегодня любой журналист может превратиться в прокурорскую мишень именно за свою профессиональную деятельность. В октябре 16 мусульманских организаций России обратились в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности журнал «Русский ньюсуик». Статья о конфликтах вокруг мусульманских общин в Европе была проиллюстрирована небольшой картинкой – карикатурой на пророка Мухаммеда. Понятно, что никакого желания оскорбить чьи-то чувства не было. Но ведь обиженным может почувствовать себя любой. И этой обиды достаточно для обвинения.



Но главное – бессмысленно бороться с мыслью при помощи тюрьмы. Это бесполезно. Особенно в нашей стране. Когда я задавал экспертам вопрос, нужна ли 282-я статья, то слышал в ответ: «Неужели вы хотите вала антисемитской и прочей антилитературы и публицистики?» Да нет, конечно не хочу. Как не хочет невеста прыщей на свадьбу. И я, разумеется, знаю, что во многих странах мира есть нормы, аналогичные 282-й. Но, возможно, в Германии такая судимость становится позорным клеймом. Возможно, в том обществе иное отношение к юстиции. Но мы в России. Судья и поэт Сергей Пашин в одном из своих стихотворений точно отметил: у нас «не презирают заключенных и ненавидят их судей». У России другой опыт. Нас, публицистов, отправляли на каторгу и при царях, и при советской власти. Итог известен. Такие «уголовники» лишь становились героями. И побеждали.

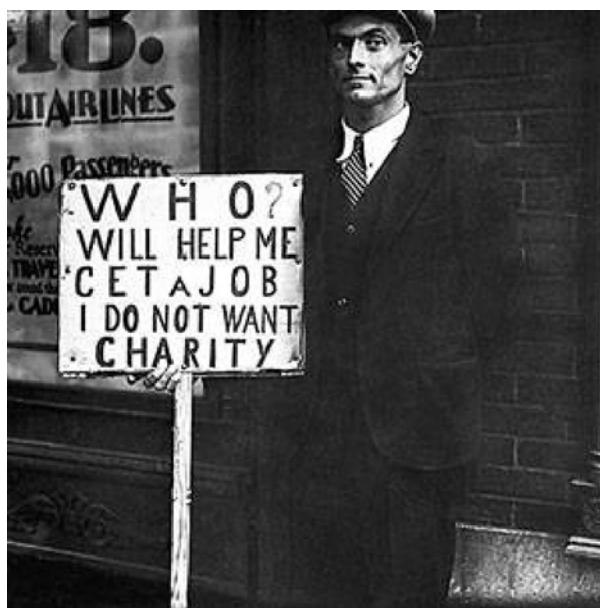
Никто серьезно не анализировал эффективности применения 282-й статьи. Долгое время она была «мертвой», не работала. Но вот уже несколько лет ее используют активно, обвиняемых приговаривают к реальным срокам лишения свободы. А результаты? Число убийств растет. Не знаю, есть ли тут зависимость. Нужно исследовать. Но в ходе парламентских слушаний бросилась в глаза вопиющая некомпетентность. В дискуссии участвовали парламентарии, общественные деятели, прокуроры и милиционеры. Но не ученые. Депутат Госдумы Алексей Розуван («Единая Россия») представил законопроект, позволяющий судам признавать материалы, размещенные в Интернете, экстремистскими по месту их обнаружения. То есть в любом городе, где страница отобразилась на экране. После этого суд запретит доступ на территорию России, а оператор связи в течение месяца обязан будет выполнить решение. Однако специалисты утверждают: нет технической возможности прекратить доступ к сайтам, расположенным за границей: «Для опытного пользователя нетрудно зайти на такие сайты через иностранные прокси-серверы, не имеющие никакого отношения к запрещенным». Кстати, коллега, находившийся в Тбилиси во время «пятидневной войны», именно так заходил на запрещенные Грузией российские сайты. Единственный способ действительно прекратить доступ к иностранным сайтам – это вовсе закрыть пользователям возможность выхода за национальную зону. Но тогда Интернет перестанет быть самим собой – ИНТЕРнетом. Мы этого хотим?

## ГОД «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»?

*Ėāī ēā Dāāçēōīāēēē*

Как известно, большевики так назвали 1929 год.

Они имели в виду начало коллективизации в СССР. Но на самом деле в 1929-м начался кризис, Великая депрессия. Кризис вспыхнул в США, на фондовой бирже, эпидемия охватила реальный сектор американской экономики, а затем и весь мир.



Кризис – вещь неизбежная в экономике. Экономика никогда не растет равномерно-прямолинейно, а всегда только зигзагами – отступить, чтобы рвануть вперед. Спускается «дурная кровь», лопаются очередной пузырь – и экономика рвет вперед «с этого места», но по прежним законам. Пьеса та же, правила игры в экономике не меняются – просто уходят одни игроки (ведущие компании), приходят другие.

Так было всегда – но не в 1929-м. Тот кризис был ужасен. Он был настолько разрушителен, что, как говорится, «количество перешло в качество» – произошли структурные изменения. Ни одна страна не вышла из кризиса такой же, как вошла в него. Сменились не только (и не столько) ведущие игроки, сколько правила игры.

Во всех западных странах резко увеличилась роль государства в экономике. В США это называлось «новым курсом» Рузвельта (президент в 1932–1945 годах). В Германии на волне отчаяния, перемешанного с имперски-патриотическим психозом, канцлером в январе 1933 года стал Гитлер – и ввел государственное планирование экономики. Так что вторая мировая война – это тоже результат Великой депрессии.

Наступает ли на нас сейчас новый Великий кризис или все ограничится финансовыми потрясениями?

Это самый важный вопрос, который все задают себе в канун 2009-го. И никто не знает ответа. Между тем речь-то идет не о досужих интеллигентских размышлениях «о

судьбах России», а о руководстве к действию. Например: прятать ли деньги и голову в норку или, наоборот, пока все так дешево, спешить разворачивать бизнес (если, конечно, деньги есть)? Да, жизнь человека, его будущее зависит не только и не столько от его личных усилий, сколько от бизнес-климата в мире – не меньше, чем жизнь всего живого на Земле зависит от климата.

Надломился ли мотор мировой экономики – капитализм США?

И если надломился – какой новый мотор придет ему на смену?

Если неладно что-то в Датском королевстве – то что именно?

Если суждено мировой экономике не просто передохнуть и двинуть дальше по той же дороге, если суждены нам принципиальные, структурные перемены, то какие? Какая новая идея, какая новая мелодия родится из этого хаоса?

Никто не знает. Мировая экономическая наука суть гадание на кофейной гуще, когда речь идет о конкретных и важных темах.

Новый мир...

Ну а «как это будет для евреев»?

Таки плохо.

Евреи всегда забегают вперед. Не зря Бабель написал Полтора жида – с евреями происходит то же, что со всеми... но увеличенное в полтора раза.

Евреи в течение всего XX века собирались вокруг США.

Речь не только о собственно евреях – гражданах США (свыше 6 млн). Речь о том, что евреи всего мира с привычной надеждой смотрели (и смотрят) на статую Свободы – хотя, к слову сказать, отношения евреев с США далеки от идеальных (был и тут антисемитизм, и очень серьезный).

И все-таки при всех сложностях и противоречиях народ Книги нашел себя в стране хай-тека и финансовой игры. И не только по расчету, но и по чувству Израиль неразрывно связал свою судьбу с Новым Светом, с пуританами, чтящими Ветхий Завет.

Конечно, это не какой-то дедуктивный закон – среди евреев масса активных противников США (например, многие леваки и идеологи антиглобализма). В России среди евреев – самые ярые пропагандисты антиамериканизма (Леонтьев, Хазин, Юрьев и другие «неокконы наоборот»). Но это скорее исключение, чем правило (как среди европейцев и русских симпатия к США скорее исключение, чем правило).

Да, подрыв США экономически бьет по всем – и по Китаю, и по Европе, и по Латинской Америке и по России.

Падение – или хотя бы резкое ослабление – этого нового Рима политически опасно для всего мира, худо ли, хорошо ли, но привыкшего к «американскому городскому», который хотя бы символически наводил порядок в подлунном мире.

Но более всего это ударит вне США по Израилю. Да и внутри США евреи оказываются «группой риска» – христиане, возглавляющие банки и хедж-фонды, не окажутся в таком фокусе общественной ненависти, как их коллеги евреи.

А уж о последствиях в России и вовсе думать не хочется – слишком сильны профашистские настроения в обществе.

И все же уныние великий грех.

Наш народ пережил слишком многое, чтобы теряться перед лицом новых испытаний.

## DO YOU TRUST IN G-D REALLY?

*Михаил Горелик*

**Продолжение диалога, начатого в книге «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем».**

– Мне хотелось бы обсудить с вами инцидент в кнессете, когда один арабский депутат отказался петь «Аतिकву». Он, если помните, сказал: достаточно того, что я встаю, – тем самым я демонстрирую уважение к гимну, – но я не могу это петь. Его позиция вызвала возмущение многих: его «не могу» было понято как «не хочу», как вызов.

– Всем понятно, что «Атиква» писалась не для арабов. Израиль – еврейское государство: соответственно, его граждане, относящиеся к национальным меньшинствам, могут испытывать некоторые неудобства. Что делать: неудобства не столь уж и велики, и если неевреи хотят жить в еврейском государстве, они должны с этим как-то мириться. С другой стороны, есть и кой-какие плюсы: арабы не обязаны служить в армии.

Если бы арабский депутат произнес слова «Аतिकвы», никому бы и в голову не пришло, что он с ними солидарен, что он теряет свое арабское лицо – это было бы всего лишь необременительным выражением лояльности. Это не тот вопрос, ради которого стоит идти на конфликт. Но он хотел конфликта и использовал «Аतिकву» как повод.

– Не могу судить о мотивах: вы знаете контекст, я не знаю – но если бы я был арабом, я бы определенно испытывал дискомфорт при необходимости петь от первого лица про «еврейскую душу» и «нашу надежду». Разве что для стеба. Возникает ситуация духовного насилия и ответного лицемерия. Кому это надо? Разве государство в этом заинтересовано?

– Вам советский гимн нравился?

– Нет.

– А новый – российский?

– Еще меньше.

– Но когда требуется, вы встаете и поете?

– Видите ли, моя жизнь устроена таким образом, что это никогда не требуется. Я слышу российский гимн, разве что когда его играет чей-то мобильник. Встать и запеть его в этом случае мог бы только большой затейник.

– Вы испытываете большой дискомфорт от того, что гимн вашего государства вам не нравится?

– Ни малейшего: меня это нисколько не занимает.

– В сущности, вы сами себе ответили. Подавляющее большинство людей так живет. Среднему израильскому арабу вовсе не надо решать проблему, петь или не петь израильский гимн. Они, как и вы, просто никогда не попадут в ситуацию, когда эта проблема может возникнуть. Иное дело парламентарий или министр: выбирая политическую карьеру, человек прекрасно понимает, что существуют профессиональные требования, с которыми он обязан считаться. Если принципы не позволяют ему с ними считаться, имеет смысл сменить профессию.

Кстати, евреи – религиозные антисиионисты – в тех редких случаях, когда они попадают в соответствующую ситуацию, не только не поют гимн, но и не встают при его исполнении. Они делают это публично и демонстративно. Ну так они не то что в депутаты не рвутся – они и в выборах не участвуют. Их позиция может нравиться, может не нравиться – во всяком случае, она честна и последовательна.

С другой стороны, порой и обыватели сталкиваются с такого рода проблемами. Вот, например, бьющая в глаза – самый популярный лозунг на свете, популярнее не бывает, объединяет решительно всех: «In G-d we trust». Принципиальный атеист, атеист с железными принципами, должен был бы немедленно рвать доллары, как только они попадают ему в руки: ведь in G-d он вовсе не trusts, «we» должен рассматривать как клеветническое измышление, а использование банкнот с подобной декларацией – как отвратительное лицемерие. Однако до сих пор мне такие атеисты что-то не попадались. Есть случаи, когда даже самые негибкие из них считают за благо поступиться принципами.

Вот еще пара историй на ту же тему. Однажды некий мусульманский путешественник оказался где-то на краю света, и вот он слышит призыв муэдзина к молитве. Он слушает и удивляется: вроде все как обычно, но призыву предшествует удивительная преамбула: «Они говорят». «Они!» Кто это «они»?!

Местный правитель все объяснил. В этом городе никак не могли найти человека, который мог бы выполнять обязанности муэдзина. Наконец нашли, но он оказался евреем. Он сказал: «Пожалуйста, я готов, но не могу же я восклицать все это от первого лица: я же еврей! Вот если хотите, то с преамбулой: “Они говорят”». И ему сказали: «Ладно, уж лучше так, чем никак».

– Возможно, такой вариант устроил бы и арабского депутата.

– Не устроил бы. Я же говорю: ему был нужен скандал. А вот еще одна история, вполне правдивая история – мне рассказал ее наш посол из какой-то африканской страны, кажется из Ганы, хотя я и не уверен. Однажды к нему пришел мулла. Он сказал: вообще-то я еврей и хочу репатриироваться в Израиль.

– И что, ему предоставили такую возможность?

– Да. Потом он жил в Хайфе с двумя женами.

– А как же поправка к Закону о возвращении, согласно которой человек, исповедующий иную религию, не подпадает под действие закона?

– Он смог убедить посла, что его профессиональная деятельность никак не затрагивала его еврейство, так что на это, равно как и на его многоженство, посмотрели сквозь пальцы.

Атиква («Надежда»)

*Í î èà àí óò ðè ïáðäöà àñá àùá*

*Áüòñÿ àáðáéñèäÿ äóóà*

*È á èðäÿ Áîòîéà, àí áðáá,*

*Í à Ñèíí óñòðáí èáí áçæÿä, -*

*Áùá í á í î ð á é à í à ó à í à ä ä æ ä ä,*

*Í à ä ä æ ä ä, è î ò î ð é ä ä ò ù ñ ÿ : è è à ò :*

*Áù ò ù ñ á í á í ù ì í à ð í á ì í à ñ á í é ç à ì è ä,*

*á Ñòðáí á Ñèíí á è È á ð á ñ è è ì á*

## ИЛЬЯ КАБАКОВ: КАК АЛЬТЕРНАТИВА АКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

«Альтернативная история искусств» в галерее «Гараж»

*Ėâĭ ėâ Ėâöĕĭ*

В дни, когда в бывшем автопарке – Бахметьевском гараже Константина Мельникова, которому предстоит стать Московским еврейским музеем, а к тому же еще и Музеем толерантности, проходила выставка Ильи Кабакова, московские арт-критики и арт-дилеры предавались на канале «Культура» размышлениям о том, является ли Кабаков художником актуальным или «только» современным. Последнее ведет уже напрямую к музефикации художника, если не к званию академика.



Члены группы УНОВИС во время отъезда в Москву на вокзале в Витебске. В центре К. Малевич.

1920 год.

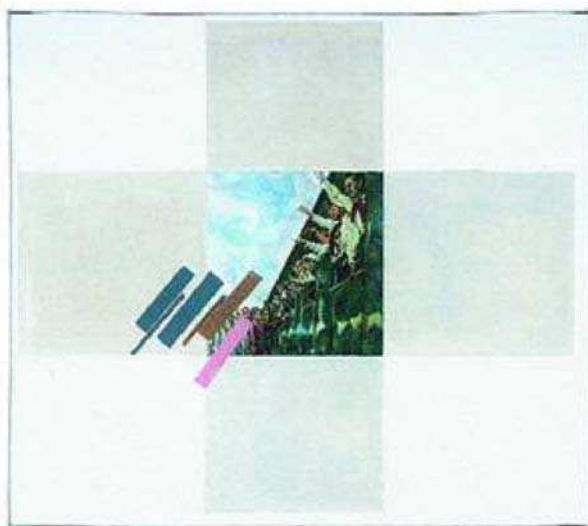
Однако предусмотрительный Кабаков, в послужном списке которого есть вещи с названием «Толерантность» (их-то в «Гараже» как раз и не было), решил сам стать и арт-дилером, и куратором, и даже – что для авангарда и вовсе неприемлемо – автором музейной экспозиции, да еще использующей такие вот слова: «Альтернативная история искусств».

А в ней за всю историю «отвечают» три художника с поразительно подходящими для будущего, пока существующего лишь виртуально, еврейского музея фамилиями: Розенталь, Спивак и сам Кабаков.

И здесь вспоминается, как еще в 1990-х был подготовлен спецномер журнала «Искусство», посвященный еврейской теме в искусстве и художникам-евреям, где было и интервью Кабакова, не попавшее, насколько можно судить, в его многочисленные каталоги. Впрочем, чего-то фундаментального, кроме общебиографических рассуждений, этот текст не содержал, в отличие от выставки, которую могли увидеть в отреставрированном мельниковском «Гараже» уже не шоферы и слесаря с инженерами-транспортниками, а зрители. В известном смысле выставка в будущем и даже футуристическом еврейском музее может быть комментарием к тому давнему интервью.

Увидели новые посетители «Гаража» экспозицию трех художников-евреев, ни один из которых даже в первом приближении, как Кабаков и его соратники-евреи по московскому концептуализму, не был еврейским художником.

Хотя однажды слово «еврей» все же промелькнуло в биографии старшего из троих представленных – Шарля (Шолома) Розенталя.



**Шарль Розенталь. 12 комментариев к супрематизму. 1926 год.**

Новое имя художника, «прошедшего» витебскую школу еврейского все же художника Марка Шагала и его противника и «победителя в битве при Витебске» Казимира Малевича, оказалось более созвучно Парижу, который он, естественно, как и масса его современников-соплеменников, бросился покорять. Впрочем, и Шагал был, как известно, далеко не Марк, но художественный бренд «европейского художника белорусского происхождения» требует жертв. Последователь Малевича, Розенталь не «дожил» до шагаловских 97 лет – он «случайно» погиб в 1933 году в Париже. В год не только рождения своего автора Ильи Кабакова, но и год, когда в Германии произошли события, приведшие к Катастрофе европейского еврейства и к концу Эколь де Пари – многонационального художественного «Улья», в котором еврейские эмигранты со всей Восточной Европы играли свою едва ли не определяющую роль. И здесь стоит помнить, что если реальному Шагалу удалось бежать в Америку и вернуться в послевоенный Париж, то десяткам его современников, чьи картины находятся теперь в музеях Варшавы, Кракова, Львова, Праги и т. д. либо сгорели в огне мировой войны, была уготована трагическая судьба. Их памяти Шагал посвятил поэтический реквием. А замечательно

точный выбор дат жизни выдуманных Ильей Кабаковым художников позволил ему избежать в своей истории проблемы Холокоста.

Что же касается советских авангардистов 1960–1980-х годов, то непропорционально большое количество евреев в этом гнобимом государством художественном кругу недаром заслужило название «абрамгардизма».

Впрочем, трагичной была судьба и многих русских и советских авангардистов, евреев и не евреев, оставшихся в СССР. Хотя некоторые из них успешно перешли от авангарда к соцреализму.

Биография Розенталя, по-музейному представленная на стенах «Гаража», позволяет увидеть в себе отголоски реальных судеб Марка Шагала, и Хаима Сутина, и Иссахара-Бер Рыбака, и даже художника Евгения Кибрика, ставшего советским классиком, вспомнить о творчестве борцов с авангардом типа Е. Кацмана и т. д. и т. п. Дело здесь не в мелких совпадениях – примеров столько, что за всеми не уследишь. Похоже, впервые Кабаков задумался в своем проекте о судьбе художника-еврея в XX веке вообще. Как задумался о такой единой судьбе поэта-еврея Пауль Целан, хотя и не он один. Кабаков же, родившийся в СССР, сделал это на фоне не только упомянутых им в качестве «предшественников» Розенталя мировых классиков О. Редона и А. Шенберга, но и советских художников А. Пластова, Исаака Бродского и массы безымянных участников «бригадных подрядов» иогансонов, налбандянов, серовых и тому подобных людей без имен и происхождения, рисовавших по клеточкам партийные съезды, «первые борозды», «мичуринские сады», «Ворошилова и Сталина в Кремле» или разного рода розово-голубые «Утра родины», отразившиеся в «творчестве» Розенталя.

И здесь особое место занимает та часть «творчества» Розенталя, которая является своего рода «подведением итогов» взаимоотношений уже реального Ильи Кабакова, представителя так называемого второго авангарда, авангарда постсталинского и далеко не просоветского, с авангардом классическим. В серии «12 комментариев к супрематизму», датированной и осмысленной в прямом историческом смысле, но в шутовской, применительно к содержанию картин, манере 1926 годом. Смысл в том, что к этому времени Малевич уже перешел к вполне фигуративному творчеству. Хотя на выставке в Русском музее 1929 года он повесил на плоской стене целых два черных квадрата, а на картинах о Красной гвардии рисовал маленький черный квадратик.



**Шарль Розенталь. Аукцион.**

**1927–1928 годы.**

Розенталь, который объединяет в себе и «сознание» художника 1910–1930-х годов, и подсознание Кабакова, проделывает с супрематизмом операцию анализа не столько его живописного, сколько идейного содержания, которая вводит неискушенного зрителя в соблазн прямых сопоставлений супрематизма и советского фигуративного искусства. Впрочем, хитрый Илья Кабаков предусмотрел, похоже, нечто иное.

Действительно, видя поезд с пионерами, который провожают восторженные провожатые, помеченный при этом невозможными для супрематизма серым, бежевым и даже розовым прямоугольниками, хочется сказать, что перед нами нечто вроде того, что супрематизм сегодня «покрыл» собою все бывшее советское искусство. Тем более что все это изображено «Розенталем» на малевическом «Белом кресте».

Однако те, кто помнит фотографии отъезда Малевича с учениками на Всероссийскую выставку, где обитатели забитого людьми вагона во главе с Малевичем гордо держат знаки своего супрематического достоинства, воспримут эту картину иначе – как воспоминание о той поездке, развернутое в 1926 год, если, конечно, считать, что Розенталь – один из толпы безымянных учеников Малевича, изображенных на фотографии, где идентифицированы далеко не все персонажи.

Казалось бы, сам разговор о фотографическом подтексте авангардного творчества явно нерелевантен. Однако замечательное изображение 1930 года «Ткачихи», где легко опознаются знаменитые прототипы – героини сталинских пятилеток Дуся и Маруся Виноградовы, срисованные с советской газеты, позволяет увидеть как раз перерисовку фотографий – единственный способ, позволяющий художнику-эмигранту участвовать в актуальной жизни Страны Советов.



**Давид Штеренберг. Селедки.**

**1917–1918 годы.**

Тот факт, что все это напоминает шизофренически разорванное сознание Розенталя, ясен, естественно, и Илье Кабакову. Очень далеки от благостных тона его работ о советских детях, принимающих «терапевтический» сон в детском санатории. Поэтому в графических снах его героя мы видим летающих слонов, а неизбежно мотивированное слонами путешествие Розенталя в Индию, если не «Индию Духа», напоминает пребывание в реальном сумасшедшем доме. Недаром животные, на которых ездят облаченные в белые халаты «индусы», стоят на странных мушиных ножках, как лошади или носороги у сюрреалиста Сальвадора Дали. Здесь можно было бы перейти к анализу соотношения «Альтернативной истории искусств» с циклом Ильи Кабакова «Мухи», но они были выставлены не в «Гараже». Поэтому, оставаясь в означенном пространстве, обратимся к огромному полотну, висящему напротив путешествия в Индию, – «Аукцион» 1927–1928 годов. Здесь, как и на путешествии в Индию, все персонажи подсвечены лампочками, которые зажигаются при нажатии кнопки у соответствующей надписи, «выдающей» реальное мнение покупателей о картине, а иногда даже их потаенные мысли. Напоминая о знаменитом аукционе «Сотбис» в Москве в 1990 году, когда в одночасье советские концептуалисты, презираемые официальным искусством, стали частью мирового художественного процесса и/или рынка, эта картина напоминает также о том, что на том самом аукционе за непредставимые деньги был продан, например, Александр Родченко – художник из поколения «учителей» Розенталя.



**Шарль Розенталь. Крылья. 1919 год.**

Однако проект «Альтернативной истории искусств» не имел бы того значения и глубины, какой он обладает, если бы не глубочайшее осмысление Ильей Кабаковым самой природы живописи и влияния на нее тех политических процессов, из-за которых Розенталь должен был эмигрировать, «Кабаков» – искать себя в преодолении и

обыгрывании соцреализма, а Спивак, будучи никому не известным и фактически нереализованным «украинским» художником, не смог найти себя и после того, как эпоха осмеяния и осмысления соцреализма стала неактуальной. Понятно, что при всей ностальгии тех, кто противостоял советской власти в искусстве, она была необходимым фундаментом их жизни. Или, вспоминая Максимилиана Волошина: «Где у самодержавия – кулак – там у интеллигента вмятина, где штык – дыра, на месте утверждения – отрицанье...»

Эту задачу поколение Ильи Кабакова выполнило полностью. Следующему поколению здесь делать нечего. Не говоря уже о том, что уроженцам Украины «Спиваку» и Илье Кабакову в новой украинской ситуации себя не найти.

Мы не будем специально разбирать здесь трагедию жизни Спивака, сочиненную Ильей Кабаковым, а вновь вернемся к живописи.

На большой картине, изображающей идущих «По краю» (1918) людей, вновь похожих на мух, лишь их контуры заполняют самую малую часть живописного пространства. Очевидным образом хочется перевести слово «край», применительно к картине, в слово «маргинальный» по отношению к героям «Альтернативной истории искусств», чем они, собственно, и были для официальной истории советского периода. А замечательную картину «Вечерние встречи» (1930) стоит осмыслить на фоне крестьянских портретов Малевича примерно того же времени, где люди не имеют лиц, а лишь обрамляющие их расплывающиеся полуэллипсоидные бороды. Подобная белая полуэллипсоидная фигура занимает все пространство картины, а записана красками лишь как часть, что обрамляет этот полуэллипс.



**Шарль Розенталь. В углу (фрагмент). 1919 год.**

Казалось бы, перед нами очередная вариация «По краю». Но это не так. Ведь время другое. И время полностью белых холстов Розенталя или белых крестов и квадратов на белом фоне Малевича уже прошло. И если приблизиться к картине на небольшое расстояние, мы увидим на холсте не графическую разметку будущего полотна и не подмалевок или что-то подобное, а размеченное по клеточкам пространство, которое уже не требует никакого живописного мастерства, как и «бригадное» творчество советской эпохи.

Это действительно смерть картины, о которой мечтал когда-то основатель супрематизма Малевич. Тот самый Малевич, который своим «Черным квадратом» хотел картину, как таковую, уничтожить. Однако Розенталь ему это «не позволил». Замечательный цикл супрематических углов, не созданный Малевичем (что специально и отмечается на этикетках), создан Розенталем. Ведь сколько не замазывай картину черным

– граница, рама или угол останутся. Это-то и показывает Илья Кабаков – кистью Розенталя.

Разного рода попытки преодолеть собственно живописную природу живописи постоянно осмысляются Розенталем по ходу его творческого «развития». Так, замечательные, почти вещные натюрморты Давида Штеренберга с вилками, селедками (кстати, характерные и для Хаима Сутина), призванные продемонстрировать бедность и нищету, превращаются во вполне реальный угол картины «В углу» с ресторанными вилочками и фарфоровыми тарелочками, наклеенными на белый холст. И лишь буханка хлеба с отрезанным ломтем напоминает нам знаменитую «Аниську» с деревянным столом и грубым ломтем на нем.



**Летательный аппарат В. Татлина «Летатлин». Конец 1920-х годов.**

Другой пример осмысления и переосмысления классики русского авангарда являются собой ангельские крылья, висящие на стене. На одной из картин мы видим их нарисованными на вертикальной прямой, устремленной в небеса. А горизонтальные прямые лишены этих крыльев. По горизонтали – не летают.

Это и случилось в реальности со знаменитым «Летатлиным» русского авангардиста Татлина, чей летательный аппарат с машущими крыльями висит горизонтально, пусть и под потолком музея. Лететь ему некуда. Поэтому неожиданное значение обретает и рисунок Розенталя, на котором на велосипеде едет безголовый монах. Заметим, на эскизе к картине этот персонаж едет с головой, символизируя дихотомию духовного и бездуховного искусства, – что отсылает уже к трактату абстракциониста Василия Кандинского «О духовном в искусстве» или к тексту Малевича «Б-г не скинут».

Можно было бы долго продолжать подобные сопоставления, однако ясно: перед нами действительно альтернативная история искусства XX века, в которой не кураторы и продюсеры, аукционисты и ангажированные критики, а сами художники определяют, кто есть кто. Только язык художников не постмодернистский и не аналитически философский. Их язык, как это ни странно сегодня, – язык формы, цвета, света, выставочного пространства и т. д. И даже спина озадаченного зрителя, смотрящего на картины Розенталя, вкупе с критиком, который будет заполнять страницы каталога «Альтернативной истории искусств», думая, что он поучает художника, уже предусмотрены Ильей Кабаковым. Ибо главное удовольствие художника XXI века – вырваться из-под власти тех, кто, не по праву заместив художника, верит в «смерть автора» что книги, что картины, – и показать, что только художник остается и автором своей судьбы, и автором своих полотен, и автором несуществующих биографий, и автором-героем любой истории искусств, будь то альтернативная или нет. Ведь альтернативная история искусств века XX открыла для нас историю искусства века XXI.



**Давид Штеренберг. Стол.**

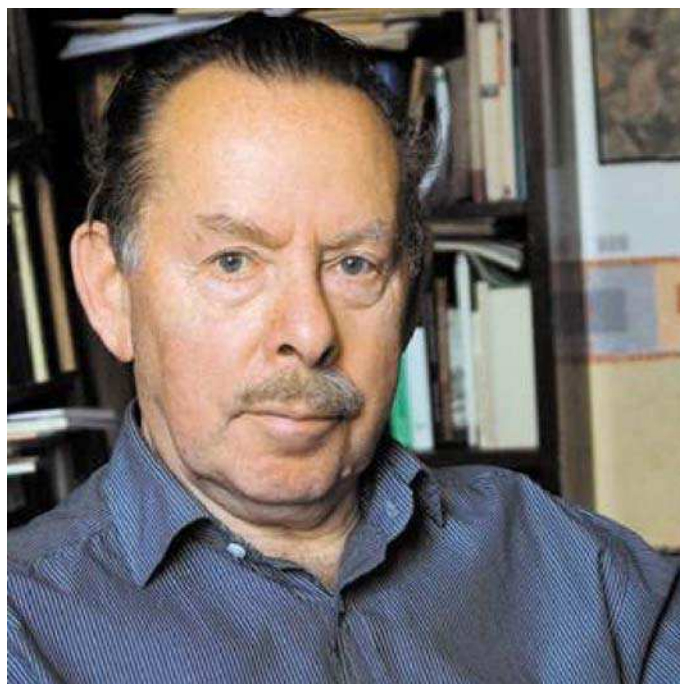
**Подковка (фрагмент). 1914 год.**

И в этом неожиданная актуальность современного художника Ильи Кабакова, упрятавшего свою создаваемую альтернативную историю искусств в мельниковский «Гараж», который, наконец, сам становится современным памятником альтернативной истории искусств XX века, переставая быть актуальным и разрушающимся «Бахметьевским гаражом» для советского автобусного парка.

## «ЯКОВ ГОРДИН: РУССКОЕ ЕВРЕЙСТВО И РУССКАЯ КУЛЬТУРА НЕРАСТОРЖИМЫ...»

*Αἰῶνά ἀἰῶνά Ναὶὸ εἰὶ ἃ Αἰὶ εἰ ἃ*

«День этот нами изберется / днем Добродушья, Благородства – / Днем Качеств Гордина – Ура!» – эти восторженные слова молодого Бродского вспоминались мне в день встречи с главным редактором журнала «Звезда»<sup>Ш</sup> известным писателем и историком Яковом Аркадьевичем Гординым. Под впечатлением от его книг «Мятеж реформаторов», «Лев Толстой и русская история», «Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века», «Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники» было естественно говорить о логике истории и ритме человеческого сердца, вечных русских вопросах и отношении к ним русского еврейства...



– Яков Аркадьевич, вот уже столько лет вы окружаете себя фактами, всматриваетесь в смысл исторических событий. Я задам вам вопрос максималиста: этична ли история?

– Да, история этична – ровно в той мере, в какой придерживаются этики творящие ее люди. То есть мы. Скажем, политика: важная составляющая исторического процесса, – существует устойчивое заблуждение, что она в принципе безнравственна. Мой давний приятель, замечательный писатель и человек, чьим именем недавно подписали скандальное письмо, заявил – очевидно, в большой ярости, – что вообще всегда и всех политиков, так сказать, за людей не считал. Это, конечно, перебор. Я не сторонник обобщений: все политики, все генералы...

**– Как говорит Александр Пятигорский, ложь начинается «с этого противного слова “все”».**

– Совершенно справедливо. Хотя политическая и бытовая этика – несколько разные вещи, и политик не всегда может придерживаться нравственного идеала, он вправе знать, что этот идеал существует, и стараться находиться как можно ближе к нему. Исключая нравственное начало из политического, общественного и – стало быть – исторического процесса, мы катимся в пропасть. Взять хотя бы концепцию нового учебника истории, где разъясняется, что Сталин действовал рационально и массовая коллективизация была единственным путем для достижения поставленных им целей. Вот пособие для будущих людоедов. Потому что по этой логике можно будет потом убить соседа, чтобы занять его комнату, – ведь это целесообразно, абсолютно рационально!

**– Конечно, в первую очередь речь должна идти о воспитании школой человека. И это – «человеческое» измерение истории. А какую роль в историческом процессе играют идеи?**

– Задам ответный вопрос: откуда берутся идеи? Ведь они не падают с неба, их производят люди. Если мы не являемся последователями Платона, разделяющими вещный мир и идеальный мир идей, мы должны признать, что идеи производятся человеческим интеллектом.

**– Журнал «Звезда» – своеобразный катализатор идей. А еще – часть культурной истории страны и, конечно, Петербурга. В чем его роль сегодня?**

– Вот уже без малого двадцать лет, с тех пор как пала советская цензура и толстые журналы обновились, у «Звезды» есть магистральное направление: гуманистическое просвещение. Наш журнал по структуре многовекторный, как и положено такого рода изданиям. Но у каждого из них есть свои особенности: в «Звезде» издавна и тем более в последние два десятилетия силен историко-публицистический блок. Мы печатаем много воспоминаний, ведем продолжающуюся рубрику «Мемуары XX века» – стремимся показать читателю, какой путь прошла Россия. И вместе понять, кто мы такие.

**– Благородная задача, особенно на фоне того, что многие (и порой нелицеприятные) факты нашей истории по-прежнему не осмыслены...**

– Да, русский XX век – загадочное историческое пространство. Поэтому очень важно объяснять суть процессов, которые происходили, а иногда и стараться показать, говоря словами классика, что такое хорошо и что такое плохо. Есть и более локальные задачи, которые встраиваются в это общее русло. С начала 1990-х в «Звезде» существует рубрика «Россия и Кавказ», потому что с того момента, как стало ясно, что начинается тяжелейший российско-кавказский кризис – а представления об истории вопроса нет ни у широкого читателя, ни у такого читателя, как учитель истории, – возникла необходимость в публикации архивных и современных материалов. Важно стимулировать в обществе здоровый мыслительный процесс.

**– Мне показалась правильной и интересной ваша концепция жизни как духовного усилия – вы говорите об этом в связи с судьбой друга, писателя Юрия Давыдова. Чувствуете ли вы сами вес этого духовного усилия? Что приходится преодолевать?**

– Применительно к себе неловко так говорить, но вообще, конечно, человек, который занимается литературой, творчеством – и занимается этим всерьез, – должен находиться в постоянном духовном напряжении. Набив руку, можно создать множество текстов, но вот вопрос: возникнет ли при этом чувство исполненного долга. В том числе и перед собой. Перед возможностями, которые у тебя есть. Духовное усилие – продуктивное состояние для любого человека; не движение по простейшему пути, а попытка встать над собой.

**– Что ведет к осмыслению индивидуального прошлого, истории своих предков...**

– К сожалению, в бурном XX веке связи рвались и терялись. Я не очень глубоко знаю свои корни. Самый дальний из известных мне предков – прадед, Антон Моисеевич Ивантер. Он был учителем гимназии в Вильно и потомственным почетным гражданином этого города. В ногах моей мальчишеской кровати висел его портрет в мундире с медалью за выслугу лет и бакенбардами а` la Александр II. Как правоверный иудей, прадед не мог быть учителем классической гимназии, но он преподавал в государственной гимназии закон Б-жий для еврейских детей, будучи, таким образом, при мундире... А в частной гимназии читал русскую словесность и – в свободное время – переводил с иврита на русский. Его дочь, а моя бабушка, Мария вышла замуж за Моисея Гавриловича Гордина, уроженца Режицы. Он происходил из правоверной еврейской семьи, был отдан учиться в хедер, но мальчишкой убежал из дому и поступил в ученики к лесничему. И это стало его профессией – дед работал и жил на Псковщине, куда привез бабушку... Серьезный специалист по оценке, разработке и сплаву леса, Моисей Гаврилович стал крупным предпринимателем. Чтобы иметь возможность жить во Пскове и свободно ездить по стране, дед купил себе вторую гильдию. Семья принадлежала к кругу псковской интеллигенции – была дружна с Тыняновыми, Зильберами (семьей Каверина), два моих дяди учились с Каверинным в гимназии и дружили с ним... Судьба деда после революции была печальной. В 1924 году он, уже госслужащий, был обвинен во вредительстве и приговорен к расстрелу. Спас ситуацию старший сын, воевавший в Красной Армии и имевший большие связи в Москве. Но семья на всякий случай уехала в Ленинград и первое время жила у Тыняновых.

**– Когда в ваши гены проникло писательство?**

– Это, скорее, произошло уже в поколении родителей. Я ведь знаю и про деда со стороны мамы, Якова Басина. Он был военным врачом, прошел первую мировую и погиб на Гражданской... А вот мама, Марианна Яковлевна Басина, стала писательницей. У нее была серия книг о русских классиках для детей старшего возраста: тетралогия о Пушкине, работы о Гоголе, Некрасове, Достоевском... На них выросло несколько поколений.

**– Ваши родители были единомышленниками: они жили одними и теми же именами, одной эпохой...**

– В значительной мере да. Отец был пушкинистом... Занимался и Белинским, и вообще критикой XIX века, но главным образом Пушкиным. Он написал несколько классических книг о Пушкине и Псковском крае, на которых воспитывали экскурсоводов в Михайловском. У Сережи Довлатова, который одно время тоже там работал, в повести «Заповедник» написано: «Прочитайте Гордина, и можете вести экскурсии». Во время войны отец был ополченцем, потом – сказалось большое сердце – читал на передовой лекции, в том числе о Пушкине. Основную часть блокады он, таким образом, провел в

Ленинграде, а потом его вывезли на Большую землю в состоянии крайней дистрофии. Но когда мы вернулись из эвакуации, его выслали из Ленинграда: два моих дяди уже были в лагерях (парадоксальный случай: самый старший брат отца, дядя Саша, занимал крупный пост в Министерстве финансов, а два средних были «врагами народа»). Отец пошел в Пушкинский Дом, и Борис Викторович Томашевский, который очень хорошо к нему относился и ценил как специалиста, рассказал ему про вакансию замдиректора по научной части в Пушкинском заповеднике. Отец поехал – и занимался восстановлением заповедника вместе с Семеном Степановичем Гейченко, который почти в то же время приехал в Михайловское директором. Так было до 1949 года, когда отца уволили как космополита... Так что семейная литературная традиция, наверное, сыграла свою роль – хотя, как обычно бывает в таких случаях, происходило и некоторое отталкивание. В «михайловский» период я не собирался быть писателем – хотел стать зоологом, путешествовать, жить в лесу с дикими зверями. Но после армии неожиданно для себя (и довольно поздно – все же мне был двадцать второй год) начал писать стихи. Очевидно, армейская служба что-то во мне «встряхнула». Тогда мы и решили, что стоит поступать на филологический. 1957 год, время еще довольно либеральное, – и я поступил.

**– Но поиск своего дела продолжался?**

– Мне довольно быстро наскучило учиться. Уже со второго курса, договорившись о переносе экзаменов на осень, я поехал в экспедицию, а потом перешел на заочное отделение... Пять лет работал в геологии (в Северной Якутии как техник-геофизик) – это было замечательное время, литературно очень плодотворное. Тем более что зимы я мог проводить с друзьями и по старой памяти бывал в Михайловском. Для человека, который хочет заниматься литературой, особенно таким щадящим ее видом, как стихосложение (щадящим в том смысле, что ничего не нужно для работы, кроме ручки и листа бумаги), это хороший опыт. Когда же я стал писать всерьез, с геологией пришлось расстаться... И фактически с 1964 года я профессионально занялся литературой.

**– Яков Аркадьевич, происходит ли непроизвольная полемика о золотом веке между вами и вашими родителями?**

– Нет, нас волновали разные ипостаси этой эпохи. Отец занимался пушкинской биографией и «чистым» литературоведением. Я же со временем стал собственно историком и от филологии оказался далек.



– Тем не менее пушкинский круг, сама эпоха продолжают вас гипнотизировать...

– Конечно. Я и начинал свою историческую работу с декабристов, что неизбежно приводит к Пушкину. Кроме того, у меня две книги о нем, но мой герой – Пушкин-историк и Пушкин-мыслитель, хотя и поэт там, безусловно, присутствует.

– **Чем же в конечном итоге стал для России декабризм? Наши сограждане раз за разом готовы отказываться от попыток преобразования, демократических перемен – и на этом фоне декабристы кажутся пасынками России, пасынками нашей истории.**

– Это совсем не пасынки нашей истории! Хотя, конечно, нужно учитывать, что термин «декабристы» весьма неопределенный – к следствию было привлечено порядка 500 человек, имевших разные мотивации. Были среди них честолюбцы и просто кровожадные люди, а были люди действительно благородные, радеющие не о себе, но, как тогда говорилось, о судьбе Отечества. И это главное звено в декабризме. В «Звезде» есть рубрика, посвященная истории терроризма, – сейчас в ней выйдет статья о декабристах. Террористические устремления у них тоже были: идея царевубийства, кое у кого даже идея истребления императорской фамилии. Другое дело, что ни один из этих проектов не пытались реализовать. Это, скорее, слова, ориентированные на тираноборческую традицию. И все же декабристы были военными людьми, опиравшимися на опыт дворцовых переворотов XVIII века, – ведь к тому времени убили уже трех императоров. Так что была определенная закономерность. Декабризм – чрезвычайно важный фактор в нашей истории. Моя книга потому и называется «Мятеж реформаторов», что изначально и по существу декабристы были реформаторами, а не революционерами. Они понимали – и это сейчас очень важно знать и понимать, – что без постоянных перемен страна существовать не может. Что реформа – антитеза революции, бунту. И за оружие взялись тогда, когда увидели, что никакой реформаторской деятельности им не предстоит. Декабризм – замечательный пример того, как власть, замкнутая на себе, ведет дело к взрыву, конфликту с обществом и в конечном счете – к катастрофе. И они не так уж ошибались.

– **Кажется, речь идет о важной исторической дилемме, которая встала перед Россией еще в позапрошлом веке.**

– Надо сказать, что великие реформы Александра II были в значительной мере запрограммированы идеями декабристов. И когда декабристы были уже возвращены из Сибири, они считали, что государь реализует их программу. Более того, представление о «спровоцированной декабристами» Николаевской реакции во многом ошибочно: все, что мы знаем о Николае в бытность его великим князем, говорит как раз об обратном! После восстания он понял, что не все в империи благополучно, – и поручил следственной комиссии составить перечень критических воззрений декабристов. Эту тетрадку Николай хранил у себя, а копию передал в «Секретный комитет 6 декабря 1826 года», комитет по подготовке реформ. Другое дело, что реформы не состоялись: началась Французская революция, Польское восстание и царь на них не решился. Но тем не менее Николай постоянно подступался к идее реформ и идее отмены крепостного права – создавались несколько раз секретные комитеты, в которые входили Михаил Михайлович Сперанский, Павел Дмитриевич Киселев, один из немногих идейных реформаторов, которых Николай держал около себя.

– Этот исторический опыт парадоксальным образом заставляет задуматься о том, что путь централизации власти, на который сейчас уповают как на оптимальное для России государственное устройство, отнюдь не был природным и спасительным для России.

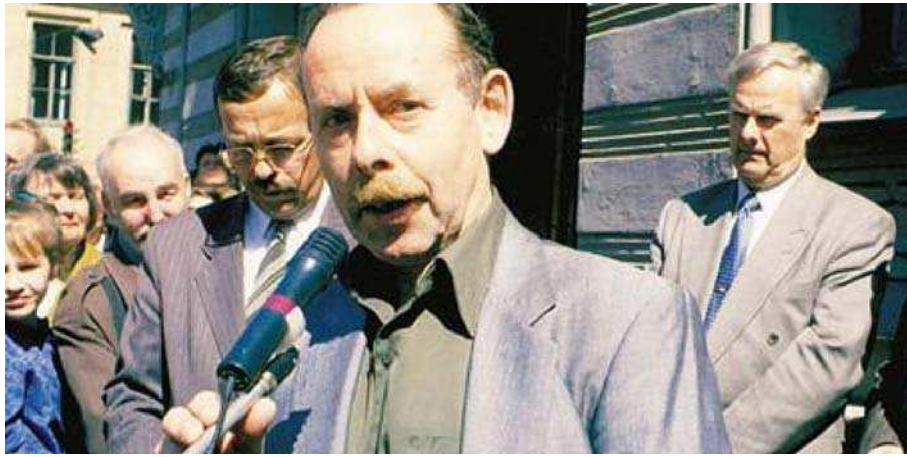
– Он не был продуктивен. В том-то все и дело! Умеренные декабристы, такие, как Никита Муравьев, ратовали за федеративное устройство. Это рассредоточение власти, представительная система при конституционной монархии. А российское самодержавие стремилось свести власть к самому узкому кругу лиц, держать ее на пяточке... Мы же понимаем: если пирамиду перевернуть вверх основанием и поставить на острие, она не будет устойчива. Вот она и рухнула в конце концов – власть некому было поддерживать. Трехсотлетняя монархия рассыпалась мгновенно, и начавшаяся потом гражданская война не была войной монархистов и революционеров. Монархисты составляли очень небольшую часть Белого движения, даже такие представители офицерского корпуса, как Антон Иванович Деникин и Лавр Георгиевич Корнилов, стояли за конституционную монархию.

– Давайте поговорим о вашем круге, который вызывает определенные аналогии с пушкинской плеядой. Может быть, виной тому свободолюбивая натура Бродского?

– Не будем преувеличивать аналогию с пушкинским кругом, пусть нашу плеяду оценят лет через сто пятьдесят – как мы оцениваем пушкинскую... И в то же время не будем преувеличивать значимость в те годы Иосифа, который, конечно, играл большую роль, но не был единственным центром. В нашем кругу были и другие достаточно вольнолюбивые, независимые, знающие себе цену люди. Это и Александр Кушнер, который начинал примерно в одно время с Бродским и всегда шел своим путем, и Евгений Рейн, сам по себе являющийся достаточно крупной фигурой... Да и кроме писателей были замечательные личности: кинорежиссер Илья Авербах, вулканолог Генрих Штейнберг. Было много ярких людей. Сам Бродский фигура уникальная, из ряда вон выходящая, но сводить своеобразие этого слоя в одну точку, переворачивать пирамиду вверх ногами тут тоже не стоит. Замечу, что Иосиф был моим первым и лучшим в жизни другом, наша дружба продолжалась сорок лет – и я уже в начале 1960-х понимал, что это человек гениальный. Просто картина несколько сложнее. К слову, в пушкинское время Вяземский и Баратынский отнюдь не были людьми из чьего-то окружения.

– Чему мы обязаны появлением этого феномена, этого удивительно свободолюбивого поколения?

– Пожалуй, две причины очевидны. Первая: уникальный исторический момент. Оттепель разжала репрессивные тиски (мы даже преувеличивали степень этой наступившей свободы, нам довольно быстро показали ее пределы). И вторая: была еще сильна инерция Серебряного века, были деятельны люди, пришедшие оттуда. Эти люди не выходили на улицы, не устраивали акций неповиновения, но именно они создавали культурный климат, который был в принципе оппозиционен советским представлениям о культуре. То есть было понятно: существуют советская официальная культура и истинная русская культура. Для Бродского и Рейна таким проводником оказалась Ахматова. Кроме того, в Ленинграде сложилась группа блестящих переводчиков, многие из которых сами писали стихи. Это были, как правило, люди сидевшие, некоторые по многу лет. Вернувшиеся в 1950-х, не растерявшие абсолютно своего интеллекта, они составили поистине великую секцию переводчиков при Союзе писателей. Их семинары имели сильное влияние на молодежь – ведь учителя были европейски образованными людьми.



– Кого бы вы отметили?

– Это Иван Алексеевич Лихачев, Эльга Львовна Линецкая, Александр Александрович Энгельке, из более молодых, не захваченных репрессиями, но воевавших – Ефим Григорьевич Эткинд. Огромную роль в жизни многих моих друзей сыграла Лидия Яковлевна Гинзбург. В 1970-х традиция стала умирать и потом, с уходом этих удивительных людей, иссякла.

– Я очень люблю дружеское послание к вам Бродского («На 22-е декабря 1970 года Якову Гордину от Иосифа Бродского»). Этот текст начисто опровергает представление о нем как олимпийце, равнодушном к жизни людей вокруг. Взять хотя бы такой фрагмент: «Другой мечтает жить в глуши, / бродить в полях и все такое. / Он утверждает: цель – в покое/ и в равновесии души. / А я скажу, что это – вздор. / Пошел он с этой целью к черту! / Когда вблизи кровавят морду, / куда девать спокойный взор? / И даже если не вблизи, / а вдалеке? И даже если / сидишь в тепле в удобном кресле, / а кто-нибудь сидит в грязи?»

– Бродский никогда не был олимпийцем. Он, как многие талантливые люди, не был прост для окружающих (хотя мне грех жаловаться – мы за всю жизнь ни разу не поссорились). Тем не менее Иосиф не был замкнутым на себе холодным человеком. Когда он с кем-то дружил, он был прекрасным другом – и, как он сам говорил, «любил немногих, однако сильно». Кстати говоря, любил он многих. Круг симпатий Бродского был очень широк, в него входил, например, Гарик Гинзбург-Восков, замечательный человек, совсем не связанный с литературой. Или вот: помните инициалы в посвящении перед «Стансами» («Ни страны, ни погоста...»)? Е. В., А. Д. – Елене Валихан и Але Друзиной. С этими девушками, моими университетскими приятельницами, у Иосифа никаких романов не было, но он всю жизнь хранил им дружескую верность. В Америке, будучи знаменитым, но не очень богатым, Иосиф многим помогал. Кстати говоря, некоторым из тех, кто пишет о нем не лучшим образом и кто в действительности многим ему обязан.

– Совсем недавно от нас ушел еще один нобелевский лауреат: Александр Солженицын. В чем его значение для современной России? Уместно ли его сравнение со Львом Толстым?

– Если отвечать с конца, думаю, не вполне уместно. У Толстого была основательно разработана историософская доктрина. У Александра Исаевича таковой не было. Говорить о человеке над свежей могилой довольно тяжело, тем более что я не могу сказать о каком-то однолинейном отношении к Солженицыну. Это, безусловно, один из

крупнейших представителей нашей культуры и общественной жизни в XX веке, фигура грандиозная, чрезвычайно много значившая для пробуждения сознания России. «ГУЛАГ» – великая книга. Но как исторический мыслитель Солженицын привлекает меня гораздо меньше. Мы дважды публиковали блоки из «Красного колеса», в частности последнее, что было у Александра Исаевича, – конспект ненаписанных романов «Красного колеса». Я очень люблю «Август 1914-го». Остальные части эпопеи люблю меньше. Но дело не в том. К большому моему сожалению, – я писал об этом еще в 1990-х, при жизни Солженицына, – мне кажется, он не понял того, что происходит в России и его категорическое неприятие реформ, политических процессов тех лет объяснимо, но несправедливо. В Солженицыне постепенно выработалась психология пророка, человека, устремленного на идеальные модели. То, что происходило у нас в 1990-х, от идеала было очень далеко. Но ощущалась плодотворность процесса: Россия впервые увидела себя такой, какой она была на самом деле и соответствующим образом себя проявляла. Александр Исаевич хотел, чтобы все происходило так, как он считал бы нужным: местное самоуправление, земства... Им неоткуда было взяться – и неоткуда взяться по сию пору. И то, что Путин оказался ему ближе, чем Ельцин, – симптоматично...

**– Поделитесь мнением о книге Солженицына «200 лет вместе». Каким вам видится сосуществование русского и еврейского народов?**

– Мне кажется, здесь, как и в ряде других вещей, Солженицын переоценил свои возможности. Поэтому книга вызвала упреки в дилетантизме со стороны профессиональных историков. Кроме того, заметно, что у Александра Исаевича была заданная концепция и он соответствующим образом подбирал материал (хотя не сомневаюсь в его добрых намерениях)... Что касается самой проблемы сосуществования русского и еврейского народов, я думаю, что при всех несправедливостях, при всей трагичности существования еврейства в России, Россия чрезвычайно много дала мировому еврейству, а русское еврейство чрезвычайно много дало России. Если говорить о русской культуре, то это явления нерасторжимые – по крайней мере, со второй половины XIX века. Конечно, еврейство не едино: есть верующие евреи, вызывающие у меня уважение (сам я таковым не являюсь), которые живут своей особой жизнью. Но основная масса еврейства в XX веке жила одной жизнью с российской общностью и играла в ней огромную роль. Я не разделяю тезис, который одни исповедуют с ненавистью, а другие с гордостью, о решающей роли еврейства в истории России XX века (Октябрьская революция и другие события). Проблему решил сам русский народ, еврейство же было только частью этой общности, хотя довольно активной частью... Неплохо зная историю России, я убежден, что изучать историю русского еврейства вне русского контекста невозможно.

**– Вы ощущаете интерес к другим событиям еврейской истории? Есть ли у вас симпатии за пределами России?**

– В свое время меня интересовало испанское еврейство, еще до изгнания – труды Маймонида-Рамбама, философская лирика (Соломон ибн Габироль, Моше ибн Эзра, Йегуда Галеви). Маймонид даже попал в одно из моих стихотворений. Если говорить о XX веке, часто возвращаюсь к мысли французского историка Марка Блока (один из основателей знаменитой школы «Анналов», он был героем Сопротивления и погиб в гестапо, не выдав своих товарищей): «Я чувствую себя евреем, только когда стою перед антисемитом»... Думаю, это сказано очень точно о людях моего типа. Хотя никогда в жизни я не отрекался от своего происхождения.

<sup>11</sup> В управлении «Звездой» принимают участие два соредатора: Я.А. Гордин и А.Ю. Арьев.

## ПОРТ ПРИПИСКИ

На четыре вопроса отвечают:

Сергей Костырко, Александр Ливергант, Анна Школьник, Галина Юзефович

*Беседу ведет Афанасий Мамедов*

Словами еврейских мудрецов – «у кого есть сто, хочет двести» – главный раввин России Берл Лазар открывал в августе 2000 года сотый «Лехаим», напоминая читателям, что в этих словах заложен не только свой взгляд на природу человека, но и совет, как именно относиться к жизни: «Человеку, как правило, всегда мало того, что он имеет. Ему хочется большего и лучшего. И надо сказать, “лучшего” не обязательно объективного. Потребности человека исходят из его образа жизни, а вовсе не из имеющихся в его распоряжении возможностей».

«У кого есть сто, хочет двести». А у кого уже есть те самые двести, тому, конечно же, хочется...

Тут ведь главное что? Делать то, что должен делать, и очень часто в «плохую погоду». Именно это движение вперед несмотря ни на что обеспечивает человеку его духовный рост. Любое осознанное движение во времени и пространстве всегда связано с исчислением. А исчисление, естественно, с округлением, с «опорными» величинами и т. д. и т. п. Юбилей, в каком-то смысле, и есть величина «опорная», чем-то напоминающая лестничный марш, который сегодня заменен коробами лифтов.

Свойство всех юбилеев – не только отдых в пути, но еще и бесстрастное оценивание юбиляром, а также его симпатизантами, ближайшим окружением (оппонентов на юбилеях не выслушивают и правильно делают) пройденного отрезка. Без какового оценивания юбилей – всего лишь зарубка, мета, недостойная даже каторжника, не говоря уже о человеке свободном. Вот и мы, отмечая двухсотый номер и уже мечтая о трехсотом, попробуем оглянуться назад, понять, как далеко ушли от первого, десятого, сотого, что приобрели и что потеряли, к чему стремиться, от чего уходить. За последнее время наш журнал сильно изменился, и нам хотелось бы выслушать на «юбилейном привале», что думают о нашем журнале профессионалы.

## URBI ET ORBI

*Ναδάε Εἰπὸ ὑδεί, ἰεῖπὸ αἰῶν ἐεὸ ἀδαὸ ὀδῖ ὑέ ἐδεὸ ἐέ, δαῖα ἐὸ ἰδ εἰ ὀ αἰ ἰ ὀ-  
ἀδῖ ἐε αὐδῖ ἀεῖ «Ἰ ἰ αἰ ἰ ἐδ», ἐὸ δαὸ ἰδ ἰ αἰ ἐὸ ἀ «Εὐδῖ αἰ ἰ ἰ ὑέ αἰε»*



– Выходит юбилейный двухсотый номер журнала «Лехаим». Журнал – живой организм. Не мне тебе говорить, от скольких привходящих зависит его существование, качественное наполнение. Основная аудитория нашего журнала, на мой взгляд, сложилась. Но сейчас меня больше интересует не основной, но в то же время и не случайный читатель, которому наш журнал может быть интересен. Ты как-то в разговоре со мной обмолвился, что достаточно регулярно (через два-три номера) просматриваешь «Лехаим». Что тебя больше всего в нем привлекает и, напротив, от чего ты уходишь как читатель, как литератор и как журнальный работник с большим стажем?

– В «Лехаиме» в первую очередь я читаю материалы, связанные с историей; собственно, с них и началось мое настоящее знакомство с журналом – с публикации писем Шимона Маркиша Марлену Кораллову в 2006 году (и там же очерк Давида Маркиша «Еврейский дом»), далее я отслеживал полемику с Солженицыным, разумеется, читал и читаю материалы по истории русского и европейского еврейства. Культура публикаций мне кажется достаточно высокой. Ну а во-вторых, читаю литературные и культурные разделы журнала. Они для меня часть той культурной и литературной жизни, которой мы сейчас живем все. Интеллектуальный и эстетический уровень этих публикаций делает эти разделы реальным конкурентом любому сегодняшнему литературному изданию. Ну а материалы раздела «Дом учения» я только просматриваю, – я, наверно, читатель специфический, прежде всего человек «неконфессиональный».

– Насколько плотно «Лехаим» закрывает свою нишу? Возможно ли появление еще одного журнала такой же направленности?

– Насчет ниши ничего сказать не могу. Если эту «нишу» обозначить таким не слишком определенным словосочетанием, как «еврейская тема» в нашей жизни, то ниша эта настолько огромная, что само употребление здесь слова «ниша» кажется нелепым. «Еврейская тема» в моем понимании – это одна из самых сложных и драматичных (и трагичных) тем в мировой истории и культуре, и отнюдь не только для евреев. Во всяком случае, в Европе я не знаю страны, для которой это не было бы сегодняшней актуальностью. Уже то, что мы принадлежим к иудео-христианской цивилизации, – а это значит, в частности, что даже самый последний антисемит, обращаясь к Б-гу, произносит

в своих молитвах исключительно еврейские имена, – делает эту тему личной для миллионов и миллионов. И это только один из глубинных аспектов этой темы. Ну а для агностиков (к коим отношу себя, например, я) как одна из самых существенных – если не определяющих – категорий в оценке истории стран и народов – это категория нравственной состоятельности. И никуда не денешься: в определении нравственного состояния наших сообществ одним из главных критериев остаются взаимоотношения этих сообществ с «еврейским вопросом». Употребляю это словосочетание в кавычках, потому как считаю, что для евреев вопроса в «еврейском вопросе» нет, вопрос этот правильнее было бы назвать «русским вопросом», или польским, или французским, или итальянским, или шведским и так далее. Собственно, потому еще сделанные с бесстрастностью квалифицированного историка материалы из «Университета» «Лехаима» часто выглядят более чем актуальными (ну, скажем, публикации Ольги Минкиной «Невидимый кагал» и Даниила Романовского «Праведники в Содоме...» в октябрьском номере). Я думаю, что на этом поле может появиться множество журналов и, увы, тесно им не будет.

**– Вопрос к тебе как к одному из кураторов «Журнального зала» – объединенного интернет-представительства большинства крупных литературных журналов России. В необходимости электронной версии журналов сегодня мало кто сомневается. Как было бы правильно использовать пространство сайта, чтобы он работал на печатную версию с полной отдачей? Вообще, насколько сегодня следует вкладываться в интернет-версии журналов?**

– В необходимости электронной версии журналов сегодня действительно мало кто сомневается. У «Лехаима» есть компактный и при этом вполне информативный сайт, выстроенный логично и удобный в использовании. То есть необходимый по культурным стандартам сегодняшнего времени «сетевой минимум» есть. Сама редакция должна решить для себя вопрос: готова ли она расширять свою деятельность в Сети. Как читатель, я, например, конечно заинтересован в том, чтобы иметь возможность, прочитав в очередном номере какую-либо статью, расширить свое представление о теме с помощью вывешенных в дополнение к этой статье материалов уже на сайте или посмотреть персональную страницу кого-нибудь из постоянных авторов «Лехаима». Ну и, разумеется, можно было бы сделать этот сайт интерактивным, то есть сделать его еще и дискуссионным клубом. Но все это, повторяю, уже вопросы, связанные с концепцией издания.

**– Создалось ли у тебя ощущение, что журнал «Лехаим» взял свою «высоту», вышел уже на какое-то плато и теперь его задача – удержать позиции? Вообще, каким тебе видится, так сказать, «идеальный “Лехаим”»? Чего бы хотелось пожелать юбиляру?**

– На первый вопрос: да, несомненно. Повторюсь, два года назад, прочитав номер 167-й (с Шимоном Маркишем), я задался вопросом, почему проглядел само существование такого журнала, ведь попадали же мне в руки первые его выпуски. Но тогда мне казалось, что это специфическое издание для еврейской диаспоры, и только. Я проверил это впечатление сейчас, полистав уже в сети первые номера журнала и сравнив их с нынешним «Лехаимом» – да, действительно, «Лехаим» начинался как журнал «для своих», как издание, обращенное только к «городу» (urbi), а сегодня это уже издание, обращенное к «городу и миру» (urbi et orbi). При этом журнал не потерял своей изначальной специфики, напротив, именно она и обеспечивает его уровень. И пожелать журналу я могу только одного: не останавливаться на этом пути.



этого – большой прозы, романа. В то время как сегодня стрелка компаса читательского интереса постепенно перемещается от большой прозы к малой, от фикшн к нон-фикшн и так далее. И для журнала – «Лехаим» ли это или «Иностранная литература», «Знамя», «Новый мир», неважно – это тем более существенно, что издатель – а он всегда коммерсант, бизнесмен – лучше заработает, издавая роман, чем сборник стихов, рассказов, пьес, эссеистики... Вот мы и уделяем все большее внимание второй тетрадке журнала, как она в свое время называлась. Стараемся печатать побольше статей о межкультурных связях, о проблемах перевода, кстати, и о «своем» и «чужом» тоже... И конечно, мы продолжаем печатать романы. Кто бы нас иначе выписывал? Но мы стараемся печатать романы покороче, чтобы «поместились» и другие жанры.

**– Евреи – народ, который не только говорит на разных языках, своих и чужих, не только участвовал в созидании мировых культур, но и продолжает активно участвовать. Еврейский журнал без переводных текстов представить себе сложно. В нашем журнале их немало, переводов с английского, пожалуй, большего всего. Как бы вы оценили их качество, достаёт ли им «третьего измерения», которое, как утверждал Поль Валери, превращает переводы из «созданий мыслимых в зримые»?**

– Из того, что я знаю о журнале «Лехаим», – по-моему, переводная литература в нем представлена вполне грамотно, переводы очень неплохие, и мне вообще кажется, что переводы украшают национальный журнал. Вот видите, опять разговор все о том же. Национальный журнал должен быть открыт миру, и тогда он будет по-настоящему национальным. И хорошо, что редакция «Лехаима», как, собственно, и редакция «Иностранной литературы», это понимает. У вас большой тираж. И если бы вы не печатали переводную литературу, а печатали только литературу сугубо русско-еврейскую, не думаю, что тираж этот был бы так велик. По-моему, это совершенно правильный путь. В принципе, можно пойти по другому пути, можно замкнуться, можно печатать только национальную литературу, но в этом случае число ваших читателей наверняка резко сократится.

**– Принято считать, что «толстый» журнал, такой, каким мы его привыкли видеть, – изобретение русской интеллигенции, значит, и нам есть чем гордиться. Обычно предметы национальной гордости находятся под опекой государственных институтов – это норма, принятая во всем мире. Литературно-публицистические журналы в России больше полутора веков считались империей прочной, не было интеллигентного дома, в котором бы не стояли на полках «Новый мир», «Иностранная литература», «Дружба народов» и другие журналы, не то что сегодня. Какие социокультурные условия необходимы для завоевания былых позиций?**

– Былые позиции не отвоюешь. Это связано с несколькими обстоятельствами. «Толстый» журнал во времена закрытой страны был чуть ли не единственным окном в мир. В частности, журнал «Иностранная литература». И конкурентов у него не было. Не было Интернета, не было стольких телевизионных программ, не было издательского бума. Переводную литературу печатали два-три издательства. Государственных, заметьте. И большей частью – классику. Новую литературу – очень робко. С большой идеологической оглядкой. Теперь, когда цензурных запретов больше нет и можно печатать все что хочешь, разумеется, на такой журнал, как «Иностранная литература», думаю, что и на такой журнал, как «Лехаим», оказывается очень сильное конкурентное давление. Конкуренция, как известно, вещь замечательная, ведь конкуренция вынуждает нас меняться, прогрессировать, работать над ошибками. Приметы этой модификации я уже описал, отвечая на ваш предыдущий вопрос. Должны меняться и жанры, и структура

журнала, и его философия... Политика журнала не имеет права стоять на месте. Иначе журнал ждет гибель. Рассчитывать на то, что журналы «Лехаим», «Знамя» или «Иностранная литература» будут вновь культурным событием огромного масштаба, каким был, скажем, «Новый мир» в пору публикации «Одного дня Ивана Денисовича», или все «толстяки» во времена перестройки, когда впервые появилась возможность печатать то, что раньше было запрещено, не стоит. К сожалению, взгляд молодежи, и даже молодежи читающей, что, согласитесь, сейчас уже становится оксюмороном, не направлен в сторону литературно-публицистических журналов. Что нужно делать для того, чтобы изменилось положение вещей? Во-первых, как мы уже говорили, философия журнала должна меняться; во-вторых, хочется нам того или нет, обязательно должно уделяться особое внимание рекламе, «пиару», онлайн-публикациям, сайтам, блогам и интернет-изданиям. Очень многие читают журнал такой, как ваш, или такой, как наш, в Интернете и в бумажном варианте никогда читать не будут. Не знаю, как «Лехаим», а мы все время сталкиваемся с такой вот отчасти забавной, отчасти грустной оценкой нашей деятельности, когда нам воздается должное не за наши сегодняшние достижения, а за вчерашние. И не потому, что этих достижений сегодня нет, а потому, что они большинству читающей публики попросту неизвестны.

### ПУБЛИКА «ЛЕХАИМА» – ЛЮДИ ЧИТАЮЩИЕ И ДУМАЮЩИЕ

*Αί ίά Οέτειν έέ, δαααέο ίδ δααααά ί ίάηόαέ Booknik.ru,*

*άτθαί ο ί ίΆΟ, έμ' αί έηό*



– В России журналист – рабочая лошадка, пока крупно не поссорится с властью или же пока власть не украсит его чело лавровым венком. Евреев-журналистов хватает и среди первых и среди вторых, и среди тех, кто обречен ходить в лошадках. То есть «выход на одинокую орбиту» российскому журналисту заказан. Все журналисты нашего журнала «одинокие орбиты» подбирают себе сами, правда, с одним условием... Оно и понятно, а как иначе, журнал-то еврейский. По себе знаю, как принаравливаешься к этому условию, как оно становится «найденным способом», снижающим напряжение материала. Много ли в журнале текстов, в которых еврейская направленность кажется формальной, случаем «строгой дисциплины»?

– Мне весьма понятен и близок этот вопрос, точнее, ваше беспокойство по поводу «надуманности» еврейской темы в материалах. Потому что журналист постоянно погружен в динамичнейший информационный поток, у него профессиональное чутье на «интересное» для его читателя, потому что он только и делает, что поводит своими антеннами в информационной среде и ищет, ищет... И вдруг он вылавливает нечто, что

кажется ему необыкновенно важным и нужным, свежим и ярким, увлекательным, наконец, но... Журнал еврейский, надо соответствовать. И выявить еврейскую составляющую в найденной теме. Это такая известная практика не только у тех, кто работает на «национально» ориентированные СМИ, но и у любых тематических изданий, рассчитанных на определенного потребителя. Но читателю неведома вся эта мука «притягивания за уши», он читает и удивляется, или возмущается, или погружается в размышления – в зависимости от цели материала. И для оценки этой стороны «Лехаима» мне бы надо вылезти из шкуры журналиста и вспомнить, что я читатель. Прodelываю это легко, потому что ни как внутренний человек, ни как внешний ни разу за все время знакомства с журналом я не почувствовала этой титанической работы, даже если она и велась. Мне там интересно практически все. И это при том, что я весьма ассимилированный «советский еврей». И тут, я так думаю, дело не только в профессионализме авторов, а в том, что еврейская культура в силу особенностей истории и обстоятельств своего формирования в изобилии дает почву, солнце и дождь для наших журналистских полей.

– У меня есть друг, который готовит кофе отдельно для женщин и отдельно для мужчин: «Этот кофе с мужской начинкой, этот – с женской». Не дай Б-г за столом мужчине случайно хлебнуть «женского» кофе!.. Когда я вижу на прилавках мужские и женские журналы, разведенные по углам, точно вчерашние супруги, я не без улыбки вспоминаю друга-гурмана. Есть в этой гендерной сегментации что-то от недобросовестных брачных объявлений. «Лехаим», на мой взгляд, настолько же «мужской», насколько и «женский». Более того, «Лехаим» – семейный журнал (правда, все больше для продвинутых семей). На пользу ли журналу такой широкий охват аудитории, о чем он сигнализирует?

– Зря вы так про брачные объявления. Недавно Евгения Пищикова целую теорию построила на анализе брачных объявлений, потому что они в сжатой форме репрезентируют ценности, сформировавшиеся в обществе в определенный момент истории. Текст есть текст, добросовестный он или нет. Его интересно изучать как знак времени. И «Лехаим» как текст отражает нынешний исторический момент и одновременно с этим воспитывает, формирует своего читателя. А отражает он тягу к качественной аналитике, к тому, что можно было бы назвать «водительством» в океане информации, к актуальности. Да, рубрики «Лехаима» тематически охватывают практически все стороны жизни человека, поэтому в нем могут найти информацию люди разных возрастных категорий и культурных запросов. Ну так и отлично. Мне весьма и весьма приятно идти к маме с этим журналом, я точно знаю, что в любом номере для нее есть материал, который заставит гореть ее глаза и оживленно сообщать подругам, что «ты представляешь, Гроссман сумел спасти свою жену от репрессий, я тебе говорила, он смелый человек». Родителям моим интереснее всего читать про тех людей, что были свидетелями их молодости, их кумирами, дочке – какие-то исторические очерки и про кулинарию. Благодаря вот этому «широкому охвату» и «семейности» создается общее информационное поле в семье, даже если один прочитал про «кровавый навет», а другой – про горских евреев. Пусть хотя бы обложка объединяет поколения и членов семьи, это все равно нечто общее, если журнал, как у нас, лежит в гостиной на тумбочке. Я могу только гадать, как именно вы формулируете кредо своего издания, но мне кажется, каким бы «широким» ни был его охват, публика «Лехаима» – люди читающие и думающие. Их не так уж много, надо их приручать и/или воспитывать новых читателей в этом духе, а для этого нужны инструменты. «Лехаим» вполне себе инструмент. Он и садовник, он же – и цветок.

**– То, что «Лехаим» никогда не проникнет в салоны красоты, не говоря уже о подземных переходах метро, я почти убежден. Насколько четко сегодня обозначилось место журнала в русско-еврейской прессе и насколько оно свое?**

– Место журнала в русско-еврейской прессе обозначилось, кажется, довольно давно, так как он стоял у истоков этой прессы (постперестроечного периода). А что касается салонов красоты и переходов – было бы желание. Существует так называемый «этнический» глянец – глянец-унисекс, вполне себе продающийся в переходах метро и на лотках. Такой литературно-публицистический полуглянец, как «Лехаим», тоже можно было бы распространять стандартным для глянца образом, если воспользоваться услугами соответствующих сетей и слегка причесать содержание (убрать «Рекомендации шефа», «Послания Ребе» и дидактику из «Дома учения»).

**– Если сравнивать «Лехаим» образца семилетней давности с нынешним, создается впечатление, что вольно или невольно, произошло репозиционирование журнала. Образ/имидж претерпел заметные изменения. Журнал покинула задушевная еврейская местечковость, со всеми ее «слава Б-гу» и «не дай Б-г», уступив место изысканной академичности, а временами и холодноватому лоску. Правда, есть рубрика «Регион», но и она вряд ли выручит тех, кто ностальгирует по «старому» журналу. «Лехаим» растет, матерееет, это понятно, это хорошо, – но захочет ли расти и матереть некогда благосклонная читательская группа? Насколько может быть опасна для журнала подобная ситуация? Связана ли она с «переходным периодом»? Обязательно ли претерпит изменения состав читательской аудитории?**

– Частично я уже ответила на этот вопрос: читательская аудитория уже не просто сидит и радуется – «ой как хорошо, нам дают издавать еврейский журнал, да еще такой красивый, да еще и в метро его можно без страха листать». Чистая радость от самого факта, что у нас такая ситуация, в которой можно издавать любые журналы, давно прошла, лет пятнадцать как. Как и спрос просто «на еду». Люди отлично разбираются в качестве продукта. Не меняться в меняющемся мире – это смерть, простите. У меня нет никакой ностальгии, я приветствую нынешний «Лехаим», я его читаю, как и мое окружение. Публика матереть не захочет точно, она захочет молодеть, а та, что и так молода, ищет собеседника на равных.

## ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СПРОС СЕГОДНЯ НЕ МЕНЬШЕ, А БОЛЬШЕ

*Ààèèí à Ð çàòí àè±, èèò àðàò òðí úé éðèò èé, æòðí àèèñò*



– Недавно на страницах «Лехаима» возник спор между Беллой Верниковой и Леонидом Кацисом. Верникова в статье «Русско-еврейская литература: трактовки и классификации» высказала мнение, что русско-еврейская литература угасла между 1934 и 1937 годами, когда почил в бозе известные еврейские печатные издания и издательства. Кацис не согласен: считает, что налицо явная подмена тезиса, связанная с переходом от журналистики к литературе: «Немногое из журналистского творчества родоначальников русско-еврейской литературы мы вообще сегодня отнесли бы к литературе в современном понимании <...> Даже дискуссия на эту тему в журнале “Лехаим”, сознательно продолжающем линию русско-еврейской журналистики, свидетельствует о том, что она существует не столько как проблема отвлеченных рассуждений, сколько как проблема соотношения сегодняшних деятелей русско-еврейской культуры со своими предшественниками». Чья позиция вам ближе, согласны ли вы, что «Лехаим» сознательно продолжает линию русско-еврейской журналистики?

– Мне, как и Леониду Кацису, сложно определить местоположение тонкой грани, отделяющей журналистику от литературы – особенно в их исторической перспективе. На мой взгляд, правильнее было бы говорить не о «русско-еврейской литературе» и «русско-еврейской журналистике», а, скорее, о разных формах вербального проявления русско-еврейской культуры в широком смысле слова. Сознательным продолжателем которых журнал «Лехаим», безусловно, является.

– Как вы смотрите на бытующее до сих пор убеждение, что журналисты, работающие на национальные СМИ, не являются журналистами первого ряда, что их родовая, неперемнная черта – отсутствие яркого дарования, усредненка, потому-то, мол, и нырнули в это тихое болото?

– Мне кажется, здесь, как и в других областях, не следует обобщать. Я думаю, что мотивы, побуждающие журналистов работать в национальных СМИ, бывают очень различными. Кто-то действительно ищет здесь защиты и убежища от более «хищной» и конкурентной среды «общей», «наднациональной» журналистики. А кого-то приводит в национальные СМИ искренний интерес к ее тематике и желание писать именно о национально-культурных аспектах сегодняшней жизни. Но это различие всегда видно по текстам, не правда ли?

– Юрию Нагибину приписывают афоризм, который для многих современных журналистов служит призывом к действию: «Свобода слова есть осознанная необходимость денег». Не является ли это в первую очередь примером того, во что может вылиться обычное дендистское эпатирование? Или Юрий Маркович предвидел, во что может выродиться русское слово, освободившееся от пут цензуры?

– Я считаю, что работать совсем бесплатно – неправильно. Это не касается таких особых областей, как благотворительность, волонтерство или высокое литературное творчество, которое направлено не столько вовне, сколько внутрь личности. И все же если речь идет о некоей профессиональной, регулярной деятельности, то вкладывать усилия, не получая вознаграждения, не стоит: рано или поздно процесс начинает вызывать раздражение, возникает ощущение бесплодности собственных усилий. Другое дело, что деньги (или другая форма компенсации за труд) не могут являться единственным стимулом – если это так, значит, человек просто занят не своим делом. И журналистика в этом смысле мало чем отличается от любой другой области деятельности. И так, на мой взгляд, было всегда – что во времена цензуры, что после ее условной отмены.

– Считаете ли вы, что современный читатель, не понукаемый страхом, освободившийся от гнили и трухи, партийных мировоззрений и кагэбэшного догляда, стал много лучше, потому и не видит вокруг ничего достойного его ума и вкуса?

– Я бы предложила взглянуть на эту проблему с другой стороны. Скорее наоборот, литераторы всех видов, освободившись от, как вы говорите, «партийных мировоззрений и кагэбэшного догляда», вместе с ними освободились и от ощущения собственной особой роли в жизни общества. Теперь из пророков, мудрецов и учителей им необходимо вернуться к своей исходной роли и снова стать просто людьми, которые пишут книги (или статьи). И до тех пор пока они не освоятся в этом новом качестве, сегодняшняя литература будет оставаться явлением достаточно маргинальным. В то же время читательский спрос на качественную литературу сегодня не меньше, а больше, чем раньше. Пусть он несколько снижается в абсолютных цифрах, зато явно растет в относительных: ведь сегодня книгам и журналам приходится конкурировать не только с блеклым советским телевидением (как было еще двадцать лет назад), а с десятками видов первоклассных и куда более доступных развлечений.

*В óεá çáεíí-εé ááííáó ñ Áεáεííáíáóíí Βεííáεáε-áí Èεááóáííóíí, íðεéþ-εé áεéðíóíí, éíááá íí ñ ðííεé: «Á ááí-óí ñáí íí ó εáεéí áεáεòíí áááóááá áεðíáεá?» - «Óíðáεííí áú, ÷òíáú “Èáááεí” ñðáε ááðáεííééí “Íúþ-Èíðéáðí” ». - «Íó ó “Íúþ-Èíðéáðá” òéðáε ííáíéáá ááεááí áóááð, - í ýáéí “íðεçáí εéé” í áíý áááí úé ðáááεòíð “ÈÈ”, - é ííðíí, ñáááñðááí “ááðáεííéé “Íúþ-Èíðéáð” - ýòí òááðíéíáý». Ááεíðáεòáεúíí, ííáóí áé ý, íí-áí ó áú “Èáááεí ó” íá áúòú íðííðí “Èáááεí íí ». Ó íáñ ñáíá «Áíéúçíá ýáéíéí». È εáé áú íé íóáí εááé íáεó ááýðáεúí ííòú é íðéí áð, áíííáεí Í áεííéí Óðááð á εçááííéé éí ñééáííéé áíòíéíáεé ááðáεíí-ðúííéé ééòáðáðóðú áááð ñòíéáðéé, ñ-éòáþúéé, ÷òí òáéíòú “Èáááεí á” íúðáþòíí éíéúííðááííí éííñééáεðíááòú ááðáεííéé-ðúííééþ éíðáéééáííòéþ, ííðííó εáé «ááðáεííéé-ðúííééý ééúúóðá ñáí á íí ñááá íáðá-áíá íá éñ-áçííááíéá á í-ááé áá çáííóεéááþúéá áíéí áíéý, íáóíáýòííý çá í ðááááí é ðíííéé», - í ú áñ-ðáéé ýáéýáí íý íáíéí εç íñíáíúó ííððíá íðéíéíéé ááðáεííéé-ðúííééé éíðáéééáííòéé. Íáðáí áí ú á íáεáí áεðíáεá ííéáçíááþò, ÷òí í ú óεá áεéééñí á «ééúúóðíúé í áéííððéí» íí Óðááð, íá ííðááýá íðé ýòíí ñááá ééòá È íé íáéí εç ííéò ñáááíáíééíá íá ííðíááðá óé ýòíé òí-éé çðáí éý.*

Вы читали? *Alia Nidreia* Абетки еврейской поэзии // 2008, № 6.

**Реакция.** На мой взгляд, статья написана необъективно, некомпетентно и недоброжелательно. Уже с самого начала покорила фраза: «Соседи – Украина, например, – тоже не отстают». То есть не отстают от России, где переводят «на русский язык важнейшие тексты еврейской культуры». Фраза эта не только неприятна своим снисходительным тоном «старшего брата», но и совершенно бессмысленна: ведь через два абзаца Сорокина замечает: «Украинская антология – первый подобный опыт <...> на одном из славянских языков. На русском ничего подобного пока не выходило». Так кто от кого, спрашивается, не отстают?

В дальнейшем, пока автор публикации пишет о формальных признаках украинского издания и упоминает об аналогичных антологиях, вышедших в Америке, – тон ее сугубо академичен. Но он становится недопустимо категоричным и безапелляционным, как только критик переходит к оценке работы переводчицы Валерии Богуславской: «...В большинстве переводов, сделанных В. Богуславской (а ей принадлежит более половины переводов антологии), – пишет А. Сорокина, – происходит замена важнейших элементов еврейской картины мира. Некоторые фрагменты исчезают без следа, появляются новые, зачастую абсолютно чуждые компоненты».

Свои обвинения автор публикации подтверждает примерами: «...В стихотворении С. Ан-ского “Клятва” – гимне “Бунда” – пропали ключевые слова: “Мы клянемся в безграничной верности „Бунду“”. В “Колыбельной...” И. Мангера появились овцы, которые хотят за Синай. Героиня стихотворения М. Гебиртига “Рейзеле” просит возлюбленного приходить к ней исключительно в “филактериях и маген-довиде” (в оригинале Рейзеле связала ему “тфилин-зекл” – мешочек для тфилин с изображением звезды Давида – и просит рассказать об этом в молельне)».

И Сорокина делает бескомпромиссный вывод: «...с Антологией не получилось», – перечеркнув таким образом огромный подвижнический труд В. Богуславской.

Неужели Анне Сорокиной, руководителю Идиш-центра Московского гилеля, неизвестно, что филактерии и тфилин – одно и то же? А маген Давид и есть Звезда Давида?

Что же касается стихотворения Ан-ского, то оно стало гимном Бунда уже после того, как было написано. Клясться в единстве – не шире ли это и важнее, чем сугубо в верности Бунду?

Таких «критиков», как Сорокина, Корней Чуковский называл буквалистами, поясняя, что буквализм – крохоборческое внимание к частностям.

В переводах В. Богуславской для буквалистов – большая пожива. Она переводит не столько слова, сколько мысль и стиль автора, и потому в ее переводах немало таких якобы недопустимых «неточностей», к которым придралась Сорокина. Борьба с буквализмом началась не сегодня. Переводчикам и критикам приходится вновь и вновь доказывать, что переводчик – не копиист, а художник, он не фотографирует подлинник, а творчески воссоздает его. Можно привести десятки примеров того, как при кажущейся большой словарной близости к подлиннику перевод получается неудачным и, наоборот, он превосходен, если переводчик пренебрегает мнимой точностью и не стремится затолкнуть в него весь авторский текст.

Сорокина не находит для Богуславской доброго слова. В Антологию включено 476 стихотворений, из них 271 в переводе В. Богуславской. И ни одно из них не вызвало у автора статьи – не говорю уже восхищения, – но хотя бы взвешенного, спокойного отношения. Разве, например, перевод стихотворения Аврома Рейзена «Ты спрашиваешь» не заслуживает самых восторженных слов? Разве, читая его, мы не задумываемся, не оказываемся в плену ассоциаций, не возводим написанное к общим вопросам человеческой жизни, не мечтаем, не философствуем? Было бы это возможно, если бы переводчица главным считала слова, а не то, что за словами? Но прочла ли Сорокина это стихотворение? И настолько ли хорошо знает украинский язык, чтобы почувствовать его? Само название, предпосланное ее критической заметке, заставляет в этом сильно усомниться.

А почему, например, Сорокина не отметила, что при переводе стихотворения Марка Варшавского «Ей лет семьдесят, он лет на десять старше» Валерии Богуславской нужно было найти пятнадцать (sic!) рифм к слову «старший». И она справилась с этой нелегкой задачей.

Переводя разных поэтов, Богуславская не только достигает адекватной передачи свойственной каждому из них строфики, ритмики и рифмовки, но также воссоздает их живую, естественную интонацию. А ведь интонация – основа стиха. Переводы Богуславской читаются удивительно легко. Их отличают четкий синтаксис, свободное дыхание, непринужденность дикции. В совокупности стихи в переводах Валерии Богуславской создают некую многоголосую, многокрасочную поэтическую картину еврейского мира. Увы, уже исчезнувшего.

Ничего этого Анна Сорокина не заметила и не отметила.

Несправедливая, пренебрежительная оценка переводов Богуславской объясняется, на мой взгляд, еще и тем, что Сорокина не относится к художественному переводу как к искусству. Язык этого «высокого искусства» ей не внятен. По своему психическому складу, по восприятию жизни переводчик художественных произведений должен быть поэтом. Но и критик, взявшийся судить о работе переводчика, тоже должен быть поэтом. Очевидно, Анна Сорокина – не поэт. Ее статья написана неряшливо, изобилует клише и канцеляризмами. Может ли человек, пишущий таким языком, судить о достоинствах «высокого искусства»?

*É. Diçéià*

*Ècàà*

## О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ЕВРЕЙСКИХ СТЕРЕОТИПАХ

*וְעַתָּה יֵדוּ*

В конце пятидесятых книга Леона Юриса «Исход» стала первым еврейским романом-бестселлером. Тираж сентиментальной эпопеи в духе историй про Дикий Запад – действие развивается в Палестине сороковых, есть и перестрелки, и первые поселенцы, сабры – превысил к середине шестидесятых пять миллионов.

Юрис проводил идею о евреях как о «народе-борце». Он открыто выражал свою ненависть к тем писателям-евреям, чьи книги в шестидесятых попали в списки бестселлеров: героем этих книг был совсем другой еврей – представитель среднего класса, уныло влачащий жизнь невротик из пригорода. Больше всего его возмущал Филип Рот, чей первый сборник, «Прощай, Коламбус», вышел через год после «Исхода». Рот был не из тех, кто смиренно принимает критику, он открыто отвечал на нападки Юриса – и в своих публичных выступлениях, и в интервью. Мы публикуем его эссе 1969 года «О некоторых новых еврейских стереотипах», которое завершило схватку двух писателей. Написано оно было в том самом году, когда на сцене появился страдающий синдромом тревожности герой Рота из романа «Случай Портной» – Александр Портной, ставший легендарным.

Леон Юрис скончался в 2003 году. Роман Филипа Рота «Человек как человек» вышел в мае 2006-го в издательстве «Хафтон Мифлин», в 2007 году вышел роман «Призрак исчезает», а в 2008-м – «Возмущение».



Я вдруг обнаружил, что живу в стране, где еврей стал – или пока что ему позволили считать себя таковым – культурным героем. Недавно по радио я слышал, как диск-жокей представлял песню из нового кинофильма «Исход». Исполнять ее должен был Пэт Бун<sup>11</sup>. Диск-жокей объяснил, что это «единственная авторизованная версия песни».

Кем? Для кого? Почему? Об этом диджей умолчал. Пару секунд эфир почтительно потрескивал, а затем мистер Бун взвыл:

*– Это моя земля,*

*Ее мне дал Г-сподь!*

Уж не знаю, поднимаюсь или спускаюсь я по культурной лестнице или же ухожу в сторону, когда вспоминаю, что песне «Исход» предшествовал кинофильм «Исход»<sup>[2]</sup>, а ему – роман «Исход». С какой стороны ни посмотри, не остается ни малейшего сомнения, что значительной части американской публики нравится образ еврея-патриота, бойца, вояки в боевых шрамах.

В интервью «Нью-Йорк пост» автор романа Леон Юрис заявил, что образ еврея-борца куда ближе к действительности, чем образы евреев в произведениях других еврейских писателей. Я так понимаю, что я и есть один из тех других, на которых намекает мистер Юрис, – одна женщина прислала мне вырезку из «Пост» и потребовала объяснений по поводу «антисемитизма и самоненависти», которые обнаружила в недавно опубликованном сборнике моих рассказов. Юрис сказал журналисту Джозефу Вершба следующее:

*– Появилась целая школа еврейско-американских писателей, которые заняты тем, что проклинаят своих отцов, ненавидят матерей и, заламывая руки, вопрошают, зачем появились на свет. Это не имеет отношения к литературе и искусству. Только к психиатрии. Эти писатели специализировались на чувстве вины. У них каждый год какая-нибудь книжка попадает в список бестселлеров. Меня тошнит от их мерзких творений.*

*Я написал «Исход», потому что мне осточертело извиняться или же не извиняться и оттого мучиться. Вклад, который еврейское сообщество нашей страны внесло в развитие искусства, медицины и в особенности литературы пропорционально превосходит нашу численность.*

*Я предпринял попытку рассказать об Израиле. Я, безусловно, пристрастен. Безусловно проеврейски настроен.*

*Писатель проходит через все то, через что проходят его читатели. Когда в Европе и в Израиле я собирал материалы для «Исхода», это и для меня стало откровением. И вот это откровение: мы, евреи, вовсе не такие, какими нас изображают. На самом деле мы были борцами.*

«На самом деле мы были борцами». Со столь пустым, глупым и голословным высказыванием даже спорить не хочется. Создается впечатление, что Юрис в одиночку решил вывести образ нового еврея, противопоставив его старому, выведенному в этих рассказах, где основная установка: «Джеки, веди себя хорошо – не дерись». Однако большого смысла в том, чтобы менять один примитивный лозунг на другой, нет. Лучше бы Юрис в свободное от откровений время прочитал новый роман Эли Визеля<sup>[3]</sup> «Рассвет». Визель – не еврейско-американский писатель, он венгерский еврей, живущий теперь в Нью-Йорке, и его первая книга, «Ночь», – это автобиографический рассказ о том, что пришлось пережить пятнадцатилетнему подростку в Освенциме и Бухенвальде, концентрационных лагерях, которые, как он пишет, «навсегда подорвали мою веру... уничтожили моего Б-га и мою душу, а все мечты обратили в прах». Вторая книга,

«Рассвет», рассказывает о террористическом движении в Палестине до того, как было создано Государство Израиль. Герой получил задание казнить английского майора, взятого террористами-евреями в заложники, и герой переживает несколько мучительных часов перед казнью. Мне бы хотелось объяснить Юрису, что еврей Визеля вовсе не горд тем, что оказался в роли борца, он не может найти оправданий своему поведению, поскольку еврейская традиция, в которой он воспитан, против воинственности и кровопролития. Но оказывается, что на самом деле нет никакой нужды объяснять это Юрису; если верить сообщению в журнале «Таймс», ему известно куда больше того, что он сообщил в «Нью-Йорк пост».

На Манхэттене, пишет «Тайм», капитан Йехиэль Аранович, 37 лет <...> в прошлом командовавший израильским кораблем «Исход», на котором прорвались в Израиль беженцы, высказал соображения о бестселлере (на сегодняшний день продано 4 миллиона экземпляров), в основу которого легли героические события 1947 года. «Израильтяне, – заявил он, – были, мягко говоря, крайне разочарованы этой книгой. В Израиле никогда не было людей, подобных персонажам этого произведения. В романе нет ни исторической правды, ни художественности». <...> Из Энчино, штат Калифорния, поступил ответ автора романа, Леона Юриса: «Можете сообщить, что я сказал: “Какой, какой капитан?” – и больше мне нечего добавить. Нападать на соперника слишком легкой весовой категории я не стану. Количество проданных книг говорит само за себя».

Обвинять человека единственно на основании того, как его процитировали в «Тайм», разумеется, не стоит; вполне вероятно, что «Тайм» нарочно забавляет своих читателей, представляя им классический стереотип – еврея-жулика, готового за хорошую цену продать что угодно. Было время, когда кое-кто из неевреев относился к евреям, ориентируясь на этот образ. Теперь они будут ориентироваться на образ, проданный мистером Юрисом, образ, с которым миллионы людей познакомились по книге, а еще несколько миллионов увидят на экране.

Есть Леон Юрис, который делает евреев и еврейство приемлемыми, обаятельными и привлекательными, а есть знаменитый оптимист и доморощенный философ Гарри Голден<sup>[4]</sup>. Образ еврея, каким его видит Гарри Голден, был отлично проанализирован в недавнем эссе Теодора Золотароффа «Гарри Голден и американская публика», опубликованном в журнале «Комментари». Мистер Золотарофф отмечает, что в трех книгах Голдена «Всего за два цента», «Только в Америке» и «Наслаждайтесь, наслаждайтесь!» он потрафил разом и еврейской ностальгии, и гойскому любопытству, что «он с угнетающей ясностью отображает в высшей степени жизненные проблемы и состояние нашего общества в последнее десятилетие – общества, которое исполнено добрыми намерениями, но, рассуждая о себе, грешит сентиментальностью, мягкотелостью и расплывчатостью. <...> Приправленные хреном “Манишевич”<sup>[5]</sup> путаные банальности среднего класса подаются [читателю] как вековая мудрость».

Золотароффу приходит на ум хрен; я же, говоря о Голдене, склонен к шмальцу<sup>[6]</sup>. Интересно отметить, что Голден, отвечая на замечания Золотароффа, сам ухитряется одной рукой все смазывать патокой, а другой ее стирать. В своей газете «Каролинский израильтянин» Голден пишет, что Золотарофф в корне ошибается, обвиняя его в том, что он приукрашивает жизнь нью-йоркского гетто. С характерной для него сдержанностью и рассудительностью Голден объясняет: «У нас, евреев <...> было не просто общество, но, честно говоря, целый еврейский город, и это чувство общности придает такую притягательность воспоминаниям о былом Ист-Сайде, по этой самой причине большинство американских евреев среднего класса облизывают пальчики, читая

все, что я пишу про нью-йоркский Нижний Ист-Сайд. На одном сантименте столь широкий интерес держаться не может». Следует писать «сентиментальность», и что же, если не она, может пробудить широкий интерес?

То, что Голден и Юрис так популярны у евреев, легко объяснимо. С одной стороны, есть радость узнавания, простое и незамысловатое чувство, которое возникает, когда видишь в печати слова кугл<sup>[7]</sup> и латкес<sup>[8]</sup>. Есть и романтизация самого себя – с одной стороны, еврейский писатель, признавши свое родство с Горацио Алджером<sup>[9]</sup>, сообщает нам имена юристов, кинозвезд, ученых и юмористов, воспитанных в еврейском Нижнем Ист-Сайде и достигших славы и богатства. Но чем объяснить интерес гоев? Четыре миллиона человек купили «Исход», два миллиона купили «Только в Америке»; не все же они евреи, не может такого быть. Откуда у гоев интерес к еврейским типажам, еврейской истории, нравам и устоям? Как вообще получилось, что «единственную авторизованную версию» поэт Пэт Бун? Почему не Мойше Ойшер<sup>[10]</sup> или Эдди Фишер?<sup>[11]</sup>



Золотарофф объясняет популярность Голдена тем, что Голден, помимо прочего, представляет читателю мир, в котором царят «живость, энергия, целеустремленность, самообуздание и, наконец, сердечность – то есть именно те качества, которых, как считается, не хватает нынешним семьям среднего класса, обитателям пригородов». В последнее время многих очень привлекает пресловутая еврейская эмоциональность. Люди, у которых хватает ума не вести с неграми разговоры про «чувство ритма», приходили и заводили разговоры о моей «сердечности». Они считают, что это очень лестно для меня и что так оно и есть.

Я не верю, что они понимают, насколько это сложно: чтобы быть сердечным, надо иметь сердце.

Я веду творческий семинар в университете штата Айова, среди моих студентов есть несколько евреев, в этом семестре трое из них написали рассказы о еврейском детстве, и во всех трех драматический накал был очень велик. Любопытно, а может, и не очень любопытно, но во всех рассказах герой – еврейский мальчик, который отлично учится, всегда аккуратно причесан и вежлив. Во всех рассказах, написанных от первого лица, речь идет о дружбе, возникающей между героем и соседом или одноклассником гоем. Гой всегда стоит на социальной лестнице чуть ниже – в одном случае он из семьи иммигрантов-итальянцев, в другом – американец в духе Тома Сойера, и он приобщает еврейского мальчика из среднего класса к миру плоти. У мальчика-гой уже имеется сексуальный опыт. Он не то чтобы сильно старше своего еврейского приятеля, просто он мог пуститься на поиски приключений, потому что его родители практически не обращают на него внимания – они или разведены, или сильно пьющие, или совсем необразованные и через слово чертыхаются, или же их не бывает дома и им не до того. Поэтому у их отпрыска полно времени бегать за девчонками. За еврейским мальчиком, наоборот, постоянно присматривают – и когда он спит, и когда учится, и особенно когда ест. Присматривает за ним мать. Отца мы видим редко, они с сыном, можно сказать, знакомы шапочно. Старик или работает, или спит, или же сидит напротив за столом и медленно пережевывает пищу. И все же отношения в этих семьях сердечные – куда сердечнее, чем в семье приятеля-гой, и главный источник сердечности – мать. Юного героя в отличие от Гарри Голдена и его читателей это не поражает. Сердечность не только согревает, она и стесняет: герой завидует тому, какие у мальчика-гой равнодушные родители, и прежде всего потому, что он куда свободнее в своих сексуальных исканиях. Религия здесь понимается не как ключ к тайнам Б-жественного и запредельного, а как ключ к тайнам чувственности и эротике, к возможности поприжать соседскую девчонку. Сердечность, которую воспевают еврейские сочинители, – это сердечность, как кажется, доступная гоям, точно так же, как сердечность, которой завидуют гои, читатели Гарри Голдена, это сердечность, которая, по его словам, дается евреям как нечто само собой разумеющееся.

Спешу отметить, что в этих рассказах девушки, с которыми сводит приятель-гой юного рассказчика, никогда не бывают еврейками. Еврейские женщины – это матери и сестры. А вождение направлено к Другой. Мечта о шиксе – аналог мечты гоя о еврейке с «арбузными грудями» (см. у Томаса Вулфа). Кстати, я вовсе не намерен умалять талант этих студентов, сравнивая их интерес к мечтам еврейского мальчика с той мечтательностью, о которой пишет Голден: герои этих рассказов неизменно понимают – когда товарищи-гои переезжают в другой район или же взрослеют, – что их собственное положение полно тягостных противоречий.

Голден и Юрис никого ничем не отягощают. Собственно, притягательны они во многом потому, что помогают избыть чувство вины, как реальной, так и придуманной. Оказывается, что евреи вовсе не несчастные невинные жертвы: они, пока их, как полагают, преследовали, жили не тужили в дружном кольце соплеменников и в кругу семьи. И вырабатывали, как написал один из процитированных Золотаровым рецензентов, «свой замечательный еврейский взгляд на мир».

Ах этот замечательный еврейский взгляд на мир – такой взгляд успокаивает совесть, потому что раз жертва вроде и не жертва, то и палач тоже не палач. Помимо прочих утешений, предложенных Голденом, подготовлен и аварийный выход для гоев, которые, если и не выказывали явного антисемитизма, то хотя бы испытывали к евреям недоверие и подозрение, то есть недолжные чувства. Голден уверяет их (как уверяет и евреев), что мы – счастливый, оптимистичный, симпатичный народ и что мы живем в наилучшей стране – разве его карьера не доказывает, что шовинизм Америки несколько

не изуродовал и не развратил? Вот вам он, еврей, – причем из тех, кто говорит во весь голос, – стал уважаемым гражданином в городе на самом Юге. Замечательно! Не в Швеции, не в Италии, не на Филиппинах. Только – говорит им Голден – в Америке!

Для некоторых совестливых, исполненных лучших побуждений гоев это – чудотворный бальзам, им не нужно больше мучиться виной за преступления, за которые они и впрямь не несут ответственности: это может снять груз с душ некоторых антисемитов помимо воли, которые не любят евреев потому, что не любят себя за то, что не любят евреев. Но, на мой взгляд, такие рассуждения говорят о неуважении к евреям и их трагической истории. Да и зачем отрицать, что гои вправе проявлять подозрительность? Почему бы им не быть подозрительными? Ведь, если уж человеку выпало родиться евреем, он верит, что во всех вопросах, жизненно важных для человека – в понимании прошлого, в представлении о будущем, в осмыслении отношений между Богом и человечеством, – он прав, а христиане нет. Будучи верующим иудеем, он наверняка должен приписывать наступившие в нашем веке крах нравственных устоев и разрушение духовных ценностей неспособности христианства выступать в качестве сил добра. Все так, но кто же станет говорить такое соседу? В американской жизни мы, скорее, ежедневно сталкиваемся с «социализацией антисоциального... окультуриванием антикультурного... узакониванием криминального». Это цитата из Лайонела Триллинга<sup>[12]</sup>, так он охарактеризовал то, что многие из его студентов говорят о наиболее экстремальных явлениях современной литературы. Для меня его слова еще более важны в плане культуры: я имею в виду сглаживание различий, которое происходит постоянно, ту мертвящую «терпимость», которая лишает сил, – для этого и предназначена, тех, кто чем-то отличается, разнится, восстает. Чтобы не рассматривать человека как серьезную угрозу, его можно утихомирить, сделав популярным. Теперь в пригородах постоянно устраивают вечеринки битников, но это нисколько не убеждает меня в том, что все люди братья. Напротив, они друг другу чужие: это приходит мне на ум всякий раз, когда я читаю газету. Они чужие, а зачастую и враги, и это потому, что нам следует – не «возлюбить друг друга» (это все равно что желать луны с неба), а жить, избегая насилия и не предавая друг друга, что, похоже, довольно трудно.



**В зале на процессе по делу А. Эйхмана.**

Да, конечно, евреям случалось прибегать к насилию. Именно о таких случаях Леон Юрис с гордостью рассказывает Америке. Чем это привлекает американских евреев, понять нетрудно, но еще раз спрашиваю: что в этом находят неевреи? Почему такое почтение к «единственной авторизованной версии» популярной песенки? И почему вообще песенка так популярна? А роман? А фильм? Для многих в Америке главная мысль «Исхода» оказалась такой притягательной и убедительной, что я спрашиваю себя, уж не имеет ли это произведение целью снять с души американцев тяжкий груз, а именно память о Катастрофе, об уничтожении шести миллионов евреев, об этом диком, бессмысленном, дьявольском кошмаре. Все равно что вскорости появился бы роман или фильм, который помог бы нам избавиться еще от одного мучительного кошмара – уничтожения жителей Хиросимы. В этом случае нам бы, наверное, рассказали историю и сочинили песню о прекрасном современном городе, восставшем из руин ядерного взрыва, о том, насколько богаче, здоровее, увлекательнее стала жизнь нового города – не сравнить со стертым с лица земли. Но так или не так, но кто в нашей предприимчивой стране поручится, что ничего подобного не случится в самом скором времени, – а пока что есть Голден, и он убеждает нас, что даже евреи в гетто были на самом деле счастливыми, оптимистичными, сердечными (а не мрачными, пессимистичными ксенофобами), и есть Юрис, который говорит, что не надо принимать во внимание еврейскую уязвимость и виктимность, так как евреи могут за себя постоять. И они постояли за себя. Журнал «Лайф» выходит с фотографией Адольфа Эйхмана на обложке, а через несколько недель на обложке красуется Сэл Минео<sup>[13]</sup> в образе еврейского борца за свободу. Преступление, которое человеческий разум не в силах ни осмыслить, ни оплакать, не в силах ни сострадать ему, ни отомстить за него, на которое не хватит ни горя, ни сострадания, ни мести, вроде бы частично отмыто, и, когда весы наконец начинают обретать равновесие, можно лишь вздохнуть с облегчением. Еврей уже не смотрит из-за кулис на преступления, он перестал быть излюбленной жертвой, он стал участником действия. Тем лучше! Добро пожаловать на борт. Человек с ружьем и ручной гранатой, человек, который убивает, борясь за свои Б-гом данные права (в данном случае, как сообщается в песне, за Б-гом данную землю) не может быть судьей другого человека, который убивает за то, что Б-г дал ему – согласно его представлениям и системе ценностей.

Мистер Юрис, открыв для себя, что евреи – борцы, преисполнился гордостью, преисполнились гордостью и множество его читателей-евреев, а читатели-неевреи испытали не столько чувство гордости, сколько облегчения. Однако герой «Рассвета», романа Эли Визеля о евреях-террористах, испытывает куда менее утешительные и радостные чувства. Его мучает стыд, одолевают сомнения, ему кажется, что он попал в вечный и безысходный кошмар. Сколько бы он ни говорил себе, что убивает, отстаивая правое дело, все, что было в его прошлом и прошлом его народа, убеждает его только в том, что нет ничего отвратительнее, чем выпустить пулю в другого человека. Он так много видел, так много выстрадал в Бухенвальде и Освенциме, что, стреляя, ощущает, как с английским офицером умирает он, прежний, и он становится еще одним палачом, которыми изобилует наш жестокий век. Он – один из тех евреев, которые, как Иов, не могут понять, зачем они были рождены.

<sup>[1]</sup> Пэт Бун (р. 1934) – американский певец, популярный в пятидесятых годах исполнитель рок-н-ролла.

<sup>[2]</sup> Фильм «Исход» режиссера Отто Преминжера вышел в 1960 году.

<sup>[3]</sup> Эли Визель (р. 1928) – писатель, родился в Венгрии, прошел концентрационные лагеря, после второй мировой войны жил во Франции, с 1963 года – гражданин США.

<sup>[4]</sup> Гарри Голден (наст. имя Гарри Голдхирш; 1902– 1981) – писатель и журналист, родился в гетто в Украине, ребенком был вывезен в США.

<sup>[5]</sup> Американская фирма, торгующая кошерными продуктами.

<sup>[6]</sup> Буквально: жир (идиш). Здесь: патока, сантименты.

<sup>[7]</sup> Запеканка (идиш).

<sup>[8]</sup> Оладьи (идиш).

<sup>[9]</sup> Горацио Алджер (1832–1899) написал серию весьма популярных, хотя и слабых в художественном отношении романов на тему «американской мечты».

<sup>[10]</sup> Мойше Ойшер (1907–1958) – исполнитель еврейских песен, киноактер.

<sup>[11]</sup> Эдди Фишер (р. 1928) – знаменитый американский певец.

<sup>[12]</sup> Лайонел Триллинг (1905–1975) – американский литературный критик и публицист.

<sup>[13]</sup> Сэл Минео (1939–1976) сыграл одну из главных ролей в фильме «Исход»

## РАССКАЗЫ

*Yò ãd Èádìò*

### Яйца динозавра



Сегодня после школы Узи пришел ко мне с книжкой про динозавров. Он сказал, что динозавры уже умерли, но по всему миру еще остались их яйца, что мы найдем эти яйца, и тогда у нас будут собственные личные динозавры, мы назовем их как захотим и сможем ездить на них в школу. Узи сказал, что яйца динозавров обычно находят в углу какого-нибудь двора, очень глубоко под землей. Тогда мы взяли из сарая тяпку и стали копать в углу двора за верандой Нетковичей, там, где они обычно ставят сукку. Мы копали часа два, до самой темноты, по очереди, но ничего не нашли. Узи сказал, что это недостаточно глубоко и что потом придется продолжить. Мы пошли умыться и вымыть руки у крана во дворе. И тут приехал бойфренд Рали на своем раздолбанном мотоцикле, этой вечно ломающейся таратайке. «Привет, ребята, – начал подлизываться он, – как делишки?» Узи ткнул меня локтем, и я сказал, что все в порядке и мы ничего такого не делаем. «Ничего такого с тяпкой? Ладно. Где твоя сестра?» Я ответил, что наверняка дома, и он пошел к нам в дом. Рали его любит, а я его терпеть не могу. Он ничего такого не делает, просто у него с мордой что-то не так. У какая-то такая морда, как у плохих парней из фильмов.

– Сегодня ночью нам придется копать дальше, – сказал Узи. – Встретимся во дворе в двенадцать ноль-ноль. Ты спрячь тяпку, а я принесу фонарь.

– Чего так срочно-то? – спросил я.

– Того, – огрызнулся Узи, – кто здесь разбирается в динозаврах, ты или я? Динозавры – это срочно.

В результате в двенадцать ноль-ноль пришел я один, потому что родители Узи поймали его, когда он пытался смыться. Я ждал ужасно долго, уж не знаю сколько, и как раз когда я уже решил идти домой, во двор вышли Рали и этот гад. Я боялся, что они меня увидят и пристанут с вопросами. Если бы я проболтался про динозавров, Узи в жизни меня не простил бы. Правда, я не боялся, что они наябедничают папе, потому что тогда Рали тоже бы схлопотала. Рали и ее гад уселись на скамейку, прямо около нашей ямы, и тут гад начал что-то с ней делать. Он расстегнул ей одежду и стал совать руки внутрь, и еще всякое, а она не сопротивлялась. На это уж совсем невозможно было смотреть, и я сказал себе: ну, все, будь что будет – и тихо пополз к балкону детской, а оттуда шмыгнул в свою комнату.

Мы копали только днем, ну, то есть, после обеда. Каждый день, кроме суббот, – по субботам семья Узи ездила отдыхать. И так пять месяцев. У нас получилась ужасно глубокая яма, и Узи сказал, что мы уже добрались до центра земли и что вот-вот появятся яйца динозавра. Я уже, в общем, давно в них не верил, но копать было легче, чем сказать об этом Узи. Я хотел, чтобы кто-нибудь сказал Узи, самому мне смелости не хватало. Когда-то Рали часто играла с нами, а сейчас почти совсем перестала со мной разговаривать, а если и разговаривала, то называла меня Йоси, а я это ненавижу. Сначала

она все время была с этим гадом и с его таратайкой, а в последние две недели он перестал приезжать, и она все время только спала и жаловалась на усталость. В среду утром ее даже по-дурацки вырвало в кровать.

– Фу, гадость! – сказал я. – Маме скажу!

– Если ты хоть слово скажешь маме, тебе конец, – сказала Рали очень серьезным голосом, и я слегка струсил.

Рали никогда в жизни мне не грозилась. Я знал, что это все из-за него, из-за этого гада на таратайке, и из-за того, что он с ней делал. Какое счастье, что он больше не приезжает!

Через два дня мы нашли яйцо. Оно было по-настоящему огромным, размером с арбуз.

– Говорил я тебе? – заорал Узи. – Говорил я тебе?!

Мы положили яйцо посреди двора и стали плясать вокруг него, взявшись за руки. Узи сказал, что теперь его надо высидивать, и мы по очереди высидивали яйцо больше двух месяцев. В конце концов оно лопнуло, но внутри вместо маленького динозавра оказался младенец. Мы ужасно расстроились, потому что на младенце нельзя ездить в школу. Узи сказал, что выбора нет, придется все рассказать моему папе. Папа пришел в ярость, стоило нам к нему подойти, – мы еще даже говорить не начали.

– Где вы взяли младенца? А? Где вы его взяли?! – все время орал он, а как только мы пытались что-нибудь объяснить, он орал, что мы все врем. В конце концов он нагнулся к Узи и надавил ему на плечо:

– Послушай, Узи. Ладно бы Йоси, – тут он показал на меня пальцем, – он ничего не понимает, он придурок, но ты же умный мальчик. Скажи мне, чей он, кто его родители.

– Немножко мы, – сказал Узи, – потому что мы высидели яйцо, так что мы как бы его папа и мама.

Папа так посмотрел на Узи, как будто сейчас убьет, но потом отвернулся от него и влепил мне пощечину.

Папа повез младенца в больницу, а мне сказал ждать у себя в комнате. Был уже почти вечер, но Рали все еще спала.

– Ты все время спишь, – сказал я, – как Спящая красавица.

Рали ничего не сказала и даже не пошевелилась.

– Ты, небось, проснешься, только когда принц явится, – сказал я, чтобы ее позлить, – принц на таратайке.

Губы Рали дрогнули, но ее рот не издал ни звука, а глаза остались закрытыми.

– Только ради него ты и встанешь, – сказал я, – а если у него лопнет колесо, то ты останешься в постели навсегда.

Рали открыла глаза, я был уверен, что сейчас она выскочит из постели и обогреет меня, но она просто заговорила, и глаза у нее были грустные-грустные.

– Ради чего мне вставать, а, Джо? Ради того, чтобы комнату убрать? Ради экзамена по Танаху?

– Я думал, ты захочешь встать, чтобы посмотреть на яйцо динозавра, его нашли мы с Узи, – сказал я. – Это должно было быть научное открытие, но ничего не получилось. Я думал, ты захочешь посмотреть.

– Что правда, то правда, – сказала Рали, – ради яйца динозавра стоит встать.

Она ногами откинула одеяло и села на край кровати.

– Тебя еще рвет? – спросил я.



Рали отрицательно покачала головой и встала.

– Идем, – сказала она, – покажи мне яйцо динозавра.

– Я же тебе говорю, – сказал я, – оно было испорченным и лопнуло, папа его забрал и погнал Узи домой, а мне дал пощечину.

– Ладно, – сказала Рали и погладила меня по плечу. – Тогда идем найдем другое яйцо динозавра, свежее.

– Не стоит, – сказал я, – только папу злить. Пойдем лучше выпьем милкшейка.

Рали надела босоножки.

– А что будет, если как раз в это время приедет принц на таратайке? – спросил я.

Рали пожала плечами.

– Он уже не придет, – сказала она.

– А вдруг? – настаивал я.

– Если вдруг, то он меня подождет, – сказала Рали.

– Конечно, подождет, – сказал я, – куда он денется? Его мотоцикл все равно никогда не заводится, – и, едва договорив эту фразу, я бросился бежать. Рали погналась за мной, но поймала уже только возле киоска. Я попросил большой вафельный стаканчик со взбитыми сливками, а Рали получила клубничный милкшейк.

## Пузыри

Ночью, когда жена засыпала, он спускался к машине и считал пузыри на переднем стекле. В салоне играло радио, там все время загадывали загадки, люди разгадывали их и получали призы. Кто ужин в китайском ресторане, кто косметический набор, – хорошие призы. Он слушал, считал пузыри на стекле и не мог разгадать ни одну загадку. Он лелеял сокровенную мечту подать в суд на компанию «Пежо».

В молодости он, кстати, хорошо разгадывал загадки. Тогда были другие передачи, и он часто звонил на радио. Он знал все ответы, но номера почти всегда были заняты. Он все не мог понять, почему когда-то он умел разгадывать загадки, а сейчас – нет. Он не знал, что у него в голове живут маленькие пиявки, все время пьющие его мозг через трубочку. Никто не знал. Он подхватил их еще в армии, на курсах, попив воды из кулера в учебном центре. Из этого кулера пила еще как минимум тысяча человек, и у них наверняка тоже были пиявки. И не то чтобы кто-то обратил внимание, это из тех вещей, которые никогда не обнаруживаются: без болей, без симптомов – просто скучающие пиявки сосут твой мозг.

Таких вещей вообще очень много, всяких болезней, которые никогда не обнаруживают. Например, его жена уже долгие годы страдает от пауков макраме, гораздо более распространенных, чем пиявки, и гораздо более заразных. Они передаются с рекламными проспектами, въедаются тебе в душу и начинают мелко-мелко ее заплетать.



В каждой точке, где у тебя крепится чувство, его выдергивают и заменяют бусинкой. Душа его жены теперь выглядела как голова Боба Марли, и она уже ничего не чувствовала, совсем ничего, а плакать могла только над тем, что в телевизоре. И никто ничего не сделал. Врачи были слишком заняты подниманием ее кальция, все время норовившего упасть, у них не было времени на глупости, тем более что она же не посинела и у нее не появились уплотнения в груди, – ну, подумаешь, почти перестала плакать. Ее муж даже радовался, что теперь она плачет только из-за телевизора, потому что в телевизоре показывали только ненастоящие вещи, и они не могли по-настоящему ей навредить. Не то что пузыри на переднем стекле: ты можешь ехать себе в один прекрасный день и вдруг – бум! – и все окно летит осколками тебе в лицо. Он насчитал уже пятьсот семьдесят четыре, и с каждым днем их прибавлялось. По радио теперь передавали такую громкую музыку, что не было слышно, как прихлебывают пиявки. Он подумал, что, когда дойдет до шестисот, он подаст на «Пежо» в суд.

### **Поднять планку!**

Когда Нанди Шварц, немецкий прыгун с шестом, преодолел со второй попытки барьер в шесть шестьдесят, он ни о чем не думал. У него в горле стоял ком размером с бильярдный шар, он смотрел, как его собственные пятки, не касаясь, проходят над планкой, и очень старался, чтобы из глаз не потекли слезы. Он погрузился в разложенный внизу матрас и дивился этим огромным, душащим его слезам, пока комментатор сравнивал его результат с результатом англичанина Боба Бимана. «Каждый, кто присутствует здесь сегодня, видит, как вершится история», – ликовали эти идиоты. И Нанди Шварц, единственный человек на стадионе, который в этот момент практически ничего не видел, вскинул руку, приветствуя камеры.

Автоответчик Нанди ничего не говорил, только дерзко и лаконично присвистывал. Это не помешало представителям компании «Келлогс» оставить на нем три сообщения. «Поднять планку!» – таков был предложенный ими лозунг новой рекламной кампании с участием Нанди, – «Восемь витаминов вместо шести!» Девяносто тысяч долларов. Нанди не слышал этих сообщений, он как раз был в душе. Лежал, скрючившись, в позе эмбриона на кафельном полу. Позволял горячим струям обжигать спину. Пар валил из раскаленных пор Нанди, как из ржавого чайника. А он держал во рту большой палец и лежа мочился в воду, глядя, как желтая струйка вьется в направлении стока. Девяносто тысяч долларов могли бы его обеспечить, но, к сожалению, он уже был обеспечен двухъярусной пятикомнатной квартирой в северной части Бонна. История лежит на кафельном полу, высасывает из пальца воспоминания о своих многочисленных достижениях. Кроме денег, почета и здоровья у него было шестьдесят шесть женщин. У каждой своя история, а у некоторых даже по несколько историй. Если он захочет поднять планку, придется искать даму-профессора старше пятидесяти трех, а если он захочет понизить планку, придется найти кого-нибудь моложе шестнадцати с легкой степенью умственной отсталости.

### **Подлинный победитель предварительного тура**

Раньше они часто говорили о жизни, о жизни вообще: «мне хорошо, мне плохо, скучаю по такой-то, хочу того-то, ищу новые цели». Обычно они привирали, не специально – просто так получалось, и постепенно это стало надоедать им обоим. Тогда они перешли к другим темам – в основном к спорту и бирже. Пока у Узи не возникла идея

«теста четырех кружек пива». Идея была проста: каждые три недели они приходили в паб и спрашивали по четыре большие кружки пива на каждого. Первую надо было прикончить, не сказав ни слова. После второй они потихоньку начинали говорить о своей жизни, и после третьей продолжали, и после четвертой тоже. Они всегда оставляли хорошие чаевые, иногда блевали, хозяева паба уже привыкли к ним. Потом Эйтан ушел на месяц на военные сборы, а когда он вернулся, у Узи был небольшой аврал на работе, так что они не виделись почти полтора месяца. За эти полтора месяца Эйтан отпустил себе этакую стильную богемную бородку, а Узи успел три раза бросить курить.

– Сегодня каждому придется выпить по восемь, – сказал Узи, входя в паб, – чтобы наверстать упущенное.

Узи улыбнулся. Они плохо держали банку, даже два литра пива на человека им было многовато. Телевизор в пабе был включен без звука, там показывали сводку результатов первого раунда Кубка наций.

– Ты посмотри на этого счастливого брита, – засмеялся Узи, указывая на какого-то худющего парня, бесновавшегося на экране. – С чего он так радуется? Всех-то дел – прибежал первым в своем забеге в предварительном туре предварительного тура какого-то занюханного кубка, какого-то пре-Евровидения легкой атлетики. А скачет так, как будто выиграл как минимум три платиновые олимпийские медали!

– На Олимпиаде у европейцев вообще нет шансов на таких дистанциях, африканцы их лопают с потрохами, – сказал Эйтан. – Все, что им остается, – это Кубок наций.

– Ну, может, и так, – не сдавался Узи, – но отсутствие шансов на Олимпиаде – это же не повод радоваться. Кроме того, он и тут еще не победил, это только первый раунд.

Они прикончили по первому пиву, а затем и по второму. Узи спросил Эйтана, как было на сборах, и Эйтан сказал, что сравнительно сносно. Потом он спросил Узи, как проект.

– Ничего, – сказал Узи, – вполне ничего. Просто в последние месяцы меня как-то тошнит от работы. Прихожу без радости, работаю без радости, ухожу без радости, как-то так.

Они выпили по третьему пиву, и Эйтан сказал, что бывают такие периоды, они как приходят, так и уходят. Он держал банку гораздо лучше Узи. Когда они блевали, блевал в основном Узи. По правилам Узи тоже должен был в чем-нибудь признаться, но он ничего не сказал, а только стрельнул у официантки сигарету, закурил и уставился в телевизор. Теперь там шла какая-то комедия с Долли Партон и Кенни Роджерсом. Эйтан усмехнулся и сказал, что при желании можно попросить включить звук. Узи даже не отреагировал.

– Я думал, ты сказал, что иглоукалывание помогло, – сказал Эйтан, глядя на то, как Узи добывает сигарету, осторожно удерживая обжигающий пальцы окурочек.

– А, этот Вайс просто шарлатан, – процедил Узи, – говно это иглоукалывание.

Это была дешевая сигарета без фильтра. Узи сделал последнюю сильнейшую затяжку, и сигарета исчезла как по волшебству. Ее не надо было даже гасить, от нее просто ничего не осталось. Они приступили к четвертому пиву, Эйтан одолел его с трудом, его ужасно тошнило, а Узи как раз казался вполне спокойным и попросил у официантки еще одну сигарету.

– Если честно, – сказал Узи, испепелив и эту сигарету, – мне довольно-таки сильно надоело.

– Курить?

– Вообще все. – Узи потыкал пальцем в дно пепельницы, как если бы пытался потушить ноготь. – Все. Все это совершенно не имеет никакого смысла. Знаешь такое чувство, когда ты приходишь куда-нибудь, сидишь и спрашиваешь себя, что ты здесь делаешь? Так и я, все время смертельно хочу уйти. Где бы я ни был – уйти куда-нибудь в другое место. Бесконечно, я тебе клянусь, я бы уже покончил с собой, но я же трус.

– Прекрати, – осторожно сказал Эйтан, – Это не ты говоришь, это пиво говорит. Завтра ты проснешься с дикой головной болью и поймешь, что все это просто глупости. Может, ты даже решишь бросить курить.

Узи не засмеялся.

– Я знаю, – процедил он, – я знаю, что это все пиво, завтра я запою совсем иначе. Я думал, в этом весь смысл.

Домой они поехали на такси. Сначала такси довезло до дома Узи.

– Береги себя, – обнял его Эйтан, – смотри не делай глупостей.

– Не волнуйся, – улыбнулся Узи. – Я с собой не покончу, мужества не хватит. Если б я мог, я б уже давно это сделал.

Потом такси подъехало к дому Эйтана, и он поднялся к себе. У него в тумбочке был пистолет. Он купил его еще во время офицерской службы. Не то чтобы он сходил с ума по оружию, но надо было или купить пистолет, или каждый раз, выходя с базы домой, расписываться за М-16. Эйтан достал пистолет из тумбочки с бельем и зарядил его. Он поднес его снизу к подбородку, кто-то рассказал ему, что, если стрелять снизу, это разрушает кору мозга. Если стрелять в висок, пуля проходит насквозь, и можно остаться овощем. Он снял оружие с предохранителя.

– Если я сейчас захочу, я выстрелю, – сказал он громко.

Он отдал мозгу приказ нажать на курок. Палец подчинился, Эйтан остановил его на полпути. Он мог, он не боялся, сейчас оставалось только выяснить, хочет ли он. Он колебался несколько секунд; в целом жизнь виделась бессмысленной, но в частности он был вполне доволен, не всегда, но часто. Он хотел жить, действительно хотел, вот и все. Эйтан отдал пальцу еще один приказ, чтобы убедиться в честности с самим собой. Палец снова продемонстрировал готовность, он вернул предохранитель на место и разрядил пистолет. Он бы никогда в жизни не стал проделывать ничего подобного, если бы не выпил четыре кружки пива, он бы придумал отмазку, сказал бы себе, что это дурацкий детский тест, что это ничего не значит, но, как правильно заметил Узи, в этом-то и был

весь смысл. Он вернул пистолет в тумбочку и пошел в ванную проблеваться. Затем он сунул голову под струю в умывальнике. Прежде чем взять полотенце, он посмотрел на себя в зеркале. Худой, с мокрыми волосами, лицо немного бледное, как у того бегуна в телевизоре. Он не скакал и не визжал, но еще никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо.

*Ī āāāā ĩ ēāēō à Ēēī īō Āīōāēēē*

Переводчик благодарит за помощь и советы Дмитрия Рубинштейна

*Ā ĩāēē «Īōīçā āāāēēēēē ēēēēē» ēçāōāēūōāī «ōāēō» āōīāēō ē  
āīīōīēō ĩāīōī ēē āāīēāçīā Ÿō āāōā Ēāōōō*

## СТАРИК, КОТОРЫЙ ЗАБЫЛ УМЕРЕТЬ

*Áààèä Ì àðèèø*

Окончание. Начало в № 11, 2008

В последний раз человек появился здесь прошлым летом, и то был мертвый человек. Он, как видно, шел с верховьев Ледника, лошадь его пала, а сам он сорвался со скалы. В курджуне, который он тащил с собою, Кубатбек нашел три десятка разноцветных пластмассовых мыльниц, наполненных коричневым опиесырцом. Было при покойнике и оружие – черная легкая винтовка с тремя магазинами к ней. Такую винтовку Кубатбек видел впервые в жизни и не знал, как с ней обращаться. Подумав и прикинув, он решил оставить все как есть: не трогать ни терьяк, ни ружье. Он понимал, что пропавшего хватятся опасные его товарищи, могут и найти. И если не досчитаются мыльниц или черной винтовки, подозрение падет на Кубатбека из ближайшей кибитки; и тогда ему головы не сносить.

Он отворил дверь, сколоченную крест накрест из ветхой дранки и обтянутую киичьей шкурой, и вошел. Проще всего было подняться, пока не поздно, по руслу Каинды, укрыться там в скалах и избежать тем самым встречи с незваным гостем. Но Кубатбек не чувствовал почему-то угрозы, да и любопытство его царапало: кто это едет? Сполоснув котелок, он установил его на треноге посреди кибитки, принес можжевельных веток для костра и сел обдирать и потрошить зайца. А всадник спускался.

Мерин скользил на крутой тропе, упирался передними ногами и поджимал задние. Чтоб не сползти к холке, Старик, откинувшись назад, почти стоял в стремях. Минут сорок занял этот спуск, не меньше. Потом тропа распрямилась и нырнула в лесок. Через две сотни метров появилась кибитка, над ее плоской крышей стлался голубоватосизый дымок. Старик подъехал и спешился не без труда: ноги не слушались и болели. «Хорошо еще, что болят», – мимоходом подумал Старик. Он был почти уверен, что это та самая кибитка, первая после спуска. Стучать в дверь было бессмысленно, ему и мысль такая не пришла в голову. Раз идет дым, значит, есть кто-нибудь живой в доме. Раз есть живой – значит, слышит, что кто-то подъехал. Зачем тогда стучать? Не зря же говорят: «Если видишь дым над юртой – поворачивай коня, заходи, дорогой!» Улыбаясь благодарно, он накинуд повод на вмурованный в стену кривой киичий рог, а потом мельком вспомнил свой коттедж в тель-авивском предместье – звонок, замок в стальной двери – и сплюнул в сторону. Кажется, он впервые вспомнил свой дом за эти три дня после отъезда.

Старик толкнул дверцу и вошел в кибитку. Отвернувшись от оранжевых в полумраке струек огня под котелком, Кубатбек смотрел на гостя. Лицо Кубатбека не выражало ни удивления, ни радости.

– Салам алейкум! – сказал Старик. – Я думал, тут Гульмамад живет, таджик. Он здесь?

– Садись, отдыхай! – Кубатбек указал на обрывок кошмы у костра. – Гульмамад в Джиргиталь ушел, давно уже. Там живет или умер. Ты турист?

– Не турист я, – сказал Старик, опускаясь на глиняный пол и трудно распрямляя ноги. – Просто пришел, хочу пожить тут. Или могу на Каинды уйти, там тоже кибитка раньше стояла. – Он взглянул на хозяина вопросительно.

– Кибитка та развалилась, – чуть помедлив, сказал Кубатбек. – Живи тут, если хочешь. Место есть, вода есть. Мясо есть – зайцы, – он кивнул на котелок над огнем, – киики. Всё есть.

– Пойду лошадь пушу, – сказал Старик, с тревогой думая о том, что сейчас придется подыматься на ноги. – Не уйдет лошадь-то?

– Куда она тут уйдет? – удивился Кубатбек. – Никуда не уйдет.

Выйдя на волю, Старик расседлал мерина и пустил его пастись. Мерин приник губами к траве, как к сладкой изумрудной воде. Ни мух здесь не было, на высоте, ни змей. По другую сторону широкого, выстланного галечником речного русла стояли бок о бок три шеститысячника, названия которых Старик позабыл. Ледяные вершины гор, остроконечные, в предвечернем нерезком свете отливали синим и малиновым. Над миром лежала живая тишина, никто ее не нарушал: ни птица, ни человек.

Перебросив курджун через плечо, Старик вернулся в кибитку. Кубатбек успел расстелить ситцевую тряпицу на полу, поставил на нее две пиалушки и красный, с оббитым носиком, чайник.

– Чай на траве завариваю, – сказал Кубатбек. – Сушу и завариваю. Пей!

– Иду, – сказал Старик и, опустив свой курджун у стены, огляделся. Кроме треножника с котелком и одеяла, набитого бараньей шерстью, в комнате ничего не было.

– Ты чего? – спросил Кубатбек.

– Куда бы паспорт спрятать, – сказал Старик. – А то затеряется, а потом...

И вдруг его осветило, как вспышкой молнии: «потом» не будет. Не будет у него никакого «потом», а только скорая смерть от раковой опухоли, и по этой причине он здесь, в горном раю под названием Голубая Могила.

– Не нужен тебе никакой паспорт, – услышал он Кубатбека, – кто его тут будет проверять! Это у прохожих людей проверяют, а кто на месте сидит, тому не надо. Садись, чай пей!

Тем временем поспела зайчатина. Кубатбек приправил ее неведомыми травами и листьями, и только соли не оказалось в вареве. Старик пожалел о том, что не запасся солью в Алтын-Кургане, а потом отмел от себя эти сожаления, как хлебные крошки ладонью: долго ли еще придется тосковать ему по сольце? И подивился: получалось так, что неизвестно – долго или коротко.



Ели молча, зачерпывая серыми оловянными ложками, какие были в ходу в сельских советских столовках. Остатками хлеба, привезенного Стариком, подчистили досуха стенки и донце котелка. От зайца остались одни косточки.

– У тебя собаки нету? – спросил Старик.

– Как нету! – сказал Кубатбек. – Есть собака. Бегает где-то.

– Дикая, что ли? – спросил Старик. – Какой породы?

– Собака и собака, – пожал плечами Кубатбек. – Днем бегают, а ночью приходит, спит тут, у кибитки.

– Ты ее кормишь? – продолжал расспрашивать Старик.

– Сама кормится, – сказал Кубатбек. – Я ее на охоту беру, она кииков на меня выгоняет. Без собаки малопулькой кого убьешь?

– Ну да, – сказал Старик.

– Ты зимовать здесь будешь? – в свою очередь спросил Кубатбек.

– Если доживу... – неопределенно ответил Старик.

– Болеешь? – поинтересовался Кубатбек.

– Болею, – кивнул Старик. – Я ведь сам издалека, с края земли. У нас там врачи сказали...

Кубатбек слушал вежливо, но без интереса: обстоятельства вчерашней жизни Старика в далеком краю не занимали его.

– Тебе мумиё надо, – сказал Кубатбек, – у меня есть. Хорошо помогает. Каждый день проглотишь по чуть-чуть – может, все пройдет.

– Ты мне дашь? – спросил Старик.

– На пустое брюхо надо, – сказал Кубатбек. – Завтра утром дам. И послезавтра, и потом. Пока не пройдет.

– Думаешь, пройдет? – с надеждою усомнился Старик.

Кубатбек молча взглянул вверх, в небо, лежавшее над потолком кибитки, и переменял тему разговора:

– Ты в карты играешь?

– Играю вообще-то, – сказал Старик.

– В «дурака с документом» играешь?

– С «документом» не слышал, – сказал Старик. Ему было неловко, что он не может составить компанию Кубатбеку.

– Давай тогда без «документа», – сказал Кубатбек, осторожно, как ценную вещь, вытягивая колоду залосненных, стесанных карт из-под бараньего одеяла.

За картами разговор пошел живей.

Говорили о том о сем, не придерживаясь одной линии, между сдачами и ходами. Известие о том, что Старик до приезда сюда, в Голубую Могилу, писал рассказы и романы, Кубатбек пропустил мимо ушей. Его интересовало, растет ли лук в родных местах гостя, на морском берегу, и разрешено ли там всякому человеку обзаводиться нарезным оружием для охоты на козлов. Старик взялся было рассказывать Кубатбеку об израильском Объединении охотников, но заметил, что хозяин реагирует на эту информацию неадекватно, и закруглил свой рассказ.

– Тут, знаешь, один парень шел два лета назад, – начал Кубатбек новую тему, – и околел. Опий нес, анашу. У него ружье было, черное такое ружье. Я его салом смазал, завернул в мешок, оно там лежит, наверху. Может, помотришь?

– А чего его смотреть? – спросил Старик.

– Я такое ружье никогда не видал, – признался Кубатбек и вздохнул. – Вроде не наше.

Решили идти наутро.

Лежа под овчинной шубой, на полу, Старик вспоминал мистера Бринка, обходительного господина. Смерть не пугала Старика, ее появление на сцене уже состоялось, и извечный вопрос «когда?» теперь отбрасывал четкую тень: скоро, вот-вот... Мучительный вопрос, отнимающий покой у здоровых, сильных людей, составляющих отважные планы на будущее. Другое его смущало: как доберется он пешим ходом до Ледника, на сбитых в кровь, неверных после двухдневного верхового перехода ногах? Как справится с нехваткой кислорода на высоте под четыре тысячи метров? Да и справится ли? «Будь что будет», – отступился он наконец и уснул с улыбкой.

Труп лежал под ледяной коркой, присыпанной сухим горным снегом. Кубатбек разбил лед и вытянул из щели ружье, завернутое в мешок.

– Вот, смотри, – сказал Кубатбек, развязывая мешок.

Старик привычно принял в руки американскую автоматическую винтовку М16 – этот черный «кадиллак» среди стрелкового оружия. С такой точно винтовкой он отвоевал две израильские войны; он любил ее и уважал, как только может человеческое существо уважать и любить механический неодушевленный предмет. Нежданная встреча со старой, надежной знакомой тронула душу Старика. Осторожно, двумя пальцами он потянул затвор, потом отщелкнул крышку на торце приклада: зеленая сумочка с развинченным на части шомполом, щетка, смазка – все было на месте. Радуюсь, Старик легко вскинул винтовку к плечу. Кубатбек одобрительно на него глядел.



– С такой красавицей мы кого хочешь тут достанем, – сказал Старик. – Хоть козла, хоть барса. У нее прицельность во-он до той скалы.

Кубатбек прищурился, примерился. Получалось здорово, сказочно получалось.

– И убьет? – уточнил Кубатбек.

– Еще как! – сказал Старик. – За километр убьет, ты не беспокойся.

Кубатбек тщательно, краем мешка обтирал слой сала с магазинов.

– Дай-ка гляну! – протянул руку Старик.

Нажимая большим пальцем, он выдавил несколько патронов из обоймы. Гильзы были чистые, без коррозии.

– Вот это подарок, елки-палки! – сказал Старик и закинул винтовку за плечо. – Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Ноги у него не ныли и не болели, а разреженный холодный воздух отдавал вкусом абрикоса.

Обратный путь показался легким. Войдя в кибитку, Старик первым делом разобрал винтовку, почистил ее и смазал. Потом, повторяя, то же заботливо проделал Кубатбек и уложил оружие на баранье одеяло. Как будто третье живое существо появилось в Голубой Могиле, сильное и располагающее к себе. Нет, четвертое: не следовало забывать и о собаке, она была близка людям – ближе, чем птица или мерин.

Вскипятили воду, заварили чай.

– Теперь без мяса не будем, – сказал Кубатбек. – Киика пойдем убьем, посушим.

– Когда хочешь, – сказал Старик. – Хоть завтра.

Ему хотелось закурить, глубоко затянуться дымом, но сигареты кончились – табаком он не запасся, посчитав, что все равно не угадает: либо не хватит курева, либо оно останется. Он, значит, оказался бы связан каким-то неестественным образом с этим запасом сигарет, как вольное Время с движением часовой стрелки на циферблате; и такая вынужденная связь представлялась ему унижительной. Он придумал иначе: припас одну все же, нераспечатанную пачечку на черный день, на последний – пусть лежит.

День катился за днем, вместе с солнцем, не оставляя следов. Старик податливо сбился со счета времени, он теперь не знал, воскресенье нынче, вторник или суббота, и это не мешало его жизни. Время было нетесно наполнено делами: заготовкой дров, охотой, уходом за мерином или игрой в подкидного дурака. Читать его не тянуло. Однажды ветреной ночью Старику привиделась его библиотека. Он глядел на полки с

сотнями книг, среди которых нарядным особняком стояли и написанные им самим, как на чужое достояние малознакомого ему человека.

Наутро, проглотив горошинку мумиё, Старик вспомнил эти картинки сна и удивился: он впервые увидел свой дом за стальной дверью, о котором, казалось ему, и думать забыл в диком мире, в Голубой Могиле. Ни жена не появилась на тех картинках, в приятном освещении, ни дети с внуками, ни персидский кот Глеб – а только книги. Тут было над чем задуматься.

В конце концов, книги, как и чада с домочадцами, являлись для него полноправной частью иерусалимского дома, оставленного им навсегда. Дом, со всем его содержимым, значил для него, Старика, несравнимо больше, чем собрание кирпичей и железобетонных блоков. Дом олицетворял собою родовой ствол, корни которого уходили в песок и камень почвы – уходили, после двухтысячелетнего отсутствия в родных пределах, еще неглубоко, пробивались трудно. Решение Старика уйти из дому и уехать умирать на край земли не было ни блажью, ни глупостью: вид кровати, лежа на которой ему неизбежно предстояло в самом скором времени пересечь границу между жизнью и небытием, приводил его в немую и бессильную ярость. Он не желал знать, где все это произойдет. В этом нежелании был заключен бунт, но не блажь. Глядя из-под овчинного тулупа на низкий и неровный потолок памирской кибитки, Старик без горечи рассуждал над тем, что корни его в израильской почве, возможно, еще недостаточно глубоки. Возможно. Будь он израильтянином во втором или третьем поколении, его бы не сдуло из Иерусалима никаким ветром. Он, может быть, безропотно принял бы свой приговор и покинул этот мир в собственном, недавно с конвейера, родовом гнезде, в окружении причитающих и плачущих родных и близких. Старик поймал себя на мысли, что рассуждения его носят несколько ернический характер, и слегка попенял себе за это. Другое его насторожило: вспомнив ночью о доме, он не усомнился в том, что оставил его навсегда. Что можем мы знать, раздумывал старик, о медовом наполнении этих заповедных слов – навсегда и навечно? Только безответственный человек, глупец может позволить себе брэнчать этими словами, подвластными лишь Главному Языковеду, вложившему звуки речи в наш рот. Откуда мне знать, растроганно размышлял Старик, надолго ли ушел я из дому, вернусь туда или нет? Кто знает, что случится со мной через час или день? В Голубой Могиле, в речной долине день выкатывается из-за горы подобно золотой бочке с горным медом, и ни деготь, ни яд не замутят его здесь и не отравят.

Старик привычно потянулся к блокноту в кармане куртки – записать фразу, а потом передумал: зачем это? Не будет больше книг, и записи с собой не заберешь. Но вот что удивительно: с самого отъезда не возникало у него необходимости рисовать буквы в блокноте – а тут вдруг явилось, словно острый стебель травы проклюнулся на пожарище.

Время клонилось к зиме. Ночами ветер трубил все сильнее, выдувал из кибитки дневное тепло. Кубатбек заводил разговоры о том, что хорошо бы выбраться в Алтын-Курган, выменять мумиё на патроны для малопульки, керосин, муку. Мумиё можно было раздобыть в верховьях Каинды – там Кубатбек знал неприметную каменную щель, на стенках той щели зрела целебная горная смола. Оттуда родом было и снадобье, которое Старик глотал по утрам, – но запас, хранившийся в трех спичечных коробках, подходил уже к концу.

– Мы знаем, как его искать, мумиё, – разьяснял и растолковывал Кубатбек. – Киик, когда ногу ломает, всегда ищет такую щель и лижет это мумиё. А мы, значит, смотрим, куда он идет, а потом сами приходим и берем.



Помимо него никто, скорее всего, к этой щели и не подымался в обозримом прошлом. Включая себя в множественное число, Кубатбек разумел весь горный народ, обитающий в памирских пределах и наделенный важными знаниями. А Старик к этому племени не принадлежал по праву рождения, поэтому вполне очевидные вещи от него были скрыты и требовали терпеливого объяснения.

– Поедем туда или пешком пойдем? – спросил Старик, передавая решение Кубатбеку.

– Сначала поедем, потом пойдем, – сказал Кубатбек.

Подседлали мерина и поехали – Кубатбек впереди, а Старик за его спиной, на крупе. Собака увязалась за ними, она ровно бежала, понунив голову. Долина сужалась, слева в нее уверенно врывался поток Сууксай – сильный, бугристый, как мускулатура атлета. Понукаемый Кубатбеком, мерин неохотно вошел в серо-бурую ревущую воду, ледяную, и она сразу захлестнула его выше седла. Потерянно бегая вдоль водяной кромки, собака тихонько подвывала. Мужчины молчали, вцепившись взглядом в кривую арчу на другом берегу, с каждым шагом приближающуюся – смотреть в поток нельзя было, вид мчащейся воды внушал головокружение, и человек без борьбы сползал с коня в реку.

Переправились. Через полчаса пути слева открылось узкое извилистое ущелье, усеянная козьими орешками звериная тропа круто забирала вверх. В горле ущелья, у развалин глинобитной кошары путники стреножили мерина и, с винтовками за спиной, ходко зашагали по тропе. Внизу, в полусотне метров, шибко бежала по чистому скальному ложу речка Каинды – зеленая прозрачная вода, украшенная кое-где сливками белой пены. Старик, счастливо дышавший на ходу, снова вспомнил о блокноте в нагрудном кармане, как о неразменном тайном кладе, надежно укрытом за семью замками.

Поднявшись близко к перевалу, они вышли к неприметной щели, черневшей высоко над тропой, на серой обточенной скале. Старик замедлил шаг, а потом вовсе остановился: добраться на двух ногах до этой пещерки не представлялось ему возможным. Остановился и Кубатбек, и вытер потный лоб рукавом.

– Пришли! – сказал Кубатбек. – Отсюда стрелять будем, камни отбивать. – И потянул малокалиберку из-за спины.

Хлопки выстрелов упруго прыгали по ущелью, небольшие, с ладонь, обломки камней скатывались на тропу из щели. Мужчины собирали камни, складывали их в стороне. Оббитые щеки камней были покрыты наплывом драгоценной горной смолы. Старик зачарованно следил за сыплющимися обломками, как будто вылетали они не из скальной щели, а из волшебной пещеры Аладдина.

– Ну, хватит, – сказал Кубатбек, оценив собранное. – Пускай дальше растет.

Они соскребли мумиё в помятую алюминиевую кружку. Можно было спускаться.

– На все хватит? – спросил Старик. – Хорошо бы лучка купить, а то ведь зима вот-вот, последние зубы попадают. – И удивился: что это ему пришло в больную голову? Какие там зубы? Какая зима для него? Хорошо бы дожить до понедельника, да и то ведь не знаешь, когда этот понедельник наступит... Старик улыбнулся своим мыслям, и улыбка его не была грустной.

– На все никогда не хватит, – убирая кружку за пазуху, безмятежно заметил Кубатбек. – Завтра с утра поеду в Алтын-Курган, там посмотрим.

– У меня тут деньги еще остались, – сказал Старик. – Возьми на всякий случай. За два дня обернешься?

– За два нет, – сказал Кубатбек. – За три.

Утро выдалось жемчужным, пасмурным. Накрапывал мелкий дождик. С окраины неба властное солнце прожигало водяную пыль над долиной и окрашивало пространство в голубое и желтое.

От порога кибитки Старик следил, как Кубатбек подъезжает к подъему, как мерин под ним встряхивает хвостом и вытягивает сильную шею. Получалось так, что, отправляясь в Алтын-Курган менять мумиё на патроны и лук, Кубатбек восстанавливает связь Старика с далеким теплым миром, раз и навсегда прерванную. Старик, стало быть, нарушает собственный выбор, отступает от него. Три дня он будет нетерпеливо ждать возвращения Кубатбека, гадая с любопытством, что привезет в курджуне посланец. Это было так, но Старик не испытывал ни сожаления, ни досады на себя – а только вслушивался в уверенный ход своего сердца.

Он вытянул из кармана блокнот, открыл его и, приладив на колене, записал посреди странички: «Старик, который забыл умереть».

Невнимательно глядя на удаляющуюся фигурку Кубатбека, Старик достал пачку сигарет, закурил и глубоко затянулся дымом.

## НАХАЛЫ И УМНИКИ

*Ēēāēā Nēī ēēād*

Окончание. Начало в № 11, 2008

Наша троица – Пинки, Башир и Дитя Zeitgeist – подъехали к Кенсингтонскому хранилищу ценностей. Подъехали в арендованном на день «форде». Башир сменил номера на поддельные дипломатические, что дало нам право проехать по Посольскому ряду, удобно расположенному в квартале от места нашего назначения и предназначения. Мы припарковались, пожелали друг другу удачи и разбились на две группы. Пинки вошел в псевдоготический кошмар первым, записался в журнале и отдал свой ключ клону Шварценеггера. Когда они спускались по винтовой лестнице, явились – с помпой – и мы. Я представил своего спутника как Башира, наследного принца иракского престола и перспективного клиента. Был вызван Васим. Он заметно нервничал. Когда пожимал нам руки, я отметил, что ладонь у него потная.

Он предложил показать нам хранилище и провел в служебное помещение, где здоровенный страж этого царства беспечно отворил железную дверь в хранилище. Едва дверь распахнулась, Башир двинул ее плечом, сбив охранника с ног. За этим последовал удар тупым предметом по голове, и это вырубил стража настолько, что он дал приковать себя к батарее. Васим непечатно выражался, но сопротивления не оказал. Охранник, сопровождавший Пинки, кинулся на шум, но, оказавшись лицом к лицу с усатым арабом, вооруженным револьвером, застыл как вкопанный. Мигом смекнув, что дитя пустыни с горящим взглядом готово применить оружие, благоразумный охранник, последовав примеру Васима, поднял руки, и ваш покорный слуга надлежащим образом надел на них наручники.

– Внизу еще кто-нибудь есть? – осведомился Башир. Понедельник был на исходе, и мы знали, что в это время здесь относительно пусто, а побрякушки, взятые на выходные, уже возвращены на место.

– Всего один посетитель, – ответил охранник.

– Великолепно! – сказал Башир и обратился ко мне: – Приведи его. – Пинки, которому было что терять, буянил куда активнее стражей, но его утихомирили и связали, как и прочих. Для большего правдоподобия Васима тюкнули по макушке рукояткой револьвера.

Наведя порядок в подвале, Башир сходил к машине за орудиями нашего нового ремесла. На обратном пути он закрыл Кенсингтонское хранилище на ночь и вернулся, ведя с собой плачущую администраторшу.

– Ну что ж, за работу! – объявил он.



Банковская ячейка открывается двумя ключами – ключом банка, который мы получили от Васима, и индивидуальным ключом владельца ячейки. В отсутствие последнего нам пришлось прибегнуть к дрелям и ломам, оказавшимся не менее эффективными. За работой я напевал первые строчки песни Нила Янга: «Хочу я жить, хочу давать, золотое сердце хочу искать». Хотя, по правде говоря, чувствовал я себя персонажем из «Тысячи и одной ночи», а не героем времен золотой лихорадки. Мне казалось, будто холодильный отсек на задах «Мясной империи Макси» волшебным образом преобразился, и заледеневшие куски туш вместе с лоснящимися внутренностями, и рубиновый фарш, и яшмовая печень, и жемчужная птица и впрямь претворились в схожие драгоценности. Мы все энергичнее и энергичнее взламывали ячейку за ячейкой. Башир порезал руку о зазубренный край испорченной дверцы сейфа.

– Смотрите! – воскликнул он и продемонстрировал кровотокающую ладонью. – Вот и стигматы. Теперь наше деяние воистину освящено!

Вскоре стало совершенно очевидно, что мы опустошаем самый щедрый из рогов изобилия за пределами Тауэра.

Взгляд Башира пылал как у религиозного фанатика.

– Это фантастика, мечта сбылась, – воскликнул он, – вот оно, преступление, не имеющее равных!

Зараженный его пылом, я сочинял газетные заголовки: «Дитя Zeitgeist замешан в миллиардной краже». И тут я сообразил, что знаменитыми становятся только пойманные преступники. Суть идеального преступления в том, что преступник остается анонимом. Прирожденного позера, который мечтает заявить о себе как о Рембрандте преступного мира, это не устроило бы. Достаточно ли Башир держит себя в руках, чтобы бежать от света рампы? Меня одолевали сомнения. Я стал подозревать, что он намеревался втайне оставить на месте действия свою метку. Больше мы там почти ничего не оставили.

Ночной сторож Посольского ряда только что не отдал нам честь, когда мы уезжали на нашем арендованном авто. Сокровища из машины в нашу мейфэрскую штаб-квартиру пришлось перетаскивать в несколько приемов. Ванну завалили банкнотами, кладовку – пакетами с кокаином. Часы «Ролекс» и «Картье» выстроили как оловянных солдатиков на ковре в столовой. Золотые монеты сложили столбиками. Были тут и бриллиантовое озеро, и рубиновый холмик, и серебряные джунгли, и самая настоящая гора золота.

– Мы точно станем миллионерами, когда избавимся от этого добра, – буркнул я.

– Идиот! – взорвался Башир. – Ты что, еще не понял, зачем я это сделал?

Он попал в точку. Я не понял, да и как понять, когда я и про себя не понимал, почему ввязался в такое рискованное дело. Разумеется, мне были нужны деньги, чтобы сбросить с себя иго Милл-Хилла и обеспечить себе независимость. Но только ли в этом было дело? Быть может, каждый удар по утробе запертой ячейки был схватками, потугами при рождении нового Александра, уже не нахального еврейчика, а полноправного члена высшего общества.

– Б-г ты мой, – сказал Пинки, вернувшись из полицейского участка, – так вот что такое богатство, от которого глаза разбегаются.

В ближайшие же дни он начал распродавать самые броские из побрякушек, и мы наконец смогли ходить по квартире, не жмурясь от их сияния. С очередной тайной встречи он вернулся с подарком для меня.

– Золота было так много, можно даже сказать, слишком много, и часть я отдал, чтобы из него отлили тельца. Подумал, может, ты подаришь его отцу – пусть повесит в витрине. Кто знает, может это поможет ему избыть боль от твоего отступничества.

Пинки был хорошим другом и заслуживал лучшего отношения. Само собой, когда рухнули мои планы и вместо обласканных солнцем берегов Средиземного моря я оказался в этом холодном исправительном доме, тельца бесцеремонно изъяли.

Настроение у меня паршивое. И меньше всего мне хочется видеть моего елейного кузена.

– Ной, ты меня не очень-то любишь и тем более не одобряешь, – говорю я. – Почему же ты так часто меня навещаешь?

Ной напускает на себя непроницаемость и не удостаивает меня объяснением.

Тем временем недокормленный представитель люмпен-пролетариата (у императора Макса он бы интереса не вызвал) ковыляет через комнату на костылях и опускается на стул напротив пергидрольной блондинки. Ее приветствия мы не слышим, в отличие от громогласного ответа посетителя.

– Дура тупоголовая! – вопит он. – Что ты несешь? Жизнь на этом не кончается. Главное – подольститься к инспектору по досрочному освобождению. Ходи на собрания, ни одного не пропускай. Не то просрешь все, как я. Я виню себя, хотя не вся вина на мне. Одна девица имела на меня зуб, вот и болтала направо и налево, что это я продал ей валиум. Б-гом клянусь, если бы это тебе помогло, я бы их всех бросил. Я люблю тебя. – Он ненадолго умолкает. – Почему ты не скажешь, что любишь? Хотя бы просто повтори. – Он снова замолкает. – Ну, как знаешь. Не будешь мне изменять? То есть когда выйдешь? – Опять пауза. – Скажи правду, – требует он. – Что это за мистер Грин тебя все время навещает? – Наконец она что-то отвечает. – Откуда я знаю? – кричит он. – Здешние ребята сказали, что он бывает здесь через день, вот откуда. Кто он такой? Сука! Почему не даешь жить спокойно?

Тем временем мой мистер Грин, о чьем присутствии я чуть не забыл, решает мне ответить.

– Тебе хочешь не хочешь приходится меня слушать, – говорит он, – и обходишься ты куда дешевле психотерапевта.

– Значит, тебе нужен взвешенный совет человека без высшего образования и тем более без нравственных устоев? – говорю я. – Видать, тебе и в самом деле туго.

– Я просто хочу, чтобы ты меня выслушал, – говорит он. – Случилось нечто неожиданное. – Его дочь отсутствует, из чего я делаю вывод, что дело тут в *cherchez la femme*<sup>[1]</sup>.

– Я – весь внимание, – взбодрившись, говорю я.

– Как тебе известно, – говорит Ной, – Роза требовала, чтобы ее возили к маме каждый день, после школы. Мне было тяжело смотреть, как девочка в ее тринадцать нежно гладит мать по лбу, а та не отвечает ей никак. Роза каким-то образом не упала духом, не ожесточилась, она понимала и прощала материнское небрежение. Она – удивительный ребенок, дочь своей матери. Тем не менее я чувствовал, что мне нужно пообщаться с учителями – хотя бы убедиться, что у нее нет проблем с учебой, что нет признаков депрессии, которые я проглядел бы. Меня уверили, что ничего подобного не наблюдается. «Не волнуйтесь, я за ней присмотрю, – сказала мисс Типтри, ее классная руководительница, – мало ли что».

Состояние Черити стремительно ухудшалось, и я все чаще навещал ее в Бельмонт. Сначала я сидел с мисс Типтри в холле, потом она стала приглашать меня к себе в кабинет – там она, бывало, держала меня за руку и плакала. В тот день, когда рухнула последняя надежда, я из палаты номер одиннадцать направился напрямик в школу. Я повторил мисс Типтри слово в слово все, что мне сказала врач-консультант со слезами на глазах, и мисс Типтри сжала мою руку. «Ной, по-моему, ваша жена умирает». Она не произнесла этого вслух, но явно подразумевала, что чем скорее это произойдет, тем лучше. Мисс Типтри еще сильнее сжала мою руку, когда я объяснил, что альтернативой может быть никак не ремиссия (не говоря уж об излечении), а набирающая силу агония, отчего желание, и вполне естественное, чтобы Черити не умирала, приобретает оттенок садизма. Тем не менее желать ее смерти я тоже не мог. Согласись, дилемма душераздирающая, но об этом ли я тогда думал? Нет, меня волновало, как мисс Типтри откликнулась на мое горе. Скажи, Александр, каким чудовищем надо быть, чтобы находить удовольствие в описании подобных мерзостей?

– Ной, – говорю я, – боюсь, мы с тобой схожи куда больше, чем готовы признать. Мы оба дешевые трепачи, мы беззастенчиво пользуемся другими для достижения своих целей. Я обворовал неизвестных мне держателей ячеек в Кенсингтонском хранилище, причем многие из них и сами были гангстерами, а ты заимствовал муки Черити. Я не философ, но, на мой взгляд, твой грех мерзее моего.

– Ты еще не слышал худшего, – говорит Ной.

Как это забавно. Визит моего братца оказывается куда интереснее, чем можно было ожидать.

– Не прошло и месяца, как Черити умерла, – продолжает он. – Я повез Розу в Египет и с мисс Типтри встретился... только три недели назад. Была суббота, я завез Розу к подруге, которая пригласила ее с ночевкой. Назад я ехал по Виктория-стрит и притормозил около «Рога носорога» – пропустить машину, выезжавшую с парковки, и вдруг сам решил туда заглянуть: вечер был теплый, домой возвращаться не хотелось.

Я оказался старше всех посетителей бара за исключением хозяина. Большинству из них было лет двадцать, а то и меньше того. Развлекали публику четверо псевдоальбиносов, которые вообразили, что они в Мемфисе, штат Теннесси. «Я стою на перекрестке, – выл певец, – и, по-моему, тону». Сам себе я казался ожившей окаменелостью и уже собрался сбежать, но тут, к своему удивлению, заметил мисс Типтри – она под одобрительные вопли перевозбужденных шестиклассников направилась походкой профессионального боксера к музыкантам. Только когда она уже взобралась на помост, я сообразил, что она намеревается петь. Что делать – уйти, остаться? Любопытство оказалось сильнее замешательства. Я остался.



Начальные аккорды оказались знакомыми – это был гимн нашей далекой юности. «Буду ждать до полуночи... – грохотала она, – и тогда любовь придет...» Я отметил, что она вполне в образе: черные колготки, короткая юбка, джемпер в обличку. Более того, у нее и голос был хриловатый, но ласковый, Арета Франклин<sup>[2]</sup> с молоком и сахаром. «Буду ждать до полуночи я... этот час озарит любовь моя... лишь ты и я... лишь ты и я». Что и говорить, заблуждение это распространенное, но на миг мне показалось, что она обращается ко мне. На самом же деле, увидев меня, она завизжала:

– Б-же правый! – причитала она. – Что вы обо мне подумаете? Школьная учительница – сама строгость, – обещавшая присмотреть за вашей дочкой, так осрамилась.

– Давайте присядем, – сказал я. Она рухнула на стул.

– Седьмой джин с тоником, – сказала она, – это была ошибка, и еще какая. – До него я как-то держалась. – Она посмотрела на меня, глаза ее увлажнились. Погладила меня по щеке. – Вы такой грустный, – сказала она. – Если бы я только могла вас развеселить. Позвольте хотя бы угостить вас.

Я отвез ее домой.

– Спокойной ночи, лапуся, – сказала она, когда я остановил машину у ее дома, поцеловала меня в губы и убежала. С тех пор я стал часто бывать у мисс Типтри, но больше она меня не целовала.

– Папа, – сказала Роза, почуяв неладное, – ты ведь не встречаешься с мисс Типтри?

– Нет, – ответил я. – А если бы и встречался, что тут такого?

– Много чего! – воскликнула она. – Мисс Типтри – моя учительница.

Несмотря на запреты Розы я пригласил мисс Типтри на свидание по-настоящему. Все как положено, да ты же знаешь, Александр. Выходной день, она при параде, ты при параде, заезжаешь за ней, выскакиваешь из машины, распахиваешь перед ней дверцу. Едете в какой-нибудь шикарный ресторан, где к столу вас ведет Бела Лугоши<sup>[3]</sup>. Потом ты платишь по счету и, если повезет, оканчиваешь вечер с ней в постели. Короче, мисс Типтри, она же Билли, легко на это пошла – во всяком случае, на первую часть программы. Она припарадилась, я припарадился.

– Ну, что скажешь? – Она прямо на пороге крутанула пируэт. – Сексуальна до жути, а?

Так оно и было, но это была бравада – Билли пребывала в крайнем волнении.

– Неделя выдалась адская, – сообщила она, когда мы неслись по шоссе к Лондону. Она опекала одну проблемную девочку, тоже ученицу Бельмонта, и та отплатила за доброту, обвинив ее в сексуальных домогательствах. Я сказал, что с Черити случилась похожая история. В начале своей карьеры она приютила одну беглянку –

вместо того, чтобы сдать полиции. Та украла у нее кое-что из одежды, вдобавок полиция поставила Черити на вид. Я подумал, что у этих двух женщин много общего: обе истово заботились о детях, особенно о тех, к которым мир был жесток. Было одно существенное отличие: Билли, живая и здоровая, сидела рядом со мной в машине.

«Pont de la Tour»<sup>[4]</sup> был насквозь французским, там даже официанты словно сошли с плакатов Тулуз-Лотрека. К закускам я заказал розовое шампанское, а к оленине для Билли и утиному филе для себя – крепкое красное Рэнделла Грэма с виноградников Бонни-Дун, и сомелье со своим блокнотом походил на полицейского, берущего показания. В качестве аперитива моя спутница выпила двойную порцию джина с тоником. От алкоголя у Билли проснулся аппетит и наступила легкая амнезия: она отвлеклась от Бельмонта с его проблемами и сосредоточилась на настоящем. Язык у нее тоже развязался. Она подняла бокал и сказала:

– Может, тебе будет интересно узнать, что я бы не хотела провести этот вечер ни с кем другим.

Кофе с ликером мы пили в баре, где милейший чернокожий музыкант играл на пианино и тихонько напевал какой-то джаз. Обижало ли его, что все в баре не обращают на него внимания? Все, за исключением моей спутницы. Целый час Билли барабанила пальцами по столу, успев выхлестать четыре джина с толикой тоника. Набравшись таким образом духу, она подошла к пианисту и предложила свои услуги в качестве вокалистки. К сожалению, пианист не был так уверен, что слушатели горят желанием услышать «Мустанг Салли». Тем не менее Билли гнула свое. Она присела на корточки у инструмента и стала вести себя как «Грешный» Пикетт<sup>[5]</sup> с Вэном Моррисоном<sup>[6]</sup>. Пианист утверждал, что ему заказано давать микрофон певцам, более *outré*<sup>[7]</sup>, чем Элтон Джон. Менеджер, заметив, в какое затруднительное положение он попал, пришла к нему на помощь. Билли сообщила ей, что она настоящая красавица. Вернувшись за столик, она и официанта назвала красавцем. И попыталась погладить его по лицу. Тот отпрянул.

– Откуда будете? – спросила она.

– Из Польши.

– Да? Поляки тоже не дураки выпить.

Когда мы с Билли подружились, она предупредила, чтобы я к ней не очень привязывался – наверняка подведет. Именно этим она и занималась – обманывала мои ожидания, демонстрировала свою никчемность, портила вечер. Но я ей не отец и не судья. Я не хотел давать ей возможность сказать: «Говорила же я вам, что игра не стоит свеч». Ведя себя так, она избавлялась от ответственности, от страха неудачи, и, самое главное, так она могла не бояться, что ей причинят боль. Она старалась, чтобы ее пророчества сбывались – это были мины, которыми она обложила свое сердце. Недуг Черити был всепожирающий, он неумолимо глодал тело, в котором поселился. Недуг Билли тоже была саморазрушающим, и это превратным образом еще больше влекло меня к ней. Я был исполнен решимости обойти все препятствия и добраться до молочных рек с кисельными берегами.

На дороге из Сити все еще действовал полицейский контрольно-пропускной пункт, который установили из-за ирландских террористов. Теперь, когда их коктейли Молотова покоились до поры до времени в чуланах, бдительные власти занялись отловом водителей, которые коктейли не швыряли, а потребляли внутрь. Я, в отличие от Билли,

лько вязал, но алкоголя в крови у меня было предостаточно. Неужели такое возмездие было мне уготовано? Неужели судьба собралась покарать меня за попытку изменить покойной жене ночью за решеткой?

– Куда вы ездили? – спросил полицейский, когда мы подъехали к шлагбауму.

– В ресторан, – ответил я.

– Вы что-нибудь пили? – Отвечать утвердительно было слишком опасно. Разве можно, заказав бутылку, ограничиться парой бокалов?

– Алкоголь мне запрещен, – сказал я. – У меня рак.

Я поднялся в квартиру Билли. Она налила себе очередную порцию джина. Тоника у нее не было, и она добавила нечто под названием «Ум Бонго». Очевидно, тут-то остатки разума ее покинули, потому что она поцеловала меня. Губы у нее были мягкие, однако в ее поцелуе сквозило отчаяние. Мы опустились на пол, где отношения «родитель–учитель» перешли в фазу прямого контакта.

– Ого-го! – расхохоталась Билли. – Давненько я так не обжималась.

Я расстегнул ее блузку, под ней обнаружился белый лифчик. Черити была тоненькая и ничего такого не носила. Я принялся ласкать высвободившиеся груди. Билли прикрыла глаза и замурлыкала.

– Я лет двадцать не видел лифчиков в действии, – сказал я, надеясь облегчить переход к более интимным играм. Это оказалось тактической ошибкой.

– Я думала, ты другой, – сказала она, – а ты такой же, как все. Польстился на мои сиськи. Если быхватило духу, я бы их отрубилa. – Вся в слезах, она вскочила всклокоченной Венерой. – Кровь и песок<sup>[8]</sup>, – выла она, – кровь и песок. – Она плюхнулась на диван и стала бороться с бесами, овладевшими ею. Но не с невидимыми абстракциями вроде Иеговы, а с материальными – в духе чудовищ Мориса Сендака<sup>[9]</sup>. Эти жуткие монстры ее пугали. Она и ласкала их, и била, и шептала что-то им на ухо, и рыдала над ними, и отшвыривала в угол.

– Я, наверное, спятила, – причитала она. – Разговариваю с куклами.

– Лучше поговори со мной, – предложил я.

– А блузка у нее все еще была расстегнута? – спрашиваю я Ноя.

– Между прочим, да, – отвечает он.

– Значит, надежда оставалась? – говорю я.

– Оставалась, – отвечает он.

– Она с тобой говорила? – спрашиваю я.

– Говорила, – отвечает Ной. – Сказала, что до смерти устала быть сильной, быть душой компании. Сказала, что хочет, чтобы теперь о ней заботились. Я предложил себя.

– Это была бы огромная ошибка, – сказала она, – огромная ошибка для нас обоих. Либо я тебе причиню боль, либо ты мне.

– Не причиню, – пообещал я.

– Это все пустое, – сказала она. – Такой возможности у тебя не будет. Никогда, никому и ни за что я не дам с собой сблизиться.

Тут она мне рассказала о своем папаше – отличный был папаша, только пил много, а еще о бывшем муже, который ушел к одной ее коллеге.

– Ты его любила? – спросил я.

– Больше жизни, – ответила она. – И до сих пор люблю. В этом-то вся проблема.

– Он, наверное, просто спятил, – сказал я.

– Какой ты милый, – сказала Билли, повернулась ко мне лицом, и я поцеловал ее. – Скажи, а ты хотел бы, чтобы Черити вернулась? – спросила она.

– Конечно, – ответил я. А что еще я мог сказать? Но, честно признаться, в тот момент я не хотел рядом с собой никого, кроме Билли. Не значило ли это, что я подсознательно желал смерти Черити – чтобы иметь право волочиться за другими женщинами? Президент Картер однажды признался, что в душе он прелюбодей, так, может, я в душе убийца? Может, кровь Черити на моих руках? И если таково преступление, то каково же будет наказание? Я не верю в Б-га, а если б и верил, то мой Б-г был бы как те судьи, что любят выносить смертные приговоры. При мысли об этом я содрогнулся.

– Извини за дурацкий вопрос, – сказала Билли. – Давай забудем о наших печалях и потанцуем.

– Почему тебе нужно превращать банальное соблазнение в психодраму? – ехидничаю я. – Я думал, профессор Гамбургер – образец самовлюбленности, но ты его обошел; вот у тебя тоже эго так это эго. Позволь тебе напомнить, что Черити убил не ты. Ее убил рак. Она умерла от рака в палате номер одиннадцать. Сделай одолжение, братец, не морочь себя, не усложняй такую простую штуку, как похоть, приплетая судьбу Черити. Неужели так трудно признать, что Сисястая Билли поняла тебя как нельзя лучше, поняла, что на самом деле ты ждешь от нее плотских наслаждений?

Мы оба знали, что я прав, но Ной скорее откусил бы себе язык, чем признался бы в этом.

– Когда Билли сказала: «Давай потанцуем», она имела в виду не традиционное па-де-де, – он пренебрежительно пожимает плечами, – а то, что она называла «воздушными танцами», для них нужно лечь рядом на пол и махать руками под гром хеви-металл. Как тебе известно, Александр, у меня нет чувства ритма. Беспристрастный наблюдатель догадался бы, что я разыгрывал пантомиму, возможно, изображал охваченную паникой жертву кораблекрушения. Боюсь, никто не принял бы меня за горющего вдовца сорока с лишним лет.

Ничего не могу с собой поделаться. Мой смех не сдержать бы и Ассирийской плотине. Бедняга Ной разобиделся.

– Какой же ты нечуткий, все, что угодно, превратишь в балаган, – сетует он. – Над Танатосом и то смеешься. А уж над Эросом ржешь как лошадь.

– Не воспринимай ты себя так серьезно, – говорю я, – был бы во сто крат счастливее.

– Как ты? – срезает меня он. На это мне нечем ответить.

– Тем временем ангел-хранитель Билли, возбужденный «Бифитером» и «Пинк Флойдом», парил где-то высоко над вверенным ему телом, – продолжает Ной. – Наши руки соприкоснулись случайно, а потом уже и губы – неслучайно. Я расхрабрился, расстегнул ей молнию на юбке. Трусики у нее были под стать бюстгальтеру. Если я напоминал утопающего, то она выглядела как Эстер Уильямс<sup>[10]</sup> в бикини. Я сунул руку ей в трусики. Оказалось, что ягодицы у нее на удивление холодные.

– Можешь лечь на меня, – сказала она.

– Догадываюсь, что произошло дальше, – говорю я. – Вернее, не произошло. Тебе не обломилось, нет?

Ной мотает головой.

– Хотелось бы сказать, что этого не произошло, потому что я не мог воспользоваться слабостью пьяной разведенки, – говорит он, – или потому, что я все еще остро переживаю утрату Черити, только врать не хочу. Мое фиаско не имело ничего общего ни с моралью, ни со смертью, и истина, как это ни печально, в том, что я, жалкий хлюпик, просто испугался такой искушенной, как мне казалось, женщины. Но она вовсе не была такая уж искушенная, у нее было всего два любовника, считая мужа, – вот смех-то. Теперь уже есть третий, только это не я. Через неделю после нашего свидания к ней случайно заглянул давнишний друг, здоровенный детина, который на стул не садится, а седлает его. Он так и остался у нее, седлает теперь не только стулья Билли, но и ее саму. «Ной, – сказала она во время нашего последнего разговора, – это случилось, мой корабль приплыл в гавань».

А корабль Ноя, судя по его виду, затонул.

– Безмозглая неумная шлюха – вот кто тебе нужен.

Вид Ноя, исполненного отвращения к самому себе, мне так приятен, что я не желаю облегчать его страданий и не говорю, что он, скорее всего, легко отделался. Иначе я рассказал бы, какой новостью огорошила меня Фиона Буллфинч.

Она явилась неожиданно-негаданно пару часов назад, как всегда прекрасная, хотя на редкость неуместная, английская роза на куче навоза. Протянула мне корзинку с фруктами – будто я больной, а здесь не тюрьма, а больница.



– Фиона! – сказал я. – Какой сюрприз!

– У меня есть сюрприз покрупче, – ответила она. – Я беременна.

– Принимаешь поздравления? – осведомился я.

– Все зависит от того, как к новости отнесется отец, – ответила она.

– И кто он? – спросил я.

– Ты, – ответила она.

– Откуда ты знаешь, что не Башир?

– Потому что эта двуличная свинья отсидит двадцать лет, – ответила она, – а тебя выпустят через пять.

Итак на меня в одночасье свалился груз ответственности, а беспечные поступки повлекли за собой благотворные побочные последствия.

– Угощайся, – говорю я Ною и показываю на Фионину корзинку с фруктами. Он берет яблоко, но тут же хватает штуковину покрупнее и жадно к ней принюхивается.

– Перезрелая, – сообщает он, будто мне сейчас до этого есть дело. – Слишком резко пахнет, смесью женского пола и сладковатого дезодоранта. До ужаса похоже на то, как пахло под мышками у Черити.

– Ты что хочешь сказать, – обрываю его я, – что твоя жена воплотилась в израильскую дыню? – Неужели человек, который с пророческим пылом развенчивал материализм, окончательно свихнулся? Уж не решил ли он, что ему нужна более осязаемая поддержка, чем та, которую может дать незримая жена? Жалкий убудок, уходя, забирает дыню с собой, и я испытываю удовлетворение, пусть и не радостного свойства.

Обычно между часом и двумя хозяева оставляли магазин на кого-нибудь из продавцов и удалялись в комнату позади, где ели ржаной хлеб с пастроми (главный мясник требовал называть это сэндвичем с солониной) и смотрели дневные новости. Зачастую отец, еще с полным ртом, ругал репортеров, особенно когда они демонстрировали свою антисемитскую сущность и позволяли себе нелестные замечания об Израиле.

– Да угомонись ты Б-га ради, – говорил я, – не то язву наживешь.

В день, когда я угодил в яму, которую рыл отнюдь не себе, мы включили телевизор чуть позже и перечень новостей пропустили. Вместо этого мы попали на рассказ о кучке сердобольных истериков, которые блокировали английские порты, твердо решив не допустить экспорт телят по ту сторону Ла-Манша, где обитали жестокосердные любители телятинки.

– Бедные создания и так жестоко страдают, а им предстоят еще худшие муки – когда обитатели континента засадят их в кошмарные клетки, – говорила женщина в платке

и зеленых резиновых сапогах, по возрасту годившаяся Фионе Буллфинч в бабушки. – Это преступление против человечества, так же поступали фашисты с евреями.

– Ты слышал? – завопил отец. – Эта мерзавка сравнила уничтожение миллионов с пущенными под нож коровами, которые все равно пойдут на отбивные. Забавные у англичан приоритеты. Готов поклясться, большинство из них скорее всадили бы нож в своих соотечественников, чем в скотину.

Он все еще поносил извращенные нравы гоев, но я уже не слушал. Наверное, даже не дышал. Я чудом не грохнулся в обморок, когда дикторша сообщила, что в охоте на ограбивших Кенсингтонское хранилище ценностей наметился прорыв. На пятне крови, обнаруженном на месте преступления, сохранились отпечатки пальцев, совпавших с имеющимися в картотеке Интерпола. На экране возникло лицо Башира со зловещими усами. Его отрекомендовали как международного наркоторговца, связанного с террористами, сообщили, что он вооружен и чрезвычайно опасен. И посоветовали держаться от него подальше. Почему я не последовал этому разумному совету?

Башир возбудился донельзя.

– Ты слышал, как они меня назвали? – хвастался он. – Гений преступного мира!

Как мы его ни умоляли, затаиться он не пожелал. Наоборот, купил «феррари-тестаросса» и расплатился толстенными пачками денег из хранилища. Он переехал в шикарнейший отель Мейфэра и купал Фиону Буллфинч в королевской роскоши. Не знаю, когда за ним начала следить полиция, но на встрече Пинки с Баширом в «Хилтоне», где состоялась передача крупной суммы денег, она уже присутствовала. Мой ненаблюдательный сосед вернулся за полночь в сопровождении дюжины незваных гостей.

– Так-так-так, – сказал один из полицейских, потирая нос жестом, общим для полицейских всех времен, – похоже, вы не в силах изменить свои многовековые привычки – черного кобеля не отмоешь добела. – Башира арестовали тут же. Фиону тоже забрали. Когда она наконец поняла, что украшала себя ворованными драгоценностями, а не сокровищами иракской короны, она была оскорблена до глубины души. Обвинение в укрывании краденого оскорбило ее куда меньше.

Башир тут же во всем признался, хвастал, что это он придумал, организовал и привел в исполнение самое потрясающее преступление на памяти нынешнего поколения. Услышав, что нашу добычу оценили в двадцать пять миллионов, он расхохотался.

– Да там было без малого сорок! – настаивал он.

Власти были склонны ему поверить: сочли, что часть нашей наживы – контрабанда, поэтому сведения о ней отсутствовали. Только когда Баширу разъяснили, что в случае, если главарь банды сознался в содеянном, его присутствие в Центральном уголовном суде до вынесения приговора не требуется, он заткнулся и изменил заявление с «виновен по уши» на «невинен как овечка». Он решил выжать все, что можно, в отведенное ему, увы, весьма ограниченное время в суде – ведь для преступника это все равно что Вестминстерское аббатство для престолонаследника, готовящегося к коронации.

Суд и должен был стать его коронацией, публичным признанием его заслуг. Поэтому каждое утро он являлся в суд разодетый в пух и прах, в костюмах от Джорджио

Армани и темных очках. Он кокетничал с жюри, приподнимал очки, чтобы подмигнуть присяжным попривлекательнее. Однако, когда меня вызвали давать показания, он перестал кривляться, и вид у него сделался зловещий. Когда я поднял правую руку и поклялся говорить правду, он, не сводя с меня глаз, медленно провел пальцем по горлу.

Не могу не признать, основания на это у него были. Потому что я собирался рассказать, как зарождался наш заговор, назвать имена и кто в чем виноват. Я рассказал, как познакомил Башира с Пинки, как они нашли общий язык и составили список самых интересных вариантов в Лондоне. Кенсингтонское хранилище ценностей было в числе первых, а Васим, по мнению Пинки, мог сыграть роль Сезама для желавших его открыть. Он рассказал о финансовых затруднениях Васима – тот принес компании убытков на полмиллиона, сам задолжал банку шестизначную сумму, – и предположил: если на него слегка надавить, он с радостью согласится поучаствовать в ограблении собственной фирмы. Так оно и оказалось. Я к ним присоединился, потому что был нахалом и умником.

Однако, когда мне предъявили обвинение и я понял, что мне грозит пятнадцать лет тюрьмы, я себя таким уж умником не чувствовал. Родители отказались со мной видеться, но, спрятав гордость в карман, все-таки отправились к зазнайка-соседям, и те прислали своего сына, ушлого адвоката, и он нехотя явился и договорился об уменьшении срока – при условии, если я дам показания против своих бывших соратников, то есть донесу на них. Ной наверняка долго мучался бы, долгими тюремными ночами вел борьбу со своей совестью; для людей попроще, тех, кто знает, что у воров чести нет, вопрос был не этический, а практический. Что хуже: тюремное заключение или жизнь под угрозой смерти? Под этой угрозой все мы ходим, к тому же у меня было преимущество: в отличие от Черити, которую ее убийца застал врасплох, проник в ее гены, как Ли Харви Освальд, я своих врагов знал. Так что я согласился перейти на сторону противника. Этот переход обеспечил мне пять лет вместо пятнадцати и вклад в утробу Фионы. Чтобы я не забывал, что легко отделался, судья счел нужным напомнить, что мне до конца дней придется жить с оглядкой. Башир – с головы до ног в черном – улыбался улыбкой ангела смерти. Теперь никому не ведомо, умру я в тюрьме или в какой-нибудь палате номер одиннадцать.

Выслушав приговор, Башир поблагодарил судью.

– Я совершил тяжкое преступление, – сказал он, – за которое заплачу лучшими годами своей жизни. Тем не менее я не сожалею о своем выборе. Откажись я от этого плана, я лишился бы своего высшего достижения. Позвольте, я объясню. Вскрывая банковские ячейки, я чувствовал себя Б-гом: мои фантазии воплощались, можно подумать, я сотворял все, что находил, и каждая ячейка рождала новые идеи, была новым подтверждением моей гениальности. Может, я и безумец, но деньги никогда не были для меня главной целью. Я хотел создать произведение искусства, преступление, которое навсегда останется в людской памяти. И я сделал это. Я совершил *la cre`me de la crime*<sup>[111]</sup>. Больше мне нечего сказать. Теперь ведите меня в узилище, я получил удовлетворение.

– Башир – счастливый человек, – говорю я. – Жаль, я не могу сказать того же. – Я пристально смотрю на Ноя. – Судя по твоему виду, тебе тоже не помешало бы его получить, – говорю я.

– Чего? – спрашивает он.

– Удовлетворение, – отвечаю я.

Рози хохочет.

– Папа в расстройстве, – говорит она. – Он об этом не рассказывает, но, по моему, он влюбился в мою учительницу, красотку мисс Типтри. А теперь мучается ревностью: ходят слухи, будто она беременна. Вроде бы однажды в ее дверь постучался прекрасный незнакомец и остался у нее да навеки. Во всяком случае, так говорят. Надеюсь, так оно и есть: романтично-то как!

Я готов был обнять девочку: надо же, столько пережила, а надежды не теряет!

– Не кукуйся, – говорит она. – Мы принесли тебе подарок. Папа, покажи!

Ной достает фирменный пакет «Мясной империи Макси» и извлекает из него багрово-красный кусок вырезки.

– Это для твоего глаза, – говорит он и показывает на мой свежий фингал.

– Скажи, Ной, чего ты хочешь от жизни? – спрашиваю я и прикладываю мясо к распухшему веку.

– Того же, что и Башир, – отвечает он. – Оставить след, создать хоть что-то совершенное.

Я поворачиваюсь к Розе и понимаю, что он, по всей видимости, добился цели.

### *Í ãããã ñ ãí ãëëëëëã Áããí Í ðíðëëãë*

<sup>[1]</sup> Ищите женщину (фр.).

<sup>[2]</sup> Арета Франклин (р. 1942) – американская негритянская певица.

<sup>[3]</sup> Бела Лугоши (1882–1956) – американский киноактер венгерского происхождения, классический исполнитель роли Дракулы.

<sup>[4]</sup> «Башенный мост» (фр.).

<sup>[5]</sup> Уилсон Пикетт (1941–2006) – американский негритянский певец, популярный в шестидесятых годах. Один из его альбомов называется «Wicked Pickett» – «Грешный Пикетт». «Мустанг Салли» – его песня.

<sup>[6]</sup> Вэн Моррисон (р. 1945) – ирландский рок-певец, также популярный в шестидесятых.

<sup>[7]</sup> Рисковый (фр.).

<sup>[8]</sup> «Кровь и песок» – неоднократно экранизированный роман Бланко Ибаньеса, история любви матадора и великосветской дамы, приведшей героев к трагическому финалу.

<sup>[9]</sup> Морис Сендак (р. 1928) – американский художник и детский писатель, автор и художник книги «Там, где живут чудовища».

<sup>[10]</sup> Эстер Уильямс (р. 1921) – американская киноактриса, в юности была пловчихой.

<sup>[11]</sup> Лучшее из преступлений (фр.).

## НЕМОЙ МИНЬЯН

*Ունի Ամսն*

Продолжение. Начало в № 9–11, 2008

### ЕНТЕЛЕ

Ентеле – так звали дочку портного Звулуна, и каждый житель двора Песелеса и окрестных переулков радовался, произнося это имя. На нее обращали внимание, когда она была еще совсем ребенком. «Посмотри на эту Ентеле, на эту маленькую девчушку – готовая барышня!» Она осталась невысокой и к восемнадцати годам. Теснота и мрак двора Песелеса не дали Ентеле вырасти в высокое деревце.

Ее круглое личико, короткая шейка и точеные ручки лучились благородной бледностью. У нее были чуть-чуть пухловатые щечки, чуть-чуть широковатый ротик, редковатые зубки и коротковатый носик. Чтобы казаться повыше, дочка портного Звулуна носила туфли на высокой подошве, но все равно выглядела малышкой. Ентеле гладко расчесывала свои каштановые волосы на две стороны с пробором посередине. Ентеле уже красила губки и трясла звонкими сережками, висящими в ее маленьких ушках. Ентеле любила платья с укороченным рукавом до локтя, стянутым по краю резинкой. Поскольку она была продавщицей в бакалейной лавке, поверх платья она носила фартук с бретельками крест накрест через грудь и парой больших карманов по бокам. Хозяйка часто посылала Ентеле в другие лавки или к клиентам, вот она и ходила туда-сюда по переулкам, засунув обе руки в карманы фартука и крутя головой направо и налево, чтобы поприветствовать всех продавщиц.

– Доброе утро, – выпевала она своим детским голоском, и все продавщицы в лавках и даже уличные торговки с корзинами радовались ей.

– Ентеле, дорогая, как дела у родителей?

– Спасибо. А что у них может быть? Отец опять попал в больницу, да и мама нездорова.

– Ентеле, здоровья на твою головку! Не забудь позвать меня на свою помолвку, а потом на свадьбу. Чтобы мне, моим детям и детям моих детей было то, что я желаю тебе.

– Спасибо на добром слове. Когда у меня будет праздник, я позову всех своих друзей и всех друзей моих родителей.

Больше всех соседей по двору и переулку любила Ентеле владелица пекарни Хана-Этл Песелес. Может быть, потому, что она чувствовала вину за свой задрипанный двор, в котором должна жить в тесноте у бедных, больных родителей такая чудесная девушка, похожая на красивую птичку в тесной клетке.

– Почему бы тебе, Ентеле, не стать продавщицей в моей пекарне? – спрашивала Хана-Этл, и девушка отвечала:

– Благодарю вас, но я не могу уйти из бакалейной лавки. Хозяйка относится ко мне как к собственному ребенку и говорит, что я привлекаю клиентов.

Ентеле привлекла и парня. Однажды утром соседи и соседки поздравляли друг друга. Точно так же окошки домишек и домиков пересылали друг другу солнечных зайчиков с доброй вестью о том, что Ентеле, дочь портного Звулуна стала невестой.

Ее жених, Ореле, тоже родился во дворе Песелеса и жил там со своими родителями. Его отец, Ноехке Тепер<sup>1[1]</sup>, был изготовителем щеток, а вовсе не горшечником. Помимо этого он держал лавчонку, в которой продавались щетки, веники, лопаты. Его также звали Ноехке-крикун, потому что из-за любой ерунды он начинал вопить гласом медной трубы. Поэтому люди не могли понять, как у него вырос такой паренек. У Ореле были темные, сладкие глаза под шелковыми бровями и ресницами и такие сочные свежие губы, словно он родился в винограднике, а не в каком-то тухлом домишке во дворе Песелеса. Ореле и Ентеле выглядели вместе как пара голубков с розоватыми клювиками на покрытой желтым мхом крыше или как два подсолнуха, расцветших рядом с помойкой. Но этой парочке было негде жить, поэтому они и не играли свадьбу.

Люди еще надеялись, что домовладелица Хана-Этл Песелес позволит себя уговорить и переделает большую полуразрушенную молельню в квартиры. Но с тех пор как столяр принялся латать досками в молельне все, что еще можно было залатать, двор потерял надежду на квартирки для молодых пар. Сначала жители только дружелюбно посмеивались над завсегдатаями молельни, теперь же их возненавидели. Раньше во дворе боялись роптать на домовладелицу: ведь то, что они ей платят, разве квартплата? Теперь по поводу Ханы-Этл говорили со злобой. Ноехке Тепер орал, что он пойдет к домохозяйке первым. «Эту немую лялю», как он назвал своего деликатного сына-жениха, он с собой не взял. Взял с собой невесту, Ентеле, и ее отца, портного Звулуна, кашляющего еврея с согбенной спиной, похожего на низенькое дерево, растущее ветвями в землю. Когда они вышли со двора и направились к пекарне Песелеса, к ним прибилась еще одна соседка, Элька-чулочница.

Ее муж – рыночный торговец Ойзерл Бас, человек уверенный в себе и сильный. Он смотрит на каждого прищуренным глазом, в то время как второй его глаз широко открыт. Про него говорят, что он губит своих врагов на рынке холодным взглядом. Все дрожат перед ним. Тем не менее Элька, его жена, им командует. Соседки спрашивали себя и сами себе отвечали: с помощью какой такой силы Элька-чулочница затмила своих конкуренток в любви? Своей кислой физиономией и тощим задом она их затмила? Да ничего подобного! Своим извергающим пламя ртом она спалила конкуренток и так заболтала Ойзерла Баса, что он на ней женился. Но и Эльке с ее мужем приходилось ютиться в конуре. Так что в пекарне у домохозяйки она разоралась первая.

– Мы будем тесниться, как куры в курятнике, а эти геморройные сидельцы из синагоги будут занимать пол-этажа мужской молельни и половину женского этажа? Не доживут они до этого!

Элька видит, что домохозяйка смотрит на нее с удивлением и возмущением, готовясь спросить, сколько она платит за квартиру, чтобы высказывать такие идеи? Элька упреждает взрыв и заходится плачем: ее родители и даже дед с бабкой жили во дворе Песелеса. Так почему же из-за чужих бродяг она должна слышать от мужа горькие речи?

---

<sup>1[1]</sup> Тепер – «горшечник, гончар» (идиш).

Ойзерл говорит ей, что, если у нее не было двухкомнатной квартиры, ей не надо было выходить замуж.

– Если любишь, две комнаты не нужны. Если любишь, достаточно одной комнатки, – встречает Ентеле, и Хана-Этл, владелица пекарни, тает от удовольствия.

Отец Ентеле, портной Звулун с согбенной спиной, давится кашлем и говорит, сопя:

– Детям негде жить.

Теперь пришло время выслушать слово отца Ореле, щеточника. Ноехке Тепер – рослый и худой, с грубым, морщинистым лицом и жесткими, колючими бакенбардами. Его физиономия может служить вывеской для его лавки, где можно приобрести всякого рода щетки для уборки и чистки. Он тут же показывает, какой он крикун. Но вместо того чтобы начать проклинать просиживателей скамеек из Немого миньяна, как он и собирался, Звулун вдруг начинает выговаривать чулочнице, так он ненавидит Эльку и всю ее парафию.

– Мне нужна квартирка, чтобы мой сын и Ентеле могли пожениться. Если бы мне не предстояли расходы на свадьбу и будь мой Ореле добытчиком, как другие, я бы не выпрашивал бесплатной квартиры, как некоторые.

– Кто это «некоторые»? – подскакивает Элька-чулочница и бросается на щеточника – Разве ваш Ореле мужчина? Он же бесхребетный парень, молочный теленок. Девушки на него и не смотрят, вот он и стал женихом Ентеле. А она уж настоящая Ента!<sup>2[2]</sup> После свадьбы она сразу же возьмет мужа в оборот.

– Я с вами не ссорюсь. Если меня обижают, я слова не отвечаю, – поворачивает Ентеле свою короткую полную шейку и выглядит против чулочницы как рассерженный молодой и толстый гусенок против голодной, тощей, большой хищной птицы с длинным сухим клювом. Ентеле не боится, она знает: окружающие не допустят, чтобы ей сделали что-то плохое. Элька с ее большим ртом понимает, что все тут против нее, и не находит что ответить. Тогда начинает говорить Хана-Этл Песелес:

– Ну что же, детки. Дайте мне совет. Мне что, прогнать слепого проповедника? А может быть, венгерского раввина? Сначала его немцы выгнали из Германии, а теперь мне его выгнать из молельни, что на моем дворе? Я уже не говорю о том, что синагогу нельзя превращать в квартиры. Правда, в случае такой нужды в квартирах для молодых еврейских пар, может быть, и можно. Но если я велю аскетам уходить, они меня разве послушают? Так что же мне, полицию вызывать?

Каждое слово Ханы-Этл Песелес, произнесенное с мольбой в голосе и скорбью в глазах, отодвигает жителей двора все ближе к двери, пока наконец они не выходят на улицу растерянные и молчаливые.

---

<sup>2[2]</sup> Имя Ента в обиходной еврей



Вернувшись домой ни с чем, соседи еще больше злятся на столяра. Если бы этот недоделанный не вбил в свою деревянную голову, что он должен отремонтировать и украсить Немой миньян, от сидельцев молельни рано или поздно отделались бы. Летним вечером соседи сидят на крылечках и упорно смотрят на ворота, пока не показывается тот, кого они ждут. Вот он идет, этот милый человек, чтобы на него обрушился злой год! Во двор столяр притащился с ящиком гвоздей, с широкой пилой и большим тяжелым молотком. После дня работы в мастерской на заказчиков он идет работать в молельню с материалом, который заранее там приготовил. Жители двора окружают его и начинают проклинать: он бессердечный еврей, его ничуть не волнует, что молодым еврейским парам негде жить и производить на свет новые поколения евреев.

Столяр стоит как истукан. Вместе с тенью, которая тянется от его ног в сгустившуюся на земле голубоватую сумеречность, он выглядит как деревянный. Поскольку он уже слышал от жены, что двор Песелеса кипит и негодует против него, у него приготовлен ответ: он живет со своей семьей в одной половине подвала, а в другой расположена его столярная мастерская. По ночам он будет отдавать свою мастерскую молодой паре со двора Песелеса, чтобы она могла там спать. Когда до соседей доходит суть его плана, они с возмущением говорят: «Тьфу на тебя с твоими планами! У тебя только полголовы, недоделанный, недотепа!»

Рыночный торговец Ойзерл Бас сидит на крылечке и пьет чай, разговаривая тем временем с женой, Элькой-чулочницей: ну, чего она достигла со своим большим ртом? Сейчас двор Песелеса увидит, что он может. Ойзерл Бас спускается с крыльца ленивым шагом, расправив плечи. Он подходит к столяру, чтобы поговорить – руками. Но начинает он со слов:

– Послушай, трепло, если ты не уберешься из Немого миньяна по-хорошему, тебя вынесут оттуда в саване.

Элькум Пап бросает на базарного торговца взгляд, заставляющий вспомнить о разбойниках с большой дороги, и заносит над головой Ойзерла тяжеленный молоток.

– Прежде чем меня вынесут в саване, тебя унесут с проломленной головой!

Соседи отступают и начинают кричать базарному торговцу:

– Уходи! Он это всерьез!

Ойзерл Бас тут же отступает. Он специалист по дракам. Он сразу же понимает, что этот длинный с молотком шуток шутить не будет и что тут можно проиграть жизнь.

Соседи увидели, что надеяться больше не на что. Если бы все объединились, то столяра еще можно не пустить в молельню. Но как можно не пустить в нее аскетов, особенно если домохозяйка их поддерживает? Гнев против Немого миньяна был так велик, что, если какой-нибудь еврей со двора Песелеса хотел пойти помолиться, он шел в другую молельню. А тут вдруг Ентеле, дочери портного Звулуна, пришло в голову пройтись по Немому миньяну, так же как она ходила по переулкам с поручениями своей хозяйки к какому-нибудь клиенту или к продавщице в другой лавке.

Ентеле зашла в молельню в воскресенье днем, когда лавка была закрыта. Несмотря на это, поверх белого платица на ней был ее фартук с двумя завязками на плечах и оттянутыми боковыми карманами. В фартуке она выглядела хозяйкой и чувствовала себя уютнее. Привыкнув ходить при полном параде между двумя рядами продавщиц, стоящих у входа в лавки, и крутить головой в разные стороны, любезно желая всем доброго утра, Ентеле несколько растерялась теперь на пороге молельни. Аскеты сидели по углам за пюпитрами со святыми книгами и даже не заметили, что кто-то вошел. Но скоро Ентеле собралась с духом и подошла своей гуляющей походкой к слепому проповеднику реб Манушу Мацу.



– Доброе утро вам, ребе. Это я, Ентеле, дочка портного Звулуна. Я обычно помогала ребе подняться по ступеням в молельню. Ребе меня не помнит?

– Помню ли я? Конечно, помню, – радостно говорит слепец, отодвигает пюпитр и пытается найти рукой девчущку где-то поближе к полу.

Реб Мануш слышит веселый смех. Своим серебряным голоском Ентеле рассказывает ему, что она больше не маленькая девочка, как была, когда помогала ему подняться по ступенькам. Она уже выросла большая. Но ребе об этом не знает, потому что они долго не встречались. Она очень занята. Раньше она училась в школе, а теперь она продавщица в бакалейной лавке. Ентеле говорит, а слепец снова протягивает руку и ищет, пока не находит пухленькое девичье плечо, которое немного выше его пюпитра. От большого потрясения проповедник встает и ощупывает ее круглое личико.

– Ты действительно выросла большая. Я и не представлял, что ты так выросла. Я помню тебя вот такой маленькой, а твой голос до сих пор как у маленькой девочки. Уже время тебе, Ентеле, в добрый час стать невестой.

– Я уже невеста. Мой жених – Ореле Тепер с нашего двора, сын Ноекжешеточника. Но мы не можем пожениться, потому что нам негде жить. Хозяйка двора, Хана-Этл Песелес, поддерживает аскетов и не хочет переделывать молельню в квартиры.

Ентеле пропела это своим серебряным голоском, без каких-либо признаков огорчения, но проповедник остался сидеть в растерянности. Он слышал о претензиях соседей к завсегдатаям молельни. Но реб Манушу Мацу некуда деть себя целый день, некуда пойти, кроме как в Немой миньян. В синагоге Могильщиков, где он молится по утрам, проводит вечером урок для прихожан и проповедует по субботам и праздникам у священного ковчега, он не может найти себе места в течение дня. Когда молящиеся расходятся, там собираются попрошайки, которые ведут грубые разговоры и паясничают. В синагоге Могильщиков реб Мануш страдает и от того, что слышит каждое утро, как миньян за миньяном молятся скорбящие, читая поминальную молитву. Он проповедовал перед прихожанами: даже чтение поминальной молитвы по отцу может стать идолопоклонством, если молиться поспешно и не делать пожертвований. Хотя он и опирался в своей речи на пророков, слушатели не поняли его, не поняли, что он от них хочет. «Если не молятся – плохо, если молятся – тоже плохо. Чего же он хочет, этот слепой проповедник, только пожертвований?» Реб Мануш слышал это бормотание, и ему становилось еще грустнее. Если он напоминает старостам синагоги Могильщиков, что ему забыли выплатить недельное содержание, ему отвечают, что обыватели недовольны им. Он говорит о мессианских временах – что это за тема?! Пусть он говорит о нынешних временах. Проповедник понимает: это только повод отказать ему в плате и начать выдвигать претензии. О нынешних временах они тоже не хотят слушать, разве что он примется их хвалить. Но если он находит заслуги у евреев, про него говорят, что он подлизывается к сильным. Его единственное убежище – Немой миньян. Здесь ему не платят и он не обязан выступать перед обывателями; здесь он просто еврей, сидящий в углу и повторяющий наизусть разделы Мишны. Но ему как ножом по сердцу слышать, что молодые еврейские пары могут быть на него в обиде, потому что он занимает уголок, где они могли бы жить.



Реб Мешулем Гринвалд из Прессбурга, как всегда, был занят написанием очередного ответа антисемитам, когда над его попитром блеснула светлая головка девушки, которая сказала с напевом: «Доброе утро вам, ребе».

Ентеле знает, что этот аскет немного помешанный и не помнит, где он оставил жену с детьми. Сейчас она видит, что этот пришлый аскет помешан более чем чуть-чуть. Он смотрит на нее и бормочет: «Ой, дочь моя, дочь!» У Ентеле щемит сердце, но она отвечает ему:

– Я не ваша дочь, мой отец – портной Звулун.

Венгерский раввин встает и начинает гладить ее по голове:

– Нет, ты моя дочь, но ты не помнишь. Ты забыла мой облик, как и я на время забыл твой облик.

От таких слов Ентеле по-настоящему пугается. От взгляда ребе у нее мороз по коже проходит. Он смотрит своими большими черными глазами, взглядом мягким, как бархат. Этот взгляд делает его слепее слепого проповедника. Но его красивая белая борода и закрученные пейсы доброго дедушки успокаивают Ентеле. Она не должна бояться. Какое-то время она стоит, склонив голову под широкие горячие руки венгерского раввина, словно желая получить от него благословение. Потом она медленно выскальзывает из-под его ладоней. Реб Мешулем Гринвалд продолжает стоять в задумчивости. Взгляд его устремлен вдаль. Он даже не замечает, что девушка ушла.

Вержбеловский аскет, реб Довид-Арон Гохгешталт, сидящий в Немом миньяне дольше остальных завсегдатаев синагоги, знает Ентеле лучше, чем ее знают другие аскеты. Не раз он заходил к ее матери одолжить кастрюлю, чтобы сварить пару яиц, или попросить чайник горячей воды, тем не менее он смотрит на девушку недружелюбно, с кривой, хитровой усмешкой, долженствующей показать, что его не одурачить. Ну что ж, давайте послушаем, что этой девице есть сказать. Но девица говорит ему только «Доброе утро» и идет дальше своей гуляющей походкой. Вержбеловский аскет остается стоять, держась за бороду и размышляя о том, что, когда он стал женихом, его невесте было не столько лет, сколько сейчас Ентеле, а столько, сколько сейчас ее матери. Аскет догоняет девушку и резко говорит ей, что она уже не ребенок, а взрослая девица, и не должна заходить в молельню с короткими рукавами.

– А кто заставляет вас смотреть? Я ведь не собираюсь вас дразнить, – отвечает ему дочка портного через плечо и при этом смеется таким смешком, что реб Довид-Арон Гохгешталт вздрагивает. А Ентеле удаляется от него походкой умной и красивой молодой женщины.

В дальнем углу сидит столяр и обрабатывает кривыми ножиками полено. Если он занимается резьбой дома, то Матля вздыхает с таким стоном, словно он режет ее тело, а не дерево. Она не может стерпеть, что он тратит так много времени на вещи, не приносящие денег. В последнее время он уходит заниматься резьбой в Немой миньян. Здесь у него на душе спокойно. Кроме того, ему нравится просто так работать над украшениями для синагоги в самой синагоге – так еврей приходит изучать священные книги в святое место, хотя те же самые святыне книги есть у него дома. Элькум Пап целиком погружен в вырезание короны. Он продолжает работать, пока наконец не поднимает глаза и не видит перед собой Ентеле. Сначала он смотрит сердито, ведь дочка портного Звулуна – со двора Песелеса, в котором живут его враги. Но по ее заинтересованному взгляду, устремленному на его работу, он понимает, что она не принадлежит к числу его врагов, и начинает доверительно рассказывать.



Он видел в одной синагоге священный ковчег с четырьмя коронами. Он спросил слепого проповедника реб Мануша Маца, что означают эти короны. Проповедник ответил ему, что одна корона – это корона первосвященника Аарона из Пятикнижия. Вторая корона – это корона царя Давида из Псалмов, третья корона – это корона Торы, которую носил Виленский гаон, а четвертая корона – корона честного имени. Он вырежет из дерева четыре такие короны и водрузит их на головы четырех резных птиц. А этих птиц он прикрепит к священному ковчегу. Одну птицу над другой. До самого потолка, а потолок он выкрасит голубой краской. Тогда это будет выглядеть так, словно орлы летают в небе с коронами на головах.

– А какой орел будет у вас летать выше всех? – интересуется Ентеле.

В ее глазах он не выглядит взрослым мужчиной. Столяр рассказывает ей, что, по словам проповедника реб Мануша Маца, корона доброго имени – самая важная из корон. Поэтому у него выше всех орлов будет летать орел в короне, на которой будет написано имя Эльокум Пап.

– Ваше имя? – удивляется Ентеле.

– Да, мое имя, – отвечает столяр спокойно и с уверенностью в себе.

Раз он ремонтирует и украшает святое место, ему позволительно начертать свое имя на короне превыше всех корон и никто не может ему это запретить.

Столяр бросает взгляд: не смеется ли над ним эта девушка – и видит, что она не смеется, но сам он как-то теряет уверенность в собственных словах.

– Я еще подумаю, стоит ли начертать мое имя на короне превыше всех корон, – бормочет он.

Ентеле ничего не отвечает, она только мило улыбается, как улыбается мать фантазиям сына-переростка. Ентеле выходит своей прогулочной походкой, выверенными шажками из Немого миньяна и пожимает плечами: это же надо, чтобы высокий мужчина и отец детей был сам еще как ребенок.

*Í áðááíä ñ èäèø à Ááéäèà × áðí èí à*

*Í ðíáí èæáí è á ñèááááò*

*Á ñáðèè «Í ðíçà ááðáéíñé æèçíè» èçáàò æüñò áá «Ðáéñò» á áèèæàéø áá áðáí ý  
á ò í æ ò ñ ý é áúí óñéó í áðáí á ðáññéí á èçááí è á «Í áí í ñ í èí üýí à» Óàèí à Áðááá*

## Михаил Айзенберг

Я так устроен, что могу всю жизнь просидеть на одном стуле. Но только при условии, что не обязан на нем сидеть. Иначе он постепенно превращается в электрический.

Все семидесятые годы друзья мягко упрекали меня, что пишу только про отъезд. Я недоумевал: где ж тут про отъезд? Но даже поверхностный анализ подтверждал их правоту.

С течением времени это перестало бросаться в глаза. Но для данной подборки я отобрал некоторые стихотворения, в которых все же можно различить исходную (!) тему.

\* \* \*

Переулкa черной впадиной,  
тенью угольной подкошенный,  
ходит страх какой внимательный,  
повторяет где же, Б-же мой,  
удаляясь по касательной.

Подскажи ему свидетеля.  
На скамеечке отметина,  
знак какой-то указательный.

Ходят тени по Москве-реке.  
Объяснение в каждом скверике.  
– Помогите, люди ближние!  
Не придерживайте лишние  
два билета до Америки.

Опросите потерпевшего –  
вероятно помрачение.  
Ведь отсюда хода пешего  
два шага до заключения.

Одного его касается,  
сколько отняли, отспорили  
перекупщики-карманники.

Говорят, цена кусается.  
Говорят, того не стоили  
вырванные из истории  
годы, отданные панике.

\* \* \*

Давным-давно один еврей  
здесь жил. (А нам какое дело?)

Чужая шуба, у дверей  
висящая, полуистлела.  
Нет коммунального угла.

Своя у каждого жилплощадь.

Но шуба все еще цела  
и в темноте страшна на ощупь.

1953

На портретах двойной упырь.  
Острый запах – карбид и сера.  
Воздух серый от стертых в пыль  
поколений. Пыль еще не осела.

Как она провоняла вся,  
та держава. Карбидом и «беломором»  
мертвый дух как будто берут  
измором.

Мне пять лет, мне еще нельзя.

Я не знаю, куда расти.  
Мой состав приготовлен – то есть  
под парами стоит, готовясь  
нас до места не довезти.

\* \* \*

Все наверх, товарищи.  
По команде «полный каюк»  
встать навытяжку вон перед той волной.  
Не лицом к лицу, а к спине спиной –  
от спины к спине перестук.

Мир такой, что ни взять нельзя его,  
ни оставить таким, как есть.  
Показался и вышел весь.

Гости мира! Не надоели ли вам хозяева?

Снова сходятся, шапки кидают в круг.  
Их цена последняя, страшный сон.  
Вор на воре, оптом скупают, с рук.

Лучше к черту в ступу и к негру в печь.  
Не себя узнать, так других сберечь.

О, к чужой печали припасть лицом.

Но лежит за пазухой как змея  
злость, какую нельзя терпеть.  
Гости мира! Рассеянная семья.  
Теплый воск, по которому ходит плеть  
1986

\* \* \*

Как ни садись, скучно сидеть до вечера.  
Что-то в Москве солнышко онемечено.  
Дождь из угла косится, и делать нечего.

Только внутри сердце гуляет бешено.

А в облаках столько земли намешано –  
ветер подует, тебя и накроет, пешего.

Словно попал в облако большой плотности:  
все замутилось, света темны наклонности.  
Так и неясно: сам-то какой народности?

1990

\* \* \*

Опять вплотную об отъезде,  
а мы покурим, постоим.  
Так долго я стоял на месте,  
что место сделалось моим.

Переодетый, чем-то схожий  
с «искусствоведом» на посту...  
И перекрестится прохожий,  
ударившись о пустоту, –

Здесь я стоял.

1989

\* \* \*

Поговори, посиди-ка хоть ты со мной.  
Тонким лучом светит глазок дверной.

Как своего незаметного домочадца  
мы проводили с пением батарей  
долгую эру беспроигрышных лотерей.  
Так и не вспомнили попрощаться.

Там обесцвечены огненной вспышкой блиц  
первые ласточки с видами заграниц,  
с правом на выдворение,  
там коньяком и соком течет земля,  
дети растут быстрее, чем векселя,  
и на деревьях киевское варенье.

Как ни посмотришь, а все-таки сверху вниз  
новая эра через отделы виз  
так обращается к долгожителям:  
«Или не всем утешительный выдан приз?  
или не слишком он утешителен?»

1989

\* \* \*

Хмурые липы в пятнах кудрявых впадин,  
траурный ряд.  
Речь неясна, но разговор понятен.  
Знаками говорят.  
Серый туман с пиками черных елей  
в царстве твоём.  
Мы подпоем, правда, давно не пели.  
Знаками подпоем.

Это ли сын уходит, голову прячет,  
плечи свои сужает?  
Это ли дочь  
наскоро плачет и уезжает,  
падает в ночь?  
Этим, в слезах хоть выжми,  
ветром носимым,  
меру, меру такую вышли,  
чтобы по силам.  
Снова, как на перроне,  
«прощайте» машем,  
«здравствуйте, мир огромен,  
кланяйтесь нашим».  
Мука твоя свобода,  
пуще неволи.  
Нового ждет обхода.  
Буксует что ли?  
Светится в легковых,  
летающих мимо.  
На во-вторых, во-первых  
неразделима.

1989

\* \* \*

Только про дождь – и ни о чем другом.  
Если бы несколько даже случайных строк,  
как именинным праздничным пирогом  
плыл по ночному Кинерету катерок.

Выстрижен солнцем каждый покатый холм.  
Вьелся лишайник в поры известняка.  
И на овец, покинутых пастухом,  
россыпь камней похожа издалика.

Щелочный дождь смешался тогда с вином  
и разъедает брошенный парадиз.  
Слышится в доме, приемнике подвесном,  
тайного радио переговорный свист.

1991

\* \* \*

Д. Н.

Это была, чтоб ты знал, политика:  
взять за правило жить нигде.  
Мы были письмами на воде.  
И вода эта вытекла.

Вытекла, почвы не пропитав.  
Это такой, чтоб ты знал, устав:  
всякую речь начинать за здравие,  
все оставлять на своих местах.

Что там за дверью? Никак Австралия?

1991

\* \* \*

Машинописный зубовный скрежет  
твой и сейчас в ушах.  
Если отмерят меня, отрежут,  
если и скорешат  
с кем-то на какое-то время  
в новые времена,  
знаю, что первый свой верхний гребень  
пережила волна.

Там ли я не воскресну или  
тут не совсем умру,  
но никогда уже всех, кто были,  
вместе не соберу.

И никогда не замкнется полный  
круг за одним столом.

Мне от тебя скрип зубовный  
через месяц письмом.

1978

\* \* \*

Дом, открытый с трех сторон.  
Комната передвижная  
покатилась как вагон,  
а дорога окружная.

Откачнемся заодно  
с разговором об отъезде  
от пейзажа за окном,  
маневрируя на месте.

Высота, подайся вниз.  
Наше время расколосось.  
Поплотнее запахнись,  
если сердце только полость.

Нерешительно пока  
утаенные колени  
прикасаются к щекам  
как чужое полотенце.

Как из тинистых болот  
тянется: «Не троньте, паныч!»  
Ожиданье у ворот  
всех собак спускает на ночь.

И себе ли на уме  
проходящее напрасно?  
Жизни выжатой взамен  
будет масляное масло.

1978

\* \* \*

Как заразителен застой,

как в ширину раздался.  
Высасывает пустотой  
тебя – и ты остался?

Уже недалеко лежит  
преемственность чужая.  
Она насильно разрешит –  
разрушит, разрешая.

Но ежедневные тиски  
вжимают в оболочку  
переместившейся тоски  
стремительную точку.

И та втянула за собой  
и пылью полетела,  
и стала меньше, чем любой  
предел, – и нет предела.

Не я предел переживу,  
но, явь перекрывая,  
ты оторвешься наяву –  
ты, мнимая, живая.

1978

\* \* \*

Все завершается единоборством  
хлебного мякиша с воздухом черствым.  
Как на глазах дешевет сырье –  
окаменевшее время мое.

Времени нет, и давно не на месте  
местное время. В повальном отъезде  
полузаметен как «будьте добры»  
гибельный ход самодельной игры.

Вот как себя открывает начинка –  
солнца дерюга и неба овчинка.  
Вспять обнимает тебя пелена.  
В солнце свое завернешься сполна.

1978

\* \* \*

Н. П.

Глянь по атласу: куда  
мы сегодня не уедем?  
Ходит ловкая беда  
как цыгане за медведем.

То до времени гурьбой,  
то опять поодиночке  
кто нас водит за собой  
на таможенной цепочке?

1979

И, сквозную пустоту  
на цепочку запирая,  
ты уходишь за черту  
точно в пригороды рая.

\* \* \*

Дружен с тобою, дружен,  
мягкая западня,  
криком обезоружен.  
Только ищи меня!

Вот он я! Здесь – и нет.  
Некто, лишен примет.

Но, помолясь в ОВИРе  
бланку для образца,  
годный на все четыре  
новых своих лица,  
перебелив на глянце,  
чистыми для анкет,  
как я в таком румянце  
выведу их на свет?

1982

\* \* \*

Живу, живу, а все не впрок.  
Как будто время начертило  
в себе обратный кувырок.  
И только пыльная щетина  
покрыла дни.  
Проводим год,  
и время станет бородато,  
как надоевший анекдот,  
застрявший в памяти когда-то.

И два кочевника, два брата  
ползут навстречу – кто скорей:  
упрямый чукча и еврей.

Тот Ахиллес, а тот Улисс.  
Один Илья, другой Микула.  
Еврей и чукча обнялись.  
Над ними молния сверкнула.

1982

\* \* \*

Свои лучшие десять лет  
просидев на чужих чемоданах,  
я успел написать ответ  
без придаточных, не при дамах.

Десять лет пролежав на одной кровати,  
провожая взглядом чужие спины,  
я успел приготовить такое хватит,  
что наверное хватит и половины.

**Говорю вам: мне ничего не надо.**

**Позвоночник вынете – не обрушусь.**

**Распадаясь, скажу: провались! исчезни!**

**Только этот людьми заселенный ужас  
не подхватит меня как отец солдата,**

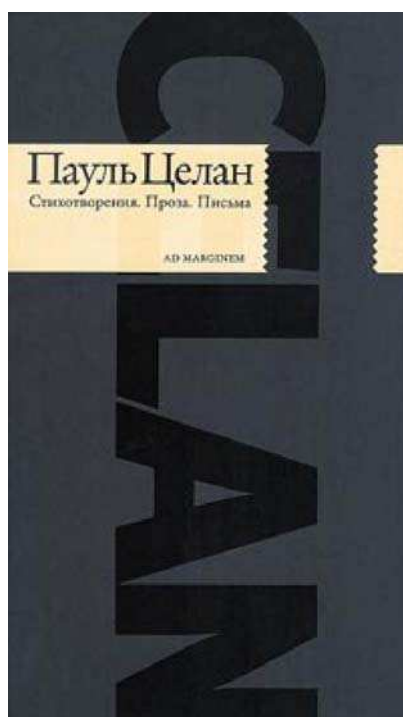
**не заставит сердцем прижаться к бездне.**

## ПАУЛЬ ЦЕЛАН: СТРЕМЛЕНИЕ К ЦЕЛОСТНОСТИ, ВОПРЕКИ...

*Αἰὸνί Γαῖαδῆ*

Выход этой книжки <sup>Ш</sup> – событие.

Наконец-то по-русски появился большой том одного из крупнейших поэтов XX века: свыше 700 страниц целановских текстов, в прекрасных переводах, с комментарием. Важно, что в книге представлены не только стихи Целана, но и его программные размышления о поэзии, и заметки из рабочих тетрадей – формульно-острые определения, такие, как: «Стихотворение – это обретшая целостный образ тоска “я” по иному», и письма: жене, друзьям... Стихи даны на языке оригинала и по-русски, причем в тех случаях, когда существует несколько вариантов перевода, они представлены рядом – не надо, чтобы их сравнить, лезть в конец книги, как это обычно бывает с такого рода изданиями, где «альтернативные» переводы «сосланы» в приложение.



Учитывая, что Целан из тех поэтов, которые в полной мере работают с языком, заставляя его раскрывать смыслы, скрытые в повседневном употреблении, но потаенно присутствующие в словах, увидеть оригинал через призму сразу двух переводов – немаловажно. Обычно в книге такие пары представлены работами Ольги Седаковой и Марка Белорусца. Седакова – пожалуй, один из лучших современных русских поэтов (при этом она очень много переводит). Белорусец же давно известен именно как лучший переводчик Целана. И сколь же интересно следить, как они по-разному пытаются решить одну и ту же задачу. Приведем лишь два варианта начала стихотворения «...Шепот колодца»:

*È ì îèèòââ, è õõèà*  
*âù, ì îèèòâîîîîòòùáííæè*  
*ì íáã*  
*ì îé:áíèÿ.*

*Âù ì ì íîþ âî áîòá*  
*îèðþ:áííúáâùîèîââ, âù,*  
*ì îè îèîââ íðÿì úá*

*À òù:*  
*òù, òù, òù*  
*ì íáãî-ì ðàáâù-*  
*ì íááí í î-îèèðàâî í á Í íçæá*  
*ÿòèõ ðíç...*

*(Í àð Ì . Áæîðóüâ)*

*Âù ì îèèòââííî, âù èîùóíîòòââííî, âù*  
*ì îèèòââííîòòùáèçæèÿ*  
*ì íáã*  
*ì îé:áíèÿ.*

*Âù ì îè è ì ì ííé èç*  
*óâ:áííúáîèîââ, âù*  
*ì îè òî:íúá*

*È òù:*

*òú, òú, òú*

*÷òí íè ääíü òí ääíäé è ääíäé*

*óäÿäàpùää Í îçäí ää*

*õç..*

(Пер. О. Седаковой)

По двум этим фрагментам видно, сколь трудна задача, стоящая перед переводчиком Целана. Целан часто рассекает слово, разламывает его – так разламывают хлеб и протягивают голодному: ешь!



Пауль Целан.

\* \* \*

Целан – одна из ключевых фигур для поэзии минувшего столетия в той же мере, что Пикассо для живописи. В Европе и Америке он издавался и переиздавался, о нем писали и думали, комментировали и иллюстрировали. О его стихах написаны сотни книг, ему посвящены спецвыпуски влиятельнейших интеллектуальных журналов –

достаточно сказать, что только для описания всей этой громады текстов выпущено с десяток библиографических указателей.

О поэзии Целана размышляли Хайдеггер и Бланшо, Гадамер и Деррида, Мишо и Грасс, Чоран и Бонфуа. Продолжить список могут леворадикал, неомарксист Теодор Адорно – и знаток каббалы Моше Идель, литературовед Жан Старобинский – и прозаик Роже Лапорт, философы Филипп Лаку-Лабарт и Эммануэль Левинас...

Из одного этого перечисления виден масштаб фигуры поэта.

Поэта, для русскоязычного читателя остающегося в значительной мере просто именем, не ассоциирующимся с текстами – ибо целановских текстов по-русски до самого последнего времени было очень и очень мало. Чуть больше десяти лет назад, в 1996 году, Борис Дубин, готовя публикацию Целана в журнале «Иностранная литература» (№ 12), с горечью писал: «Что через четверть века после целановской гибели (поэт ушел из жизни в 1970 году. – А. Н.) у нас на руках? Несколько переложений “Фуги смерти” <...> и еще трех-четырёх вещей, погребенных в хронологических и страноведческих антологиях. Плюс глухие известия о переводах, которые где-то у кого-то когда-то то ли были на руках, то ли готовятся к публикации и уже который год вроде бы вот-вот выйдут. Плюс редкие машинописные следы попыток переложения, случаем донесенные из Израиля, Киева, Риги <...> Согласитесь, странное недобытие, призрачное полусуществование, осколочное, руинное на-три-четверти-отсутствие – немота объемом в поколение...»

Да, два года спустя, в 1998 году, в Киеве вышла книжка Целана в прекрасных переводах Марка Белорусца – около ста страниц текста, стихи и проза, – до того пять лет мытарившаяся от издателя к издателю и в конце концов изданная на деньги, собранные друзьями переводчика. С самого момента своего появления она стала легендой, по той простой причине, что тираж ее составлял... 300 экземпляров. Слышали о ней почти все, кто всерьез интересовался поэзией, а вот в руках держали немногие. Была еще серьезная публикация стихов в «Иностранной литературе» (2005, № 4), подготовленная Ольгой Седаковой, Марком Белорусцем и Татьяной Баскаковой...

Странным образом к началу этого года русскоязычному читателю доступнее был двухтомник «Пауль Целан: Материалы. Исследования. Воспоминания» (М.–Иерусалим, «Мосты культуры / Гешарим», 2004–2006), чем тексты самого поэта. Парадокс? Наверное, да. Но слишком многое из того, что связано с Целаном, соткано из парадоксов.

Как определить, к какой литературе принадлежит Целан? Как прикажете о нем говорить: немецкоязычный поэт еврейского происхождения, родившийся в румынском городе Черновицы, на Буковине, и большую часть жизни проживший в Париже?

А как разобраться с местом его рождения? Черновицы – это чей город? До 1918 года Буковина и, соответственно, Черновицы, входили в состав Австро-Венгрии. Целан родился в 1920-м, когда империя уже распалась, Буковина отошла Румынии. Это в Румынии юный Пауль Анчель, позже взявший литературным псевдонимом анаграмму своей фамилии (Ansel – Celan), ходил в школу. Из Румынии он уехал в 1938 году в Тур, во Францию, учиться медицине. В следующем году вернулся домой на каникулы – а в сентябре началась вторая мировая война. Германия захватила Польшу, Англия и Франция объявили Гитлеру войну. Ехать во Францию было нельзя. Пауль поступил в Черновицкий университет на отделение романистики. Но Гитлер и Сталин поделили Восточную Европу между собой, и 20 июля 1940 года в Буковину вошла Красная Армия. Черновицы стали

советским городом... Так что дальнейшее образование Пауль Анчель получал уже в СССР. До лета 1941 года. С нападением Германии на Советский Союз все меняется еще раз. Черновицкий университет эвакуируется, уезжают в эвакуацию и многие друзья Пауля – но он и его семья остаются в городе. А в июле в Черновицы входят немецкие войска...

До войны около 40% населения города составляли евреи. Уничтожение их в Черновицах началось почти сразу. Едва вступив в город, немцы сожгли синагогу. В первые три дня расстреляли больше 600 евреев. К концу августа – больше 3000. К октябрю было построено гетто, и евреев согнали туда. Потом начались депортации – в район между Днестром и Бугом, известный как Транснистрия. Но 15 тыс. евреев оставили для работ в Черновицах. Семья Анчелей попала в это число. Им даже разрешили вернуться к себе домой. А через год, в июне 1942-го, депортации возобновились. Сперва арестовали сестру Пауля с мужем. Потом исчезли его родители (как выяснилось потом, их вывезли в лагерь, где отец умер от тифа, а мать была застрелена). Самого Пауля отправили под Буцау, где он работал на строительстве дорог. Выжил. В феврале 1944-го смог вернуться в родной город. Вот только ждало его там одиночество в пустом доме да работа помощником врача в психиатрической клинике. Жизнь порой щедра на такие метафоры (в последние годы жизни Целану самому пришлось мучительно бороться с приступами помутнения рассудка).

Довоенный уклад был разрушен – безнадежно и безвозвратно. Черновицы, отошедшие к СССР, стремительно советизировались, усилиями новых властей в городе вводилось обязательное единомыслие. Вскоре Пауль понимает, что такая жизнь не по нему, – при том что с юности он придерживался левых убеждений. Советские власти разрешали выезд из Черновиц в Румынию, и в апреле 1945 года Пауль Анчель оказался в Бухаресте.

Чтобы заработать на жизнь, он берет переводы с русского на румынский. Публикует в румынских литературных журналах несколько своих стихотворений.

Среди них была и ставшая потом знаменитой «Фуга смерти». Изначально она появилась в румынском переводе – оригинальный немецкий текст был издан только несколько лет спустя:



*×áðííá ì íéíéí ðáíííáò à ì ú ìúúì áá*

*áá-áðàì è*

*ì ú ìúúì áá á ííéááíú è óòðí ì ú ìúúì*

*áá íí-úþ*

*ìúúì è ìúúì*

*ì ú ðíàì ì íæëó á áíçáóóííì*

*í ðííò ðáííò áá òàì ò áíí í í á áóááò.*

*Á òíì áíì á æèááò áíí íæéí íí èáááò*

*íí çì áýì è ìèóáò*

*íí ìèóáò éíááà ñòàì íááò á Ááðì áíéþ*

*í çíéíòúá éííí ò áíè Í áðááðèò à*

*íí ìèóáò òáé è áíòááò í áááá áíì íì*

*è áéàùòò ñçáçäüý íí ñæùàò ñâèì áîéíááááì*

*íí áùñæñòùááàò ñâèèò èóááááì òñòù*

*ðìþò ì ìæéóáçáì èá*

*íí íàì ñâèèò à òáìáðùèñâèòáì òñèàé*

*íí òáì òðþò.*

<...>

*Íí òðááóò ñæùàé èñâèòáì*

*íá ñ ñðòù*

*Ñì áðòù ÿò í íàì áðèéé ó: è ò áéù*

*íí òðááóò òáì íáé óáàðÿé òá í í ñò ðñí àì*

*íí ò òí áù í íáùì á ò áñí á í ááì è àé áùì*

*òáì á í áé à è á ò á à ì í á è á à ò ñ ÿ ì í ñ è á*

*òáì ò áñí í í á á ó á á ò*

*× á ò í í á ì í é í é í ð á ñ ñ á ò à ì ù ì ù à ì ò á á ÿ*

*í í : ù þ*

*ì ù ì ù à ì ò á á ÿ á ì í è á á ù ù ñ ñ á ð ò ù*

*ÿò í í à ì á ð è é é ó : è ò á é ù*

*ì ù ì ù à ì ò á á ÿ á ì : á ð à ì è è ó ð ð ì ì ù à ì*

*è ì ù à ì*

*Ñì áðòù ÿò í í à ì á ð è é é ó : è ò á é ù ñ è ç à*

*ó í á ñ ñ è ó á ù á*

*íí ò á é è ò ñ æ è í ó í á á ÿ í ó é ÿ ò á á ÿ*

*Íá óí óñòèò ÍÍ óáèèò Íòèè÷ÍÍ*

*ÍÍ Íá Íáñ áíí óñèèò ñáñèõ áñèèí äááíá*

*ÍÍ Íáí äáèèò ì Íáèéó á áñçáóóÍÍ*

*í õñò ðáí ñò áá*

*ÍÍ èãñáò ñ çí áýì è è ðàçì úøéýáò*

*Ñì áðòýýò Í Íáí áðèèé ó:èò áèü*

*çéíò úá éíñí òáñè Ì áðáèèèò á*

*í áí áèüü úá òáñè Ñóèáí èòü*

(Пер. О. Седаковой)

Ни об одном стихотворении Целана не сказано и не написано столько, сколько об этом страшном тексте. Может быть, это самый сильный рассказ о Катастрофе из всех возможных. Рассказ, написанный на немецком – языке той культуры, которая оказалась ответственной за Катастрофу. На языке, на котором давались приказы об уничтожении. Когда Адорно изрек свою (теперь уже до бесконечности зацитированную) формулу «После Освенцима поэзия невозможна», он ведь имел в виду, прежде всего, что она невозможна на его, Адорно, языке – немецком. В немецкой традиции поэзия ассоциировалась с возвышенным. Только вот «возвышенное» нещадно эксплуатировалось официальной пропагандой все годы существования Третьего рейха: «От вас, – обращался к солдатам своих войск рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, – именно от вас узнают, что это такое, когда рядом с тобой – 100 трупов, 500 трупов, 1000 трупов. Выдержать все это и – отвлекаюсь сейчас от отдельных проявлений человеческой слабости – сохранить порядочность стоило многого. Это не написанная и не доступная письму славная страница нашей истории» (цит. по: Отто Пёглер. Поэзия в наше время. Пер. Б. Дубина). И сами чувства, и язык их описания были присвоены нацизмом – и продолжали хранить на себе его страшный отпечаток: попробуйте употребить слово «порядочность» после такого его использования Гиммлером...

И еще одно: опыт, который принесла с собой вторая мировая война, был чудовищен – он просто не поддавался выражению старыми средствами. Их исчерпанность обнаруживалась именно тогда, когда к ним прибегали люди несомненно одаренные. Как, например, польский поэт Тадеуш Боровский, которому довелось пройти через нацистские лагеря – и который попробовал об этом рассказать. У него это вышло. Вернее, почти вышло. Его лагерные стихи – яркие, талантливы, но... на фоне целановской «Фуги смерти» они начинают казаться риторикой:

НОЧЬ НАД БИРКЕНАУ

*È mîâî íî:ü Çãñòúëà øëàêîî.*

*È íããî ãîðîíîî ÷ãðíãò.*

*Èàè òðòí, çà èãããðí úî áãðãêîî*

*ñèíðóíúé ì áñö èí:áíãò.*

*È Íðèíí - èàè íîñãáñî:è*

*íîî ÿòúé ùèò áíúéè è ñðã*

*Áíð:àò ì íòíðú. Èñèðú ì á:àò*

*èðíããúî íèíí èðáí àòíðé.*

*Ñì áñíííòà, ñúðíñòè è ãíý*

*ãúúòãð. Á ãðãá ì ðèãèóí ãðè.*

*Èàè èãííé, äóøèò òèøèííð*

*òðãñí èèèèííúé èíèóí áãðé.*

*Í î:ü áãç ðãññãòà. Áñã çàò ì èèí.*

*È áãèí áèèèèòñý è øèíãéú*

*Èàè Á-æèé ñúá íãã ì áðòãúî ì èðíí,*

*ããðøèòñý íî:ü íãã Áèðãáí àá*

(Пер. А. Гелескула)

Между тем обстановка в Румынии изменяется: устанавливается цензура, единственным допустимым направлением в литературе провозглашается соцреализм, начинается преследование инакомыслящих. Целан понимает, что из Румынии нужно бежать. В 1947 году он нелегально переходит румыно-венгерскую границу, пешком добирается до Будапешта, а оттуда – до Вены. Когда-то, из Черновиц, Вена казалась городом мечты. Подспудно она все еще воспринималась как блестящая столица великой империи, город, который надо завоевать.

Реальность была совсем иной. Униженная аншлюсом с Германией, оккупированная войсками союзников и поделенная на оккупационные зоны, Вена все больше входила в роль жертвы истории – тем более что роль эта сулила известные дивиденды: утверждая, что нацизм и антисемитизм занесены сюда из Германии и австрийцам глубоко чужды, можно было избежать денацификации и демократизации, задевающих интересы власть имущих. И над всем этим витал дух провинциализма. В одном из венских писем Целан замечает в связи с вечером, на котором он читал стихи местным интеллектуалам: «Я был не Б-г вещь как счастлив, когда мне сказали, будто бы являюсь величайшим поэтом в Австрии и – насколько им известно – в Германии тоже...» (пер. Т. Баскаковой).

Целан мучительно не может найти место, где можно было бы осесть и жить – нормально. Неприкаянность гонит его из страны в страну. В самих этих переездах и метаниях находит выражение то состояние, в каком была тогда Европа: она лежала в руинах. Человек всюду обречен был наткнуться на развалины. Развалины городов. Развалины культуры. Развалины мысли. Прошлое – то, довоенное, – кануло навсегда. А новое – не настало. Мировая война закончилась – чтобы обернуться войной за власть, за право распоряжаться будущим...

Целан не выдержал в Вене и года. Летом 1948-го он принимает решение перебраться во Францию, в Париж. Оставив в Австрии нескольких друзей, среди них поэтессу Ингеборг Бахман. Оставив в венском издательстве «Сексль» рукопись своего первого поэтического сборника – «Песок из урн». Книга выйдет осенью 1948 года тиражом 500 экземпляров, и поэт останется настолько им недоволен – из-за многочисленных опечаток и плохого оформления, – что письмом из Франции потребует уничтожить весь тираж. Требование было выполнено: согласно отчету издателя, продать успели 9 экземпляров книги, еще 5 разошлось в библиотеки, остальное отправлено под нож.

Париж всегда был городом, благожелательным к экспатриантам. Целан находит работу, поступает в Сорбонну, очень много переводит. В 1952 году женится на художнице Жизель Лестранж. В том же году выходит сборник стихов «Мак и память», с которого сам Целан начинает отсчет своих поэтических книг. Он чувствует: то, что и как он говорит, еще никем не сказано. Почти всё, с чем он сталкивается в современной литературе, – это «вчера», а он – он пишет ее «завтра». Стоит ли удивляться, что его не понимают? Чувствуют стоящую за ним силу, не могут не считаться – но при этом отказываются признать.

Характерна история участия Целана в одной из встреч так называемой «Группы 47» – в нее входили такие немецкие писатели, как Генрих Белль, Гюнтер Грасс, Эрих Кестнер и др. Целан выступил с чтением своих стихов. Участник того вечера, критик Вальтер Йенс, вспоминал: «Когда Целан выступал в первый раз, люди говорили: “Но ведь это невозможно слушать!” – он читал слишком патетично. Мы смеялись, “Он читает прямо как Геббельс!” – сказал кто-то. Его просто высмеяли <...>. “Фуга смерти” в нашей группе с треском провалилась! Это был совершенно другой мир, и сторонники неореализма, которые, можно сказать, выросли на этой программе, никак с ним не состыковывались» (пер. Т. Баскаковой). А ведь «Группа 47» – это лучшие из писателей, работавших тогда в немецкой литературе!

А стихи Целана год от года становятся все сложнее. Он делает в поэзии примерно то же, что Пауль Клее – в живописи: пытается не описывать некую ситуацию, а писать ее внутреннюю суть. Таков весь его сборник «Решетки языка». Слово

«Sprachgitter», вынесенное в название книги, созвучно общеупотребимому «Sprechgitter» – «переговорная решетка», т. е. решетка, которая на свидании в тюрьме отделяет преступника от тех, кто пришел его навестить. Целан говорил в связи с этим названием и заглавным стихотворением сборника: «Я стою на другой пространственной и временной плоскости, чем мой читатель. Он может понять меня только отдаленно, ему никак не удастся меня ухватить, он все время хватается только за прутья разделяющей нас решетки... Ни один человек не может быть “как” другой; и потому, вероятно, он должен изучать другого, пусть даже через решетку...» Само заглавное стихотворение звучало следующим образом:

### ГЛАЗ КРУГЛ МЕЖ ПРУТЬЕВ.

*Ááêî èí ôóçíðí î*

*ðáíí è÷:èò áááðð,*

*ì áððáí ùáí, îò èðíááÿ áçæÿä*

*Ðááóæèà, ááç ñí îá ò óíèèî î èááð÷:à:*

*í ááí, ñððáð ùáá ñððáð, áèáí î, í èçèî.*

*Á æáèçí îî ñááò óá èðèáí,*

*÷:ááÿ ùáÿ èó÷:èí à*

*òú î î ñááò èí ñóè èèøü*

*óçí ááøü áóøá*

*(Áúè áú ÿ èáè òú. Áúè áú òú èáè ÿ.*

*Ðáçáá í á ñò îÿèè ì ú î îá îáí èì ááòðí î ?*

*Ì ú - ÷:æèà)*

*Èàì áí í úá ì èèòú, è í à í èð*

*áððá è áððáð áèèçèî ÿòè í áá*

*ñ áøèà, ñððáð ùáá ñððáð*

*äää äíäí ä -*

*ðòà íîëíúõ ì îë-äíüÿ.*

(Пер. М. Белорусца)



С женой Жизель Лестранж на выставке ее работ в Ганновере. 1964 год.

Речь Целана сложна, следование за ней требует от читателя усилия. Однако сам поэт настаивал: всякое стихотворение – это не рассказ, а действие: «В стихотворении – не передача сообщения, в нем – передача себя... Я не вижу принципиальной разницы между рукопожатием и стихотворением».

Есть какая-то ирония в том, что стихи Целана стали излюбленным объектом комментариев философов: действие как бы стремились загнать в резервацию умозрения, выхолостить до рассуждений. Может быть, единственный философ, действительно приблизившийся к тому, что пытался проговорить Целан, – Мартин Хайдеггер. Принадлежавший поэту экземпляр хайдеггеровского «Времени и бытия» весь испещрен пометками. Но мог ли Целан, читая немецкого философа, отрешиться от мысли, что в 1933-м тот пошел на сотрудничество с нацистским режимом, приняв пост ректора Фрайбургского университета, вступил в Германскую национал-социалистическую рабочую партию, посылал приветственные телеграммы вождю, произносил речи, призывая коллег служить делу национальной революции?..

Целан и Хайдеггер встретились в 1967-м, когда поэт приезжал во Фрайбург выступать в университете. Он был несказанно удивлен, обнаружив, что почти во всех книжных магазинах города лежат его стихи. Но он не знал, что накануне 78-летний отставной ректор лично обошел книжные магазины и попросил владельцев заказать книги Целана и выставить в витринах... После выступления Целана их представили друг другу. Подбежавший фотограф хотел было запечатлеть «исторический момент», но Целан резко запретил съемку. Хайдеггер промолчал. Он просто пригласил Целана на следующий день к себе домой. О чем они тогда говорили – неизвестно. Но в память этого посещения Целан написал стихотворение, в котором, среди прочего, отсылает к названию и темам книги Хайдеггера «Лесные тропы», куда вошли работы, написанные философом как раз в годы нацизма, с 1935-го по 1946-й:

*...iĩã êđĩãĩ*

*Õèæèíú,*

*ãã á éí èã-*

*÷üã æ èí ÿ*

*á í á é í á ðãã ì î èí ?-*

*á ò ó é í èã*

*çãí èĩü*

*î í áãæää*

*ĩĩã äí ÿ á ñãðãã*

*í à ì ú ñëÿ ù áã*

*ñèíã,*

*÷òí ãÿããò,*

*ĩđĩéãèíú á èãü, áãããì è, ðæääü*

*ÿòđúóí è è ää ÿòđúóí è è í í đĩçí ü*

*ĩü óò í î ñò ü, á äĩđĩãĩ í î ñéã*

*ÿãñò äü í à,*

*îí, èòí äãçò í äñ*

*ĩü-äí èì äãò òí æã*

*í äãĩ-*

*ò í ð, í í ú á, è äü ì*

*í í äãéã í ú ì ò*

*điú á òiúã,*

*ñiđi,*

*ñeđi.*

(Пер. М. Белорусца)

Чего в этом стихотворении больше – надежды, горечи и разочарования, просто усталости – каждый читатель может ответить только сам для себя. За всей интонацией текста слышится и общее состояние Целана: истощенность, угнетенность, выжатость борьбой с постоянно преследующими его приступами душевной болезни. С самого начала 60-х безумие ходит за Целаном по пятам. Он периодически ложится в клинику, но даже постоянное наблюдение врачей не помогает избежать срывов. В ноябре 1965 года, в приступе душевного помутнения, он пытался убить жену – после этого случая они окончательно стали жить отдельно. Позже, в 1967-м, Жизель подала на развод, что только усилило сумеречное состояние Целана.

Конец 60-х – едва ли не худшее время в судьбе Целана. Его письма исполнены мрачности и отчаяния. Просветом стала поездка в Израиль – встреча там с теми, кого он знал еще по Черновицам. Среди них была Илана Шмуэли, подруга детства и юности, уехавшая в Палестину в 1944-м. Она успела отслужить в израильской армии, участвовала в Войне за независимость, стала социальным работником, занималась адаптацией репатриантов и трудновоспитуемых подростков. Илана была из тех женщин, которые, отличаясь редкой душевной тонкостью, при этом крепко стоят на земле. И те непростые отношения, которые вновь соединяют ее с Паулем, стали для него глотком свежего воздуха – простоты, подлинности, которых так не хватало ему в парижской жизни. Той простоты, с которой Илана писала ему: «Я хотела, я могла бы спать с тобой и готовить тебе еду, ничего больше – это имело бы смысл». Но при том у нее хватало слуха, мудрости сформулировать и иное: «Для меня ведь было хорошо чувствовать твою любовь, она ведь была – такая большая, много, – я не могу измерить ее, но она была, и это было хорошо. Что же касается моей внутренней раздвоенности, то она с тобой не связана – она существовала всегда, и до тебя тоже, она мне присуща. А вот вкус к целостности – его я почувствовала благодаря тебе, именно там и тогда, он был для меня чем-то новым...»

В этих словах Иланы Шмуэли – возможно, самая точная формула того, к чему взывает поэзия Целана. Она взыскует целостности и подлинности человека. Безусловности его реакций. Абсолютной честности в отношениях с миром. Всего, чего так нелегко достичь. Потому-то его стихи и отзываются в нас такой болью. Потому, раз с ними столкнувшись, их так трудно забыть. Вернее – забыть то чувство, которое они вызывают в нас. Стихи – как потребность в действии и бытии.

<sup>[1]</sup> Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма. М.: Ad Marginem, 2008.

## В ПОИСКАХ УШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ИЛИ ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

### *Àí à Èṣṣéṣí*

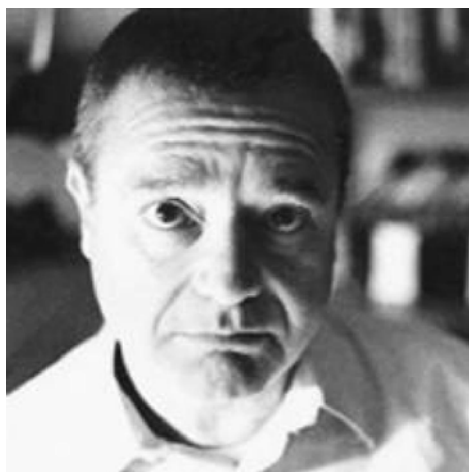
Рассказ как жанр переживает сложные времена. Его процветание напрямую зависит от наличия и популярности толстых литературных журналов, которых в мире осталось немного, а в Израиле, можно считать, и вовсе нет. Постепенное исчезновение «толстяков» заставило даже самых серьезных и известных писателей уже в 70-х годах прошлого века помещать рассказы в гляцевых и женских журналах, вплоть до «Плейбоя».

Не знаю, чего в этом было больше: афронта или заигрывания с массовым читателем, попытки остановить культурный оползень или желания вписаться в меняющийся культурный ландшафт. Скорее всего, как это обычно бывает, все причины действовали совместно. Однако не помогло.

Афронта не получилось – массовый читатель его просто не распознал. Попытка привить этому читателю хороший вкус разбилась об айсберг политкорректной мании, отменившей качественную иерархию произведений искусства. Хотели позволить цвести всем цветам, но, как мог бы предсказать любой хороший цветовод, победил чертополох.

Оползень превратился в лавину, оказавшуюся более эффективной в деле если не уничтожения, то сокрытия качественной культурной продукции от глаз широкой публики, чем костры Савонаролы. Словно назло проповедникам безоценочного потребления, пошел процесс расслоения культуры на элитную и ширпотреб. Иначе говоря, Белинского и Гоголя с базара и сейчас не понесут, а понесут того же «милорда глупого», но в гляцевой обложке. С другой стороны, любитель изящной словесности тоже не перевелся, он просто перестал интересоваться вкусами базарного потребителя.

С исторической точки зрения ситуация знакомая. У элитного культурного продукта никогда – исключая разве что эпизоды революционных социальных взрывов – не было массового потребителя. Хороший культурный вкус требует длительного и взыскательного воспитания, недоступного большей части человечества как по экономическим и социальным, так и по чисто психологическим причинам.



Мания политкорректности произвела тот единственный эффект, какой и могла произвести: она легитимизировала плохой вкус и отменила для массового человека необходимость вставать на цыпочки ради восприятия произведений искусства. Массовый потребитель может теперь потреблять свой любимый ширпотреб без всяких угрызений совести, а производитель штучной элитной продукции должен удовлетвориться узкой, но избранной аудиторией.

Наверное, как это водилось до восстания масс, опять возникнет институт истинного меценатства знатоков и любителей, а не искателей популярности, и элитное искусство станет достоянием оранжерей, откуда будет потихоньку диктовать ширпотребу ассортимент и критерии оценок, как это делает сегодня высокая мода относительно китайских поделок.

Имея все это в виду, вернемся к положению рассказа в современной литературе. Своевременная, то есть сразу по написанию, публикация невозможна, поскольку негде опубликовать. Глянцевые и женские журналы больше не видят потребности в знаменитых именах с их неудобоваримой для массового читателя продукцией, а «толстяки» задыхаются и сходят со сцены один за другим, поскольку государственные или меценатские дотации на их существование пока еще редки и ненадежны даже в самых культурно-взыскательных странах.

Остается выпускать рассказы сборниками, подбирая их один к другому по сюжету, форме, передней или задней мысли и даже по создаваемому ими вкупе настроению. Издатель или автор уже не просто собирают полюбившиеся читателю в журнальном чтении сгустки писательского вдохновения, чтобы втиснуть их под общую обложку, а скорее, выполняют задачу, схожую с работой куратора по созданию выставки. Их дело решить: что поместить рядом, что – напротив, что, ради усиления впечатления, – по сходству, а что – по контрасту, что для наведения потребителя на определенную мысль, а что – для увода его в соседний зал, с тем чтобы затем привести обратно для более тонкой оценки.

Есть, конечно, и другой тип сборников рассказов: когда молодому автору хочется отличиться, а на роман его мастерства еще не хватает. Но к Йегошуа Кназу это не относится. Он автор маститый, серьезный и расчетливый – не в бухгалтерском, а в творческом понимании этого определения. У него ни одно слово не поставлено просто так, ни одна скобка не случайна. Поэтому постараемся не разбирать каждый рассказ из нового сборника<sup>[1]</sup> в отдельности, а найти объединяющий их принцип.

Йегошуа Кназ родился в 1937 году в Петах-Тикве и в молодости примыкал к «кнаанцам» – культурному течению, пытавшемуся изобрести нового израильтянина, который бы заменил традиционного еврея. Интервью с Кназом редки, писатель не любит их давать, а журналисты опасаются брать у сердитого немолодого человека, поэтому мне трудно сказать, сколько «кнаанства» осталось в этом авторе. Предположу, однако, что сухой и даже неприязненный тон прозаика по отношению к героям его рассказов выдает раздражение, связанное с крушением былых идеалов.

Новый израильтянин, гомункулус, выращенный в реторте, автора несомненно раздражает. Полусумасшедший, назойливый, крикливый старый еврей (или еврейка), появляющийся почти в каждом рассказе, объемнее, теплее, человечнее, чем бездушный и апатичный, всегда малосимпатичный молодой израильтянин-киборг. Они, эти киборги, сбиваются в рассказах Кназа в случайные компании, односложно говорят и прямолинейно думают, не испытывают друг к другу ни искренней симпатии, ни откровенной неприязни и чаще всего не могут сообразить, для чего собрались и что собирались вместе делать. Их движения замедленны, тела уродливы, они постоянно заняты физическими проявлениями душевного нездоровья: обильно потеют, воняют, блюют, истекают слюной, дергаются, даже валятся со стула в припадке нарколепсии, необоримого желания заснуть в любом месте и в любое время. В одном рассказе находится место и для настоящей, физической человеческой падали.

Галутный еврей в рассказах Кназа всегда псих (нормальных людей в его рассказах вообще нет, есть только гипернормальные гиперреалистические типы, ничем, на мой взгляд, не отличающиеся от законченных сумасшедших). Но идет ли речь о женщине, пережившей нацистский концлагерь и считающей, что внутри нее разрастается чужое фашистское мясо (Клара из рассказа «Дикое мясо, чужое мясо»), о въедливом старичке, желающем во что бы то ни стало спасти от самоубийства соседа, который и не думал самоубиваться (Берлинер из «Квартиры с входом со двора»), или о старухе, требующей у молодого человека выяснить, кто из соседей гадит на общей лестнице (мадам Шпицер из «Вечеринки»), психи эти: а) красивы (Клара), б) душевны (Берлинер), в) справедливы (мадам Шпицер).

Не знаю и не берусь судить, что означает столь явное авторское этическое и эстетическое предпочтение галутного психа молодому израильскому киборгу: разочарование в идее создания нового еврея или оштолбенение при виде результатов воплощения этой идеи в жизнь.

Отмечу только, что кураторская идея этого портретного вернисажа включает осознание и разработку большого количества идей, принадлежащих знаменитым писателям XX века. Кназ не только автор немалого количества романов, разошедшихся на сценарии и театральные постановки, но и известный и очень доброкачественный переводчик с французского (он жил некоторое время во Франции), а также суровый критик, долгое время державший израильскую писательскую братию в постоянном напряжении (Кназ редактировал книжное приложение к газете «А-арец» и был соредктором взыскательного литературного журнала).

Любители разгадывать, кто спрятался на картинке, без труда обнаружат в рассказах Кназа следы Фолкнера, Ионеско, Беккета, Сименона, Джойса и даже Хичкока. Квазицитата из последнего должна, очевидно, стать той самой приманкой, которая уводит посетителя вернисажа в соседний зал для того, чтобы вернуть его оттуда к началу экспозиции: герой рассказа «Вечеринка» рассказывает собравшимся о неосуществленном проекте Хичкока – снять полнометражный фильм, показывающий конвейер по сборке

автомобиля. Каждый узел процесса наблюдается камерой вплотную и крупным планом, ничто не может быть скрыто от глаз зрителя, но тем не менее в конце сборки в багажнике новенького транспортного средства обнаруживается труп. Что, как и откуда – неизвестно, но речь идет не о начале, а о конце фильма.

Зная почти болезненную скрупулезность Кназа в отношении любой детали его произведений, можно было бы закончить статью этим признанием: мы провели много времени – книжного, связанного с чтением обсуждаемого сборника рассказов, и исторического, связанного с созданием нового еврея, – в ожидании Годо. Но Годо не пришел, а в багажнике новенького автомобиля почему-то оказался труп. Вот и вся история.



Не вся, однако. Мне бы хотелось все-таки понять, зачем это Кназу понадобилось помещать героев всех своих рассказов в прошедшее время, в 50-е, 60-е, максимум, 70-е годы, не отмеченные к тому же со стороны автора ни малейшим ностальгическим сантиментом. Может быть, потому, что речь идет о тех самых десятилетиях, когда знаменитый и столь тщательно исследуемый писателями XIX – начала XX века маленький человек трансформировался в массового человека, ставшего фактическим господином современного мира?

Прежний маленький человек, воплощенный в образах галутных евреев, автору все еще дорог и симпатичен. А вот современный массовый человек его оскорбляет и раздражает. В таком случае понятен и выбор формы: роман о массовом человеке – штука невероятно сложная и напряженная, как тот конвейер Хичкока, вынужденного Б-г весть какими средствами удерживать внимание недоуменного зрителя до конца фильма только с тем, чтобы в финале показать ему, зрителю, кукиш в виде незнамо откуда появившегося трупа.

Рассказы, собранные под одной обложкой, – вещь для такого дела куда как более подходящая. Каждый рассказ – узел сумасшедшего конвейера. Узел за узлом, кадр за кадром, страница за страницей, и мы подходим к концу. А что в конце? Труп. Незнамо откуда взявшийся, неизвестно что означающий, возможно, символизирующий только пустоту и фактическое небытие бесконечной массовки.

Читать эту книгу зачастую тошно, но не скучно и наверняка полезно. Что-то вроде лекарства, про которое заранее известно, что оно, скорее всего, больному уже не поможет.

[Ш](#) Йегошуа Кназ. Дира им кнisa бехацер («Квартира с входом со двора»). «Ам овед», 2008.



**– Как вы члените еврейское движение от смерти Сталина до перестройки по хронологическим этапам и, соответственно, по томам?**

– Когда я начал писать, у меня была иллюзия, что весь этот процесс запустила Шестидневная война. Она пробудила меня и многих других людей – тысячи пассионариев начали двигаться от этой черты. Но началось все задолго до нее. Поэтому я составил небольшую прелюдию к своей книге, которая охватывает больше 200 лет, от начала XVIII века до создания Государства Израиль. Но моя тема – это сионизм после 1967 года, наша волна сионистского движения.

Двадцатилетие от Шестидневной войны до перестройки и открытия границ естественным образом разбивается на несколько этапов. Первый – от начала массового подпольного движения до открытой борьбы против советского режима, до ленинградского процесса 1970 года, он же «самолетное дело».

Второй этап – от первой волны антиссионистских процессов до Хельсинкских соглашений. На этот период приходится и поправка Джексона–Вэника, когда наша борьба стала частью глобальной схватки сверхдержав.

В третьей части описывается развитие движения после Хельсинки, когда возникло множество политических и культурных инициатив, появился периодический самиздат, газеты, журналы, где люди уже ставили свои имена на обложке. Потом последовал разгром политического крыла движения, был посажен Щаранский, выпущен ряд ведущих активистов, но культурничество продолжало развиваться. И так продолжалось до советского вторжения в Афганистан в декабре 1979 года, после чего чувствительность Советского Союза к западному общественному мнению упала почти до нуля и началось последовательное разрушение всех организационных форм движения. Четвертый том будет как раз об этом периоде, закончившемся открытием ворот.

**– Вы сказали о борьбе евреев с советским режимом, провели ряд параллелей между еврейским движением и диссидентским. Вас это не смущает? Ведь один из основных лозунгов сионистского движения в СССР был «Пусть здесь происходит что происходит, мы хотим только уехать».**

– Диссидентство возникло чуть раньше, чем началась активная фаза борьбы за алию. Но еврейское движение очень быстро обошло демократов и по массовости, и по той поддержке, которую мы имели на Западе. У нас была очень узкая «специализация», большинство стремилось не выходить за эти рамки, и Израиль тоже очень старался, чтобы сионистское движение не взваливало на себя всяческие внутрироссийские проблемы.

Но многие видные сионисты чувствовали себя одновременно и диссидентами – Слепак, Щаранский, кто-то пришел из диссидентского движения и не рвал с ним связей. Кроме того, некоторые дела были смешанными, например «рязанское дело» братьев Вудка, которые начинали с поисков социализма с человеческим лицом, потом пришли к сионизму, а сели наполовину – и так, и так. Сусленский и Мешинер из Бендер сели за то, что написали сотни писем протеста в разные инстанции, из них несколько десятков по поводу еврейских дел, антисемитизма и прочего. Так что на практике разделять не всегда получается.

**– А сюрпризы какие-то были, когда вы начали всем этим заниматься?**

– Да, многие вещи стали для меня откровением – мы же действовали за железным занавесом, в условиях изоляции. У нас не было никакой объективной информации о том, как функционирует еврейский мир, Государство Израиль, как действуют те силы, которые нас поддерживают, и почему они нас поддерживают. (Между прочим, я до сих пор не перестаю удивляться: как еврейский мир, который все время находится в раздоре и раздрызге, смог объединиться в нашу пользу.)

Кстати, «снаружи» нас зачастую точно так же не понимали. В Нативе, который специально занимался Советским Союзом, было абсолютное непонимание природы русскоязычного еврейства. Они мыслили категориями литовского или бессарабского еврейства до начала второй мировой войны, совершенно не понимая, что произошло с евреями после того, как они прорвались в высшее образование и рассредоточились по всей стране. Там вообще не считали, что эти евреи могут приехать в Израиль, потенциал эмиграции оценивался в несколько тысяч человек. Им казалось, что если люди в детстве в хедере не учились, в сионистском движении в юности не участвовали, то у них в принципе неоткуда взяться национальному самосознанию.

**– Ваша книга находится на перекрестке жанров: с одной стороны, полуакадемическое исследование, с другой – там довольно много «вспоминательных» кусков, ненаучной лексики, личного отношения к персонажам и так далее. Вам не хотелось пристать к какому-то из этих берегов, написать что-то более однородное жанрово и стилистически – либо монографию, либо мемуары?**

– Мне хотелось воссоздать движение таким, каким оно было на самом деле. Если бы я ограничился архивными материалами, которых очень много, то исказил бы картину. Письма и обращения писали в основном одни и те же люди, это был узкий слой активистов. А большинство людей не бежали к корреспондентам и не стремились проявить себя как-то открыто. Преподавание иврита, детские сады, школы, различная активность на периферии – все это не предполагало публичности. Наоборот: чем меньше бумаги и следов, тем больше шансов на выживание.

Поэтому мне было важно поговорить с теми, кто в разное время играл ключевую роль в движении, и выяснить, что двигало ими, какую программу они пытались реализовать, какую стратегию и тактику в борьбе выбирали, какие практические направления развивали, какой след оставили. Вот эти интервью – я их взял уже более 180 – легли в основу моей книги. Именно они позволяют воссоздать живую ткань движения. Кроме того, во всем мире была масса информационных бюллетеней, возникавших на базе телефонных разговоров с Россией, сохранились сотни кассет с записями этих бесед. Их я тоже по возможности использовал.

**– Многие люди из тех, кто годы или даже десятилетия просидели в отказе, приехали в Израиль – и не смогли найти себя в новой стране, в новой жизни. Есть ли проблема «отказников после отказа»? Велико ли, по вашей оценке, психологическое разочарование среди бывших активистов?**

– Тут надо разделять две вещи. Одно дело – личный успех в абсорбции. И другое – реализация мечты. Любая эмиграция – это больно, всегда. Начинать новую жизнь в новой среде, на новом языке – больно. Вы приезжаете в Израиль, готовые обнять любого верблюда за то, что он израильский, а потом выясняется, что вас тут воспринимают как конкурента и пропускать без очереди никуда не намерены.



**– То есть вы уезжали в мечту, а приехали в нормальную страну со своими проблемами?**

– Совершенно верно. И пока вы начинаете понимать, как функционирует это общество и по каким правилам себя в нем вести, проходит немало лет. Кроме того, многие отказники приехали в возрасте за 45, они не заработали здесь пенсий, у них нет обеспеченного будущего. Но из 180 людей, которых я спрашивал, оправдались ли их ожидания, практически все ответили: это было самое важное, самое правильное решение в моей жизни.

**– Победа вашего движения очевидна. Брешь удалось пробить, расширить – и в нее хлынул огромный поток, в том числе вполне советских людей, ни за что никогда не боровшихся, послушно голосовавших на партсобраниях, осуждавших израильских агрессоров и так далее. Нет ли у вас обиды, что тонкий слой идеалистов открыл дорогу так называемой «колбасной алии»?**

– Я считаю, что это абсолютно здоровая ситуация. Плохо, когда идеалистов слишком много. Это всегда небольшой слой, 2–5 процентов, я думаю, что больше вредно для народа. Вообще, идеалисты – люди ненормальные, с пониженным инстинктом самосохранения, готовые ради идей рисковать своей жизнью и жизнью других. Это очень опасная часть общества. В определенные периоды истории возникает такая ситуация, когда эти люди становятся востребованными, и тогда они играют положительную роль. Я был идеалистом и остался идеалистом, но я знаю, что это плохо.

А те люди, которые приехали в 90-х, – это здоровая часть нашего народа, они нормально жили, работали, заботились о своих семьях. У них не было таких претензий к израильскому государству и таких ожиданий, как у многих из нас. Они стоят на земле, они достаточно быстро и достаточно успешно интегрировались, нашли себе работу, обустроились, начали свой бизнес – в отличие от многих идеалистов, кстати. Мне очень нравится, что они сюда приехали, потому что здесь у них и их детей есть будущее.

Лев Гурский

Роман Арбитман: Биография второго президента России

Волгоград: ПринТерра,

2009. – 248 с.



### На президентской орбите

Известный романист, автор множества детективных и приключенческих романов Лев Гурский выпустил книгу в новом для себя жанре – биографическом. Предметом исследования писателя стала жизнь и судьба Романа Арбитмана, второго президента России (2000–2008). В августе 2008 года, после истечения второго президентского срока, он... улетел в космос на корабле с нейтринным двигателем. Через 80 лет экс-президент обещал вернуться. Чтобы, возможно, снова стать главой страны.

Сразу уточним: герой сочинения Льва Гурского – вовсе не Роман Эмильевич Арбитман, известный литературный критик, автор множества статей о современной беллетристике. Книга рассказывает о Романе Ильиче Арбитмане. Подобный «сдвиг» имени – характерный прием Гурского-биографа. Не только Арбитман, но и многие другие персонажи книги чуть-чуть переименованы – ровно настолько, чтобы подлинная историческая картина дала трещину и сквозь эту трещину смог прорасти вымысел. (На контртитule, для особо недогадливых, указано: «Литературно-художественное издание».) Роман Ильич Арбитман живет в причудливом, синтетическом мире, где реальность и «альтернатива» перемешаны в хитроумной пропорции. Образ Р.И. Арбитмана соткался из множества прототипов, в числе которых – и «прорабы перестройки», и «спасители отечества», и саратовский литературный критик Р.Э. Арбитман.

Автор книги доводит до абсурда и гротеска многие литературные жанры, вполне этого осмеяния заслуживающие. Среди основных мишеней пародии Гурского – «среднестатистические» выпуски серии «ЖЗЛ» советских времен, верноподданнические политические биографии, беллетризованные «жития» современных пророков, «объективные» журналистские расследования, псевдоученая ахиня о «сакральных корнях власти», мистико-конспирологическая «клюква» и др. Несомненно, аукнулись в книге и знаменитая глава о Чернышевском из «Дара» (как-никак оба героя родом из Саратова), и «Записки сумасшедшего» – в той их части, где герой возомнил себя испанским королем. Сконцентрированы здесь и стереотипы литературной фантастики – так, космическую силу Р.И. Арбитману придал метеорит, в детстве ударивший ему в голову.

В целом же книга «Роман Арбитман» – это альтернативная история, изложенная в манере забавного и многослойного капустника. Роман-шутка «для своих»;

изоощренный интеллектуальный анекдот, разросшийся до размеров «среднего» жезээловского тома. Приемы, на которых строится книга, несколько однообразны и местами утомляют, но в целом технику превращения фактов в артефакты Гурский демонстрирует на зависть изобретательную. А разгадывание всевозможных головоломок, шарад и ребусов в книгах Гурского давно превратилось в особый вид спорта для его почитателей.

Его Роман Ильич Арбитман – это универсальный герой современной жизни, литературы и политики, средоточие всех главных архетипов своего времени: супермен и демократ, человек-феномен и рубаха-парень, потомок лифляндских баронов и внучатый племянник историка Гершензона. А еще Р.И. Арбитман – это «кривое зеркало»... Эраста Фандорина. Недаром герой книги был во времена Ельцина министром по особым поручениям. Биография президента Арбитмана – это цикл впечатляющих триумфов. Он все предвидел, всех победил, всем помог. Из саратовского филолога, школьного учителя и журналиста переквалифицировался в непотопляемого «серого кардинала» Кремля, правую руку первого президента, Главного Преемника, а затем и вождя нации. Книга Гурского – во многом карикатура на политическую атмосферу России 1990–2000-х.

Уязвимыми – в моральном аспекте – выглядят лишь жестокие «альтернативные» упражнения Гурского на тему Чечни, Беслана и подлодки «Курск». Но тому, кто пишет книгу о президенте России и в чем-то идентифицирует себя с ним, «все дозволено», не так ли?

*Αἰῶνάς ἰ ἐδίθεεί*

## ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

Третья мировая Баси Соломоновны

Антология

М.: Текст; Еврейское слово, 2008. – 288 с. («Проза еврейской жизни»)



Асар Эппель сам замечательный рассказчик, тонко чувствующий язык, создатель целого мира, целой энциклопедии типов и характеров жителей московского Останкина послевоенной поры. И в данном случае, то есть в составлении этой антологии, его чутье рассказчика сказалось в полной мере.

Главное достоинство рассказов, составивших сборник, – их разнородность. Вроде бы это и неудивительно, поскольку в книгу вошли произведения авторов, совсем не похожих друг на друга ни по языку, ни по стилистике, ни по мировоззрению – от Алексея Варламова до Маргариты Хемлин. Но и сами по себе рассказы представляют довольно пеструю картину: здесь и притча, и фельетон, и воспоминания, и случайная сценка. Иными словами, книга лишена монотонности, она на удивление разнопланова, при том что тема действительно одна.

Название, навеянное рассказом Маргариты Хемлин, описывает ее вполне точно. Главная героиня, Бася Соломоновна, решает, что 22 апреля 1970 года, в столетний юбилей Ленина, начнется третья мировая война. Более емкий символ XX века придумать трудно. Революции и мировые войны составляли его суть. Две фобии соединились в одну, в один советский миф. Собственно, об этом, о советском мифе, пронизывающем всю ткань существования, выворачивающем жизнь наизнанку, повествуют большинство текстов сборника. Еврейская тема здесь лишь составляющая этих рассказов о советскости.

Уже первое произведение – рассказ Василия Аксенова «Победа» – задает основной тон, берет главную ноту, которая будет звучать на протяжении всей книги. Ситуация проста: гроссмейстер играет в шахматы со случайным попутчиком. Гроссмейстер – интеллигент. Попутчик – нахрапистый тип с огромными руками и татуировкой Г. О. на левом кулаке. И шахматная партия превращается в знакомую ситуацию противостояния обыкновенной человечности и советского жлобства. Хотя ничего прямо не говорится, в основе рассказа – фигура умолчания. А еврейская тема звучит один раз и как будто косвенно:

*– Вот интересно: почему все шахматисты – евреи? – спросил Г. О.*

*– Почему же все? – сказал гроссмейстер. – Вот я, например, не еврей.*

– Правда? – удивился Г. О. и добавил: – Да вы не думайте, что я это так. У меня никаких предрассудков на этот счет нет. Просто любопытно.

– Ну, вот вы, например, – сказал гроссмейстер, – ведь вы не еврей.

– Где уж мне! – пробормотал Г. О.

Гроссмейстер проигрывает. Намеренно. Как будто избегая какого-то другого, не шахматного, а уже жизненного конфликта. И именно эта, угадываемая и хорошо знакомая типология жизни составляет основу рассказа. И дальше в книге именно она выходит на первый план. О чем бы ни шла речь. О собаке, которую крановщик Чикин подбирает на улице и называет Саррой. Он кормит ее, гуляет с ней и бьет по воскресеньям: «Сарра, – звал он, – выходи. Чего уж там? Надо творить искупление вашей нации, будем вам делать аминь» (Георгий Балл, «Сарра»). Или о трех еврейских женщинах: бабушке, матери и дочери, в судьбах которых как будто воплотилась какая-то страшная жизненная правда. Слово бы от столкновения с темной советской жизненной составляющей их сила и мудрость искажаются и начинают уничтожать самих себя (Людмила Петрушевская, «Как много знают женщины»). Или о странном человеке по фамилии Головкер, который только и смог проснуться, эмигрировав в Америку, оставив серую советскую повседневность Ленинграда, жену и приемную дочь, и окончательно осознал свое пробуждение, когда приехал навестить бывших родственников (Сергей Довлатов, «Встретились, поговорили»).

В конце концов, именно этому посвящена книга – преодолению советскости, страшного жизненного строя, который противостоял человечности, который не ценил все то, что и составляет жизненную ценность: душевную тонкость, хрупкое и нежное вещество существования. Если подумать, то это противостояние, собственно, и есть третья мировая война.

*Грессмэйстер*



*Á-ãòî Îí añòü*

*À ëpáíâü èèòüí îéà îíà añòü*

*Á-ãañò ëpáíâü*

*í îéà ñò îéò àííàòèò èàé æðàò èèíèíðíá ííæàð*

*Ã-ñîíâü àèèèé Ýë-èèí Ãááíèüíí Àèèàã Àéáàð*

Из задыхающейся речи, из дробленных слогов, из намеренного хаоса созвучий все-таки вырастает гармония, проясняются закавыки и заикания, в лады укладывается странная мелодия воспоминаний о времени.

«Легкая музыка», «Русский вальс», «Московский романс» (все названия стихотворений книги) не должны сбивать. Это лишь остатки или остов мелодий, каркас, на который наматывает смысл ритм обрывочных слов.

Хорошо комментатору (примечания к книге составлены Менахемом Ягломом) – он выклеывает зернышки смысла и дробит их, растолковывая религиозное или историческое содержание. Но это лишь вспышки, лишь метки и флажки, выпуклости и вмятины, по которым «слепой» читатель двигается по тексту. Заполнять лирические пустоты, осознавать собственно лирическую материю приходится самостоятельно.

Генделев разбрасывает паутину из цитат и намеков. Книга испещрена экивоками. И дело не только в том, чтобы разгадать – это стихотворение о Троцком, а это о Бродском, но в том, чтобы собрать звуковое крошево распадающейся речи рапсода Генделева.

И постепенно становится понятно, что эта расчлененность и есть существо лирического воспоминания. Эта дробящаяся на атомы материя и есть собственно лирическая стихия:

*к áé*

*áü*

*ò áé*

*áü*

*éðáñò èòüüý áéýâü*

*áí áü èý í ðíñò ññáá:üý*

*÷òíá íòèòüýèüíí í îðíðí èýòü*

*ñèüí ííñòíí òáíð:áñèá añòðá:è*

*è á òðáòüüí í ññáá èèóá*

*äàòúîãöâ:íîñè ðäöáí ò*

*òíé äíëæííé öðúñòéîñòé*

*âéíòíðíé*

*áú ì úñüü*

*íðíáíäæà öæüü*

*äãðíæöáí â èàòöáíäðæé*

*(Äíñðéü)*

*íî ñàí úáíî íî èäíðú*

*Í èéíëæ Äëæñíí äðíá*

## ПИСАТЕЛЬ РАССЕЯННЫЙ

Сергей Чупринин

Русская литература сегодня: Зарубежье

М.: Время, 2008. – 784 с.



«Видел наших?» – спрашивает Тарас у Янкеля. «Как же! Наших там много, – бодро откликается еврей. – Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор...» Бульба негодует: «Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев...»

Цитата из гоголевской повести вспомнилась по невольной ассоциации – да простит меня за нее Сергей Чупринин.

Критик, публицист, главный редактор журнала «Знамя» в 2007 году выпустил справочник «Русская литература сегодня», где главное внимание уделил авторам, живущим на территории России. Новая работа Чупринина должна восполнить пробел и систематизировать современных русскоязычных писателей, живущих в рассеянии – то есть в ближнем и дальнем зарубежье. Со своей задачей дотошный составитель безусловно справляется, являя читателю обстоятельную, вдумчивую, насыщенную конкретикой работу. Попутно же высвечивается едва ли предусмотренный автором ответ на сакраментальный еврейский вопрос: «Много ли наших?»

Ответ выглядит не слишком неожиданным, но временами любопытным. В «русском» писательском Таджикистане нет ни одной еврейской фамилии. Туркмении на литкарте нет вообще. В Украине – в силу ее пространства и традиций – искомые кадры имеют место, но не во множестве. В перечнях литераторов Грузии, Армении, Казахстана, Азербайджана еврейское присутствие скудно.

Зато в маленькой Эстонии их число выше среднего – в списке наличествуют Борис Балясный, Нафтолий Бассель, Роман Лейбов, Леонид Столович, Борис Тух (хотя Юрий Лотман и Зара Минц ушли из жизни, сила притяжения Тартуского университета по-прежнему сказывается). В целом же на постсоветском пространстве – за пределами собственно России – расклад однозначен: количество евреев-писателей убывает; после 1991 года большинство их перебирается либо поближе, в метрополию, либо подальше – в Германию, в Штаты и на историческую родину.

Германский список выглядит солидно. Многие имена (и ветеранов, и активных авторов) на слуху: Владимир Арро и Анри Волохонский, Леонид Гиршович и Борис Гройс, Владимир Кунин и Борис Хазанов, Борис Рацер и Вадим Перельмутер. Покинув Россию, они остались в пределах ее литературного пространства. Их любит периодика,

они присутствуют в лонг- и шорт-листах авторитетных литературных премий. Мало кто из нынешних российских писателей может похвастаться таким числом изданных в Москве книг, как житель Франкфурта-на-Майне Фридрих Евсеевич Незнанский.

Не менее внушительно смотрятся США. Еще в советские времена многие эмигранты, раздумавшие (или вовсе не желавшие) воссоединиться со своей ближневосточной родней, оседали на родине Томаса Джефферсона. В 70-х и 80-х годах Америку открыли для себя Юз Алешковский, Наум Коржавин, Эфраим Севела, Соломон Волков, Александр Генис – они и ныне украшают американский список. По количеству выпущенных в Москве книг Эдуард Хаимович Топельберг (он же Эдуард Тополь) почти догнал бывшего соавтора Фридриха Незнанского.

Особая тема – Израиль. Страна не могла не попасть в лидеры уже по числу писательских союзов и ассоциаций: их четыре. (При этом Союз русскоязычных писателей Израиля объединяет как тех, кто считает себя «русскими писателями, живущими в Израиле», так и тех, кто называет себя «израильскими писателями, пишущими по-русски».) Ясно, что страна должна была также стать – и стала – чемпионом по объему русской литературной периодики (18 наименований журналов и альманахов). Разумеется, этот раздел оказался самым богатым на персоналии (в списке Анатолий Алексин, Дина Рубина, Игорь Губерман, Феликс Кривин, Леонид Словин, Григорий Канович и многие другие – всего 92 человека).

Напоследок – еще о нескольких странах дальнего зарубежья, где русско-еврейская писательская компонента не столь предсказуема.

Отдаленная Австралия и гораздо более близкая Франция в сумме с трудом дадут десяток имен. Великобритания прибавит к ним от силы полдюжины. В Ирландии, например, вообще всего два русских писателя, зато оба наши – Евгений Бенилов и Анатолий Кудрявицкий. В Чехии русско-еврейская писательская диаспора представлена обширно (тут и Петр Вайль, и Дмитрий Волчек, и Кирилл Кобрин, и Александр Левиков – сказывается, вероятно, близость «Радио Свобода»). А вот Словакии хвастаться нечем: там живет единственный русскоязычный писатель Сергей Хелемендик – да и тот с 1988 года «занял отчетливую антилиберальную, антиглобалистскую и антисемитскую позицию».

Так что будете в Братиславе – в гости к нему лучше не заходите.

*Ἐὶ ἂν Ἀδαὸὶ ἂν*

## МЕЖДУ АТОСОМ И ВОЛАНДОМ

**Вениамин Смехов**

**Та Таганка**

**М.: Время, 2008. – 640 с.**



**В жизни так не бывает**

**М.: Время, 2008. – 624 с.**



Народный артист России Вениамин Смехов исполнил в кино и на телевидении десятка два ролей, а прославился на всю страну благодаря одной. В сериале «Д’Артаньян и три мушкетера» тридцать лет назад ему выпала козырная роль Атоса, он же безутешный граф де ла Фер, – роль, сыгранная не «на разрыв аорты», не на пределе актерских возможностей (хотя Дюма в обработке Марка Розовского, собственно, и не требовал «полной гибели всерьез»). Подобный парадокс зрительского восприятия преследует, кстати, и первого педагога Смехова в Щукинском училище Владимира Этуша: великий вахтанговец в глазах широкой публики – это товарищ Саахов, Шпак, Карабас-Барабас. И всё.

Справедливости ради заметим, что Смехову, актеру с «таганковской» театральной репутацией (от Любимова – значит, смутьян) и с нетривиальной для наших широт внешней фактурой, вообще пробиться в советском кино было проблематично. В образ «человека из народа» он категорически не вписывался, для патентованного злодея был чересчур интеллигентен, а роли иностранцев в ту пору отдавали, по преимуществу, прибалтам. Не раз и не два Смехова заворачивали на пути к широкому экрану с вердиктом «острая внешность» – что было эвфемизмом все той же приснопамятной «жидовской морды». Сам актер с иронией вспоминает один из таких случаев: худсовет киностудии не утвердил, уже после удачных кинопроб, на роль ни его, ни клоуна Леонида Енгибарова – ввиду все той же «нерусской внешности». (Енгибаров потом смеялся: «Если бы я признался, что я совсем не еврей, они бы мне мой нос простили!») Главной стихией Смехова-актера стал театр.

На Таганке, где автор книги оказался уже через год после окончания училища, его артистический талант и «резкая» фактура пришлось ко двору. Театру и людям,

вовлеченным в его орбиту (Любимов, Высоцкий, Эрдман, Вознесенский, Евтушенко, Трифонов и другие), посвящено больше половины собранных в двухтомнике мемуарно-исповедальных заметок. В некоторых, где автор цитирует свои тогдашние дневниковые записи, он гипертрофированно рефлексивен. Каждая репетиция, каждый спектакль словно становятся экзаменом на звание артиста: удача? полуудача? провал? полный крах? Актер болезненно переживает всякое замечание главного режиссера и беспредельно счастлив в минуты редких похвал сурового постановщика. Лучшие роли были сыграны в спектаклях Любимова: «Добрый человек из Сезуана», «Послушайте!», «Гамлет», «Тартюф», «Дом на набережной», а любимейшей стал Воланд в «Мастере и Маргарите». Образ Князя тьмы долго не складывался, не была найдена доминанта, пока однажды режиссер не предложил: «Используй то, что у тебя есть от природы... вашу вечную печаль еврейского народа», – и роль пошла.

Смехов вспоминает о том, что обвинения всей Таганки по «пятому пункту» в былые времена случались нередко. В газете «Красная Звезда», к примеру, Ю. Зубков «лишил спектакль “Павшие и живые” права ратовать за Родину-мать, поскольку, как показалось критику, в подтекстах и самих стихах, в подборе имен и самой национальной принадлежности поэтов (Пастернак, Самойлов, Слуцкий, Коган, Багрицкий) ясно слышится защита не той, а иной “Родины-матери”. Какой именно, автор от волнения забыл указать». А уж как злорадствовали недруги театра, когда Любимов, лишенный советского гражданства, принял гражданство Израиля! Вот, мол, глядите, мы так и знали... Пройдет всего несколько лет – и Любимов вернется обратно в Москву, чтобы снова возглавить свой театр, а Смехов приедет с гастролями в Израиль и будет встречен тамошней публикой с ликованием: Атос из «Трех мушкетеров» здесь!

«У меня родители евреи, а я, к сожалению, свою предысторию не знаю», – признавался артист в одном из газетных интервью и соглашался с обращенными к нему упреками «в невежестве по поводу еврейской истории». Подмечая за собой некоторые национальные слабости (скажем, «еврейско-детскую неотвязность»), мемуарист в то же время настаивает на своей аллергии к «эстраднему сарказму с еврейским акцентом». В последнее, правда, верится с трудом. В книге, наряду с по-актерски меткими воспоминаниями о современниках (среди них Серафима Бирман и Андрей Миронов, Игорь Кваша и Лиля Брик, Виктор Некрасов и Вадим Сидур), явный перебор бодрых «капустнических» шуток – словно автор хочет во что бы то ни стало оправдать свою фамилию. Вряд ли, скажем, следовало включать в двухтомник раздел «Эйфоризмы» (с миниатюрами вроде: «Обрезание – применение крайней меры к крайней плоти»; «Непосредственная актриса – это актриса, которая живет не по средствам»). Для Атоса это слишком мелко, для графа де ля Фер – попросту моветон, а уж сурово-печальный Воланд, боюсь, за такой юмор а-ля Жорж Бенгальский и вовсе приказал бы голову оторвать.

*Евг. Аоднев*

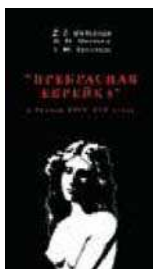
## ЧТО ТЫ ЖАДНО ГЛЯДИШЬ НА ДОРОГУ?..

Фельдман Д.З., Минкина О.Ю., Кононова А.Ю.

«Прекрасная еврейка» в России XVII–XIX веков: образы и реальность

Статьи и документы

М.: Древлехранилище, 2007. – 144 с.



В этой компактной, изысканно изданной (на форзацах – красные меноры по черному полю, в колонтитулах – изящный дамский профиль) и богато иллюстрированной (целых три вклейки) книге коллектив историков-архивистов рассматривает несколько «казусов» XVII–XIX веков, с теми или иными вариациями укладывающихся в сюжет добровольного крещения еврейской девушки ради брака с христианином.

Это и реальные истории с благополучным исходом: когда жидовки молодые крестились, и делали блестящие партии, и становились княгинями, сохранив при этом прекрасные отношения с родителями (к примеру, княгиня Долгорукова, дочь моголевского купца Беньямина Шпейера).

Это и реальные истории с исходом куда менее благополучным, вроде рассказанной в мемуарах Фаддея Булгарина: проезжие корнеты-поэты-повесы подбивали юных дев на бегство из дому и крещение, затем бросали их, и тем оставалось – либо в монастырь, либо в воду.

Это и истории со слегка отличным сюжетом, где акцент переносится на отца девушки, который сначала отказывается, а затем уступает просьбам общины пожертвовать семейной честью и отдать дочь тому или иному нееврейскому властителю, дабы спасти соплеменников от неминуемых репрессий. Этот сюжет получил широкое распространение, и до сих пор в украинском еврейском фольклоре бытует предание о том, как один умник в одном местечке предложил отдать графу Потоцкому одну юную красавицу, дабы граф возлюбил чрез нее всех евреев и стал их защитником. После долгих уговоров отец девушки согласился, и на вопрос «Что же теперь?» умник ответил: «Теперь остается уговорить графа Потоцкого».

Несколько особняком стоит самый ранний из зафиксированных «казусов» подобного рода – история «жидовки Маланьи», захваченной в плен во время Смоленской войны 1632–1634 годов, купленной сыном боярским из города Рыльска, крестившейся и вышедшей за своего хозяина замуж. Эта история особенно ценна тем, что рассказана самой Маланьей в ее многочисленных челобитных государям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу о денежном вспомоществовании себе и своему семейству.

Эта книга – замечательная фактография с почти полностью опущенной аналитической компонентой. Исследовательская позиция заявлена лишь в общей и довольно казенной формулировке актуальности и значимости темы, находящейся на стыке еврейских и гендерных исследований. Кроме того, постулируются важная роль «этих “казусов” в контексте русско-еврейского диалога, интенсивного взаимодействия двух культурных традиций» и функция женщин как медиума «между двумя социокультурными пространствами».

Между тем совершенно не очевидно, что в описанных историях имел место какой-либо интенсивный культурный диалог. Скорее, речь здесь должна идти о силовых отношениях, о различных сценариях власти – государственном, конфессиональном, социальном, семейном, – о принуждении подданных империей, еврейского меньшинства – христианским большинством, индивида – общиной, девушки – отцом семейства, о реализации архаических сотериологических схем, о ревокации фольклорно-мифологического сюжета об откупе путем выдачи опасному врагу (чудовищу) юных и прекрасных, то есть самых ценных, членов социума.

Авторы отмечают сходство реальных историй с литературными сюжетами о «прекрасных жидовках», проанализированными, в частности, в работах Михаила Вайскопфа, но не выявляют различий и не рассматривают моделей, по которым происходила романтизация действительности.

История Маланьи, самая древняя и потому самая любопытная из описанных в книге, просто пересказана и сопровождается публикацией источников (четыре дел Разрядного приказа), но лишена аналитического комментария, в котором желательно было бы предложить ответы или хотя бы просто поставить следующие вопросы. Почему челобитные написаны от лица Маланьи, а не ее супруга, более полноправного лица? Писала ли она их сама, и вообще – знала ли она русский язык (или только западнорусский, или польский)? Почему она – несмотря на настойчивые уговоры неоднократно приезжавшего в Рыльск отца – наотрез отказывалась возвращаться в Литву? Зачем с ней так церемонились власти, опекали ее и практически содержали? Если из соображений православной пропаганды, то на кого она могла быть рассчитана?

Впрочем, авторы корректно признают, что данная книга – лишь «начальная попытка разработки еврейских аспектов гендерной истории и приглашение к дальнейшим исследованиям в этой области». И в этом качестве – заявления новой темы, снабженной богатым материалом, – книга, безусловно, удалась.

*Ààèèí à Çàèáí èí à*

## БУБЕР ЗАГОВОРИЛ ПО-УКРАИНСКИ

Мартин Бубер

Гог і Магог

Пер. с англ.

Киев: Дух і літера, 2008. – 304 с.



Пересказывать единственный роман одного из крупнейших философов XX века и первого президента Израильской академии наук нет нужды – он уже издавался по-русски. В центре сюжета борьба двух цадиков – Якова-Ицхака из Люблина, помогающего Наполеону силой магии в надежде на скорое избавление Израиля, и его ученика, Святого Еврея из Пшисхи, считающего, что негоже приближать Добро силами Зла.

Изюминка украинской версии, прежде всего, в оригинальных иллюстрациях известного графика Виктора Гукайло, удивительно тонко вписавшихся в буберовскую атмосферу «магического детектива». Такой издательской культуре (при всей сдержанности художественных средств) могли бы позавидовать многие позабывшие, что обложкой эта культура не ограничивается. Кстати, глоссарий еврейской терминологии в конце книги тоже оставляет приятное впечатление профессионального подхода.

Есть ли смысл в «самостийном» украинском Бубере? Безусловно. Во-первых, в Украине выросло целое поколение, для которого родной язык ближе, естественней и понятней русского. Да и со времени издания русского варианта «Гога и Магога» прошло шесть лет – срок достаточный, чтобы стать если не раритетом, то случайным гостем на книжных полках.

К сожалению, книгу постигла нередкая для зарубежной еврейской литературы беда – перевод выполнен не с языка оригинала. В данном случае «цепочка» выглядит особенно длинной. Как известно, «Гог и Магог» – одна из первых книг, написанных Бубером на иврите. Несколько позднее появилась немецкая версия, на которой (сверенной с ивритским оригиналом) основано «гешаримовское» издание 2002 года. Источник же украинского «Гога і Магога» – английский перевод, выполненный с немецкого языка Людвигом Льюисом. Так что аутентичность текста – на совести издателей. Хотя, спору нет, украинский язык романа ясен и чист. В чем немалая заслуга самого Бубера – недаром современники злословили: мол, он еще недостаточно овладел ивритом, чтобы писать на нем столь же туманно, как на родном немецком.

*יְהוָה אֱלֹהֵינוּ*

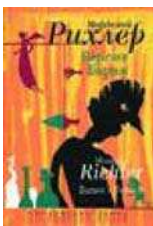
## МЕМУАРЫ МИСТЕРА ПАНОФСКИ

Мордехай Рихлер

Версия Барни

Пер. с англ. В. Бошняка

М.: Флюид, 2008. – 592 с.



Канадский прозаик Мордехай Рихлер совершил, казалось бы, почти невозможное: написал роман одновременно веселый и трагический, легкомысленный и глубокий, развлекательный и интеллектуальный. На родине автора книга удостоилась различных литературных наград, среди которых преобладают юмористические. Что ж, юмор этой книги действительно блестящ, но значение романа явно не ограничивается сферой смешного.

Рихлер фактически ввел в мировую литературу новую тему – жизнь еврейской колонии в Монреале. Писатель сам родом из столицы франкофонной Канады. Борьба местных патриотов за независимость Квебека и против «засилья англосаксов» – важный социальный фон романа. Герои «Версии Барни» живут в «мятущемся, расколотом надвое городе».

Книга сконструирована не без затей. Ее текст – это рукопись мемуаров Барни Панофски, написанных в 1990-х годах как сердитая отповедь на книгу воспоминаний его старого друга и собутыльника Терри Макайвера, посвященную их совместным богемным похождениям в Париже начала 50-х. «Оскорбительный поклеп» (а именно так воспринял Барни книгу Макайвера) заставил стареющего телепродюсера, жуира и пьяницу взяться за перо и рассказать, «как все было на самом деле». Комизм и пародийность мемуарного опуса резко усилены за счет контраста версий и стилевых пластов. Прихотливые «зигзаги памяти» Барни, помноженные на его темперамент, юмор и образ жизни, превратили текст в феерическую автобиографию прожженного дельца, жизнелюба, рубахи-парня, ценителя виски и страстного фаната «Монреаль канадиенс». И главное, это книга о трех женах Барни, о различных происшествиях (подчас странных и загадочных), всю жизнь сопровождавших мистера Панофски.

Его первая жена, экзальтированная художница и поэтесса Клара, родила мертвого ребенка (не от Барни) и затем покончила с собой. Феминистки, однако, нашли в ее творениях нечто «пророческое» и на свой лад канонизировали несчастную девушку. Вторая миссис Панофски была из богатой еврейской семьи, где играли в аристократизм на английский лад. Скоропостижный развод с нею совпал с таинственным исчезновением писателя Буки, закадычного приятеля Барни (последнего немедленно обвинили в убийстве, однако присяжные за отсутствием тела вынесли оправдательный вердикт). С

третьей женой и матерью своих троих детей Мириам он познакомился... на собственной предыдущей свадьбе и, как только появилась возможность, примчался к ней в Торонто. Но все эти три брака – богемный, буржуазный и романтический – в момент написания мемуаров для Барни уже в прошлом. На четвертом десятке лет совместной жизни от него ушла Мириам, дети его давно живут в других странах, для бизнеса он стал недостаточно ловок. На долю старика осталась хорошая выпивка в любимых барах, перемывание косточек монреальскому еврейскому истеблишменту, злые розыгрыши, матчи Кубка Стэнли да ностальгия по тем временам, «когда раввины всегда были мужчинами». Разум Барни постепенно угасает (наследственная болезнь Альцгеймера), но старший сын Майк, ведущий теперь дела недееспособного отца, неожиданно разгадывает – 35 лет спустя – тайну исчезновения Буки... Такая вот история – чем-то похожая на калейдоскопическо-фарсовые телесериалы, которыми всю жизнь угощал зрителей телемагнат Барни Панофски. С той лишь разницей, что в этом сюжете все по-настоящему и без хэппи-энда.

Рихлер нарисовал портрет беспутного старого циника, симпатичного и даже трогательного в своей неприкаянности. Под стать Барни и колоритнейшая галерея монреальцев, изображенная с тонким ироническим психологизмом, в котором соединились лучшие традиции англо-американской сатиры и еврейского юмора.

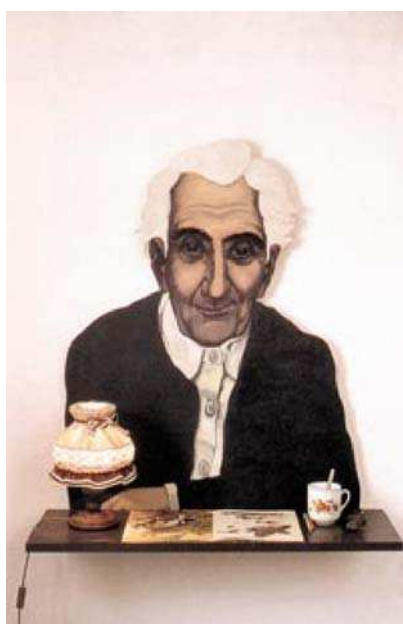
*À l'adolescence*

## ПИВОВАРОВ И ДРУГИЕ МУДРЕЦЫ

*Ἐαὶ ἰ ἂ Ἀἰἡἡἡἡἡἡ*

Виктор Пивоваров – очень известный художник. Одно время он был настолько известен, что его знал каждый советский ребенок. Тот, кто читал «Оле-Лукойе», «Черную курицу» или «Скандинавские сказки». Но последние с иллюстрациями Пивоварова, говорят, доставались только номенклатурным семействам, и то по благу. Зато любой ребенок, даже тот, кто не умел читать, мог рассматривать журнал «Веселые картинки». Пивоваров в этом издании был «неофициальным» главным художником. Собственно, нынешнее заглавие журнала – где буквы то ли оборачиваются человечками, то ли человечки находят опору в буквах – в 1979 году придумал Пивоваров. Тогда журнал расходился тиражом 9 миллионов – больше, чем «Times» или «National Geographic».

Еще Виктор Пивоваров – один из главных «московских концептуалистов». Наряду с Ильей Кабаковым, Эриком Булатовым, Владимиром Янкилевским, Иваном Чуйковым, Эдуардом Гороховским, Андреем Монастырским. Раньше это называлось «широкая известность в узких кругах». Поскольку считалось, что «концептуалисты», сидевшие по мастерским в подвалах и на чердаках, ходившие друг другу в гости, на лекции, концерты и просто попить чайку, страшно далеки от народа. Но теперь выставки их проходят в Москве на лучших площадках. У Владимира Янкилевского была ретроспектива в фонде «Екатерина», у Эрика Булатова и Олега Васильева – в Третьяковской галерее, у Ильи Кабакова – вообще сразу в трех местах, в том числе в галерее искусства Западной Европы и Америки ГМИИ им. А.С. Пушкина. У Виктора Пивоварова выставки прошли едва ли не во всех главных музеях Москвы и Питера. Выставка «Шаги механика» (2004) – в Третьяковке и Русском музее, «Едоки лимонов» (2006) – в Московском музее современного искусства. Опять же, «московский концептуализм» 1970–1980-х, который с легкой руки Бориса Гройса зовется «романтическим», теперь почтенное прошлое, почти классика с бородой.



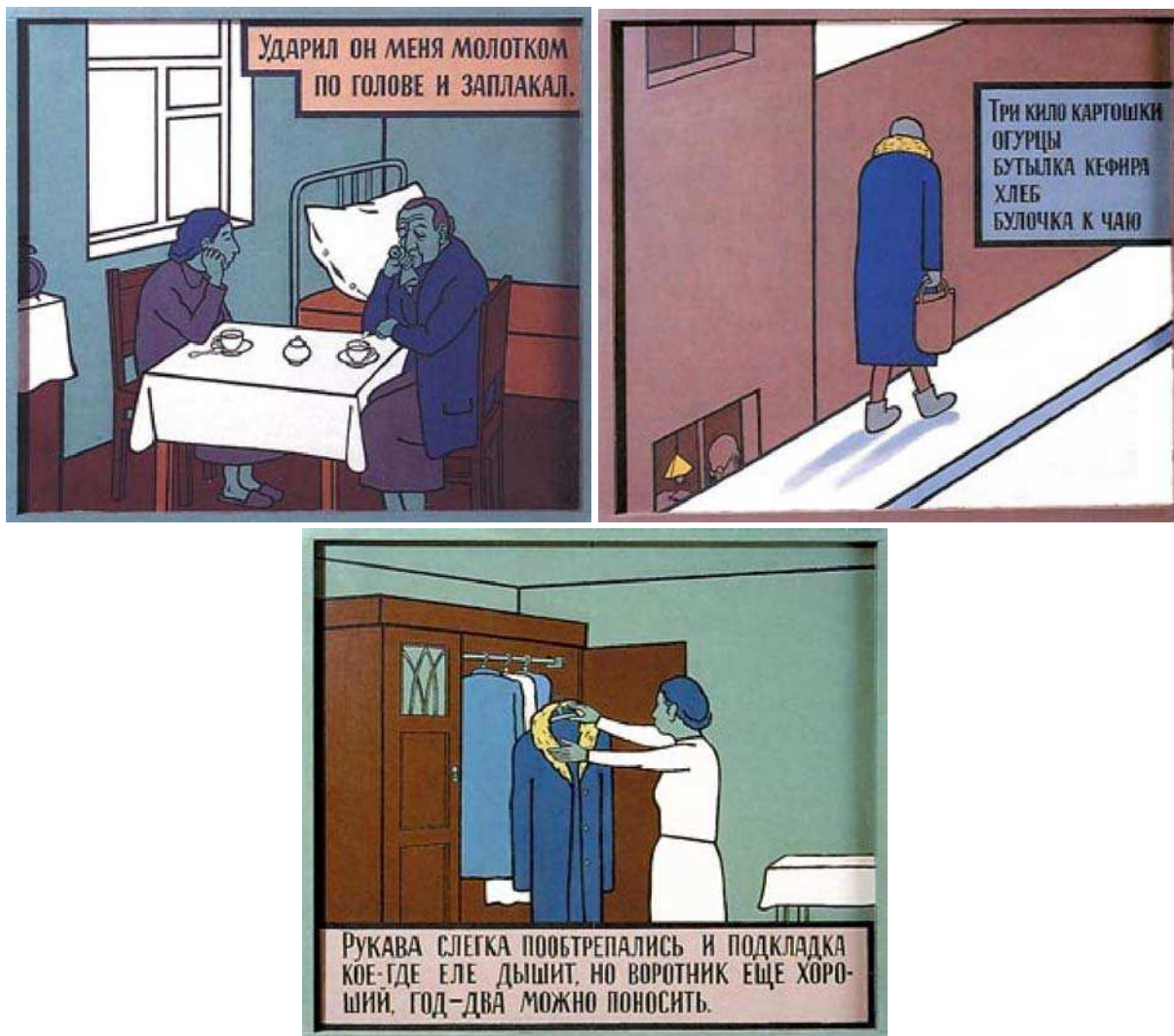
Овсей Дриз. 1998 год.

## ЧУВСТВИТЕЛИ

Сегодня Пивоваров живет в Праге, куда переехал в 1982-м. От других классиков-концептуалистов он отличается так же, как хеломские мудрецы отличаются от университетских философов. Хелом, как известно, странный такой город, где мудрецов почти столько же, сколько жителей, а последних почти так же много, как чудаков. Неудивительно, что о Хеломе сложено множество историй. Овсей Дриз, еврейский поэт, надиктовал незадолго до смерти серию сказок «Хеломские мудрецы». Генрих Сапгир перевел их на русский. Пивоваров иллюстрировал их для «Детгиза» в 1991-м. Но после пугча всем вдруг стало не до сказок, и книжка не вышла. А в 1998-м Пивоваров сделал выставку «Небесный Хелом» в Праге. На этой выставке представлены были портреты поэтов Овсея Дриза и Игоря Холина (с зайчиком), художника Ван-Гога, баяниста Георгия Сергеевича Татузова и разные картины, где действующими лицами оказывались мышки, ежики, чайники, чашки и другие предметы, которые обычно становятся действующими лицами детских книг.

Обитателей пивоваровского Хелома объединяет отнюдь не здравый смысл и не факт присутствия в истории искусств. Одинокого баяниста Татузова, игравшего в пивных послевоенной Москвы, ни в каких энциклопедиях не сыскать. Их не поставишь в пример детям. Сильно пьющий камнерез мрамора и поэт Дриз на святого не похож. Скорее, пивоваровских мудрецов объединяет «высокое безумие», которое раньше звалось «поэтическим». В своей автобиографической книге «Влюбленный агент» Пивоваров напишет: «Я не мыслитель, я чувствитель». Его хеломские мудрецы тоже «чувствители». Они умеют чувствовать то, к чему многие другие глухи. То, чему и названия-то точного нет. То, что просвечивает за оболочкой повседневных образов, но чего ни потрогать, ни перевести в хрустящие зеленые бумажки нельзя. Одни это называли «музыкой небесных сфер», другие – «гармонией», третьи – «супрематическими элементами». У Пивоварова есть странный образ – большое ухо. Странный, потому что речь все же о художнике, который вроде должен «зреть в корень» и прочее. Но дело в том, что взгляд этого художника устремлен к вещам не очень видимым. Не случайно одна из его ранних работ завершается вопросом: «Но как изобразить жизнь души?» Пожалуй, обитателей пивоваровского Хелома объединяет если не умение изображать, то хотя бы умение слышать эту самую жизнь. Короче, они – поэты.

Для Пивоварова художник – тот же поэт. И наоборот. А как еще прикажете понимать его определения художника? «Чтобы стать художником, надо иметь бумагу, карандаши, краски, холст, кисти, тушь, клей, картон. Кажется все. Если этого нет, можно обойтись и без этого». Хеломские мудрецы могли бы гордиться таким афоризмом.



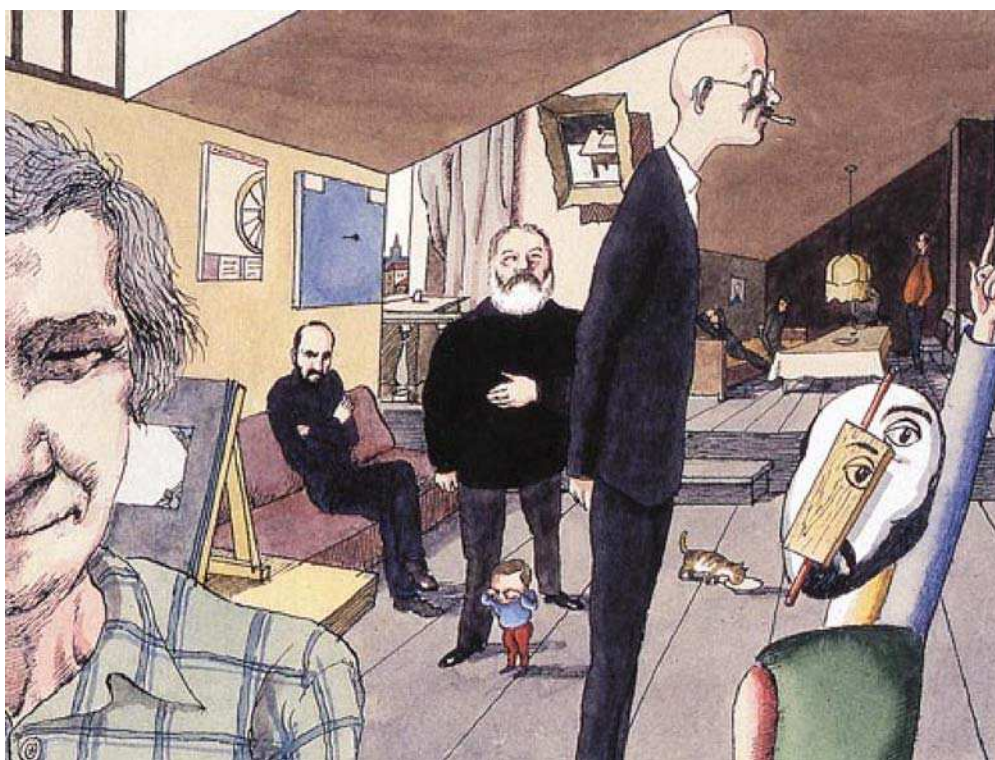
Из цикла «Квартира 22». 1992–1996 годы.

## ВЕЧНАЯ МИМОЛЕТНОСТЬ В ШКОЛЕ И ДОМА

Небесный Хелом не имеет точного географического адреса. Зато временами он напоминает облик «квартиры 22» – той самой коммуналки, в которой после войны жили Витя Пивоваров с мамой Софьей Борисовной и которая дала название циклу из 35 картин середины 1990-х. Вообще-то образ коммунального жителя-бытия – один из любимых у наших концептуалистов. У Кабакова, например, это график выноса помойного ведра или стенд с сакраментальным вопросом «Чья это муха?». Это идеология коллективного существования, обернувшаяся тотальным коллективным бессознательным, это подозрительность к любой отдельной жизни, претендующей на приватность. Не то у Пивоварова. Правда, его картины из цикла «Квартира 22» тоже могут напомнить стенды. То ли четким контуром нарисованных фигур, то ли тем, что плоские фигуры залиты одним лишь цветом – серым, зеленоватым или коричневым. То ли тем, что в плоскость картины аккуратно вписаны слова, как на дидактическом пособии. Правда, слова странные. Словно оброненные фразы из кухонного разговора. Или рассказа какого-то: «Ударил он меня молотком по голове и заплакал». Не только рассказ соединяет жесткость и сентиментальность, но и картина. Картина у Пивоварова экономна – в ней ничего лишнего. Но и у героев картины тоже нет ничего лишнего. Кровать с белым квадратом подушки, стол, где только сахарница и две чашки. Ну, может, еще вешалка, закрытая куском ткани.

Нельзя не заметить, что эта экономность сродни точности формулы. Формулы вроде знакомой, заставляющей вспоминать историю живописи (от Вермеера до Кирико). С другой стороны (особенно в последних работах) – предельно конкретной, чувственной, говорящей внятными языком света, тишины, тепла.

Странно, но скудость и стерильность интерьера не несет следов отчаяния или депрессии. Напротив, эта комнатка, отгороженная от вторжения социума хлипкой дверью, выглядит укрытием. Убежищем для мальчика, сидящего за столом перед окном. Комнатушка на картинах Пивоварова не пейзаж социума, а интерьер души. Собственно, он сам об этом пишет: «Я родился и вырос в бедной комнате, она мое начало, мой корень, моя родина. Я всосал ее со всеми ее убогими предметами вместе с молоком матери. В моих рисунках и картинах эта бедная комната, вся обстановка которой состоит из крошечного колченого стола у окна, деревянного стула, продавленного дивана с высокой спинкой и вешалкой у двери, повторяется с маниакальной навязчивостью. Я рисую эту комнату, и это одновременно и мир, в котором я живу, и мой внутренний портрет».



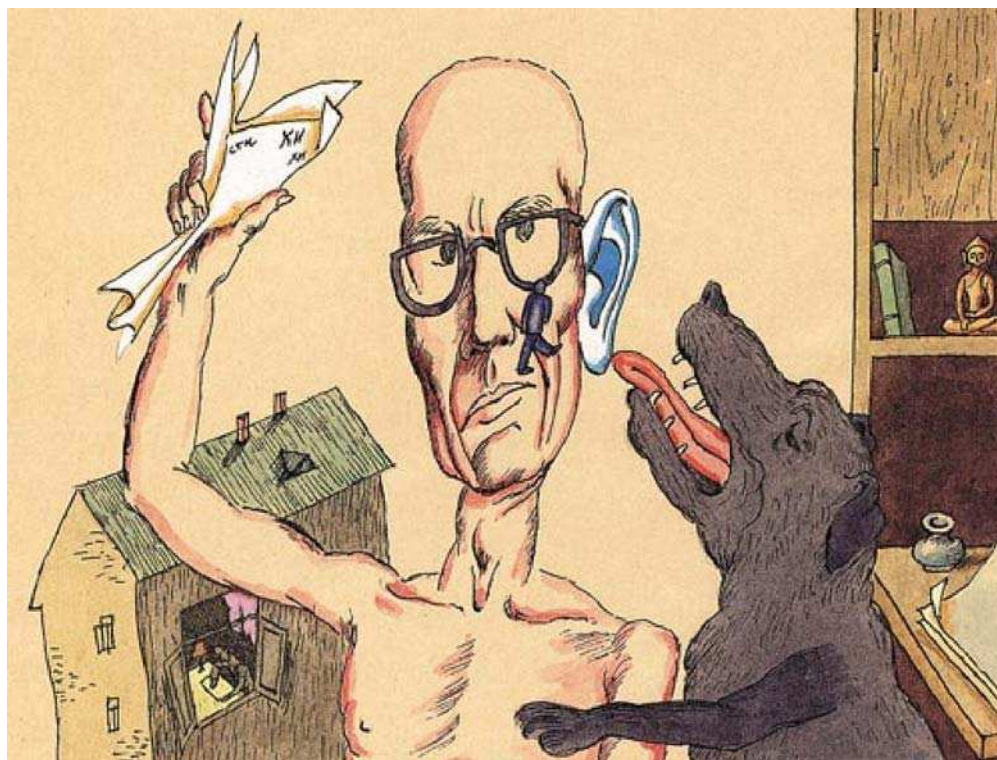
Из альбома «Действующие лица». 1996 год.

**Мастерская Кабакова. Слева направо: Кабаков №1, Булатов, Шварцман, Кабаков № 2, Рабин, чердачный котенок, Шифферс. Сзади неизвестные молодые художники.**

Правда, чтобы интерьер мог стать портретом, нужна еще одна составляющая – время. Не любое, а время детства. Между прочим, ту давнюю, 1998 года, выставку «Небесный Хелом» завершал цикл так называемых «детских» картин, с ложками, мышками в роли героев, плавающими галошами... Как выразился Пивоваров, «я взял “детскую” культуру за ее мышинный хвостик и втащил в картину, в жанр “высокой” культуры». Ну а что еще ожидать от человека, который до этого, наоборот, втащил Босха из «высокой» культуры к андерсеновскому Оле-Лукойе? И настолько успешно, что Чуковский написал ему прочувствованное письмо. Для Пивоварова незакрытая дверца между «взрослой» культурой и «детской» принципиальна. Она нужна не для того, чтобы

черпать «за границей» экзотический антураж. А для того, чтобы сохранить память о тайне – о детских секретах, об играх, которые берегут архаику ритуалов, об интуиции и свободе.

Собственно, он «втаскивает за мышинный хвостик» во взрослую культуру не только зайчиков и ежиков, но и сам принцип игры, в которой могут быть смешаны буддистские изображения, иудейские праздники и элементы православной иконы. Цикл «Лисы и праздники» был показан на выставке «Едоки лимонов». Мифические лисопоклонники имеют вполне реальные исторические корни. А именно – историю о создании в конце 1920-х Еврейской национальной области на Дальнем Востоке. Тогда туда было вывезено несколько тысяч евреев. История 1920-х налагается на «борьбу с космополитизмом» в 1950-е. А также на библейскую историю, повторяющуюся ежегодно в праздниках Суккот, Йом Кипур, Ханука и Песах. Плюс – на увлечения свободомыслящих интеллигентов даосизмом, мифологией и другими увлекательными вещами. В результате у «лисомилов» (они же – «дети облаков») можно обнаружить праздник Избушек, занесенных снегом, описание которого как две капли воды похоже на Суккот и историю Великого исхода. Но здесь можно найти и праздник Вознесения с историей о двух монахах, улетевших на синих воздушных шариках в Сады Небесного Блаженства. И даже праздник Мимолетности, что «отождествляется с перелетными птицами, бродячими собаками и женщинами легкого поведения». Мимолетность игры и жизни в итоге почти уравниваются. Что не так уж плохо, если учесть, что результатом должно стать избавление от страхов и сомнений.



Из альбома «Действующие лица». 1996 год.

**Игорь Холин и его собака Тунгуз.**

## ЖЕЛТЫЙ, СОЛНЕЧНЫЙ, ЛИМОННЫЙ

На самом деле мудрецов, которых Пивоваров готов поселить в небесный Хелом, по-видимому, гораздо больше, чем удалось показать в Праге. Если судить по книгам «Влюбленный агент» или «Серые тетради», то вряд ли можно обойтись не только без неразлучных друзей Холина и Сапгира, но и без любимых художником Велимира Хлебникова, Казимира Малевича, Андрея Платонова или Даниила Хармса. На выставке «Едоки лимонов» можно было обнаружить листки альбома «Философу. Письмо № 3». Наверху адресат: Даниил Хармс, 1937. Внизу отправитель: Виктор Пивоваров, 2005. Рисунки похожи на схемы, еще больше – на детские рисунки, где тремя цветными карандашами – зеленым, синим, оранжевым – обозначены разные состояния человеческой души. Сюжетов два. Один о том, как все эти три цвета поэтапно возгоняются к солнечному желтому. Это процесс Вознесения. Другой о том, как оранжевый, то есть цвет страстей, начинает возобладать. В результате вытянутая вертикальная фигура превращается в оранжевый шарик, который отрывается от верхней желтой плоскости и плюхается прямо в огненные языки пламени. Подпись подтверждает определенность финала: «Пламень. Все». Это процесс Падения и Уничтожения.

Пивоваров рассказывал, что эти схемы с символикой цветов были в тетрадке Хармса, которую он разыскал. А он, дескать, только перерисовал тетрадку на большие альбомные листы. Рисунки, в которых наглядность школьного пособия соединена с простодушной наивной назидательностью, провоцируют улыбку. В них нет важности учительского жеста. Скорее, они похожи на объяснение теоремы, которое один ученик посылает другому, проверяя, хорошо ли выучен урок. Или иначе: на контрольную работу, отправленную учителю на проверку.

	<p><i>14 ינואר</i> <span style="float: right;">חג הבקתות המושלגות</span></p>
<p>白雪蓋房節</p>	
	<p><i>Праздник Избушек занесенных снегом</i></p>
	<p>Праздник напоминает о тяжелых испытаниях выпавших на долю первых переселенцев в суровой дальневосточной тайге. В этот день каждая семья строит в комнате Избушку. Сугробы и снежные заносы делают из снежной ваты. Когда Избушка готова, все выходит на улицу, играют в снежки, в салочки, валяются в снегу. Раскрасневшиеся после мороза возвращаются домой, залезают в избушку и ужинают со свечами и колокольчиками.</p> <p>Ритуальная еда:  <i>винегрет, фаршмак, куриный бульон с клецками, фаршированная рыба.</i></p>

Из альбома «Лисы и праздники».

Часть II. Праздники. 2005 год.

Старый вопрос «Но как изобразить жизнь души?», заданный художником давным-давно, понятно, не предполагает одного ответа. В отчете о ее метафизических путешествиях может пригодиться и схема философа на листке в клетку, и детская азбука, и «деревянный велосипед реализма». В одном из интервью Пивоваров рассказывал о встречах со знакомым в Праге. Обычное шапочное знакомство соседей. Тот не поэт, не художник. А то, что раньше называлось словом «простой человек», но религиозный. И зашел разговор о выходе издания Хлебникова. Пивоваров заметил, что, дескать, перевод не передает всего богатства хлебниковского стиха. А собеседник ему в ответ: «Знаете, мне это неважно, мне достаточно прикоснуться».

Прикосновение не мертвая хватка. Прикосновение – это мимолетность, это чувственность, это достоверность. Это мгновение, которое оставляет память. Собственно, прикосновение – именно то, что помогает ощутить или вспомнить поэт. Или художник, приоткрывающий дверцу небесного Хелома, где живут чудачки, мудрецы и дети.

# САМАЯ ДЛИННАЯ РОДОСЛОВНАЯ

*Òàì àdà Èyèáí éíáì*

Идея, композиция и постановка Д. Крымова

Opus № 7. Родословная. Шостакович

Совместный проект театра «Школа драматического искусства» и фестиваля «Territoria»



Представленный на фестивале «Территория» Дмитрием Крымовым спектакль «Opus № 7» идет в двух частях и прерывается не по причине антракта, а потому что эти части абсолютно разные, и по стилю, и по содержанию. Два вполне самостоятельных спектакля «Родословная» и «Шостакович», которые Крымов зачем-то показывает один за другим. Секрет этого замысла, кажется, кроется в музыке, в желании придать спектаклю, не поступаясь характерными художественными принципами, форму музыкального произведения. Правда, кое-какие музыкальные фрагменты из произведений Шостаковича режиссеру приходится опустить, но в театральной практике это нормально – смикшировать бессмертное произведение, отрезать в одном месте и склеить в другом. Из обрезков, отголосков, остатков, но совсем иного рода, собиралась композитором Александром Бакши музыкальная ткань для другой части спектакля, «Родословной». Словесные обрезки, отрывки, восклицания сочинил Лев Рубинштейн.

Начинается спектакль еще до того, как пришедшие в зал «Манеж» зрители рассядутся по местам, которых, кстати, совсем не много. Между этими зрителями и по сценической площадке, которая выделяется исключительно пустотой и черным цветом покрытия, ходит, толкая перед собой гигантскую швабру, уборщица. Единственная странность, помимо размеров швабры, – объемное, слишком большое пальто, которое служит рабочим халатом. В отличие от прочих, весьма быстрых ассоциаций, эту метафору оцениваешь далеко не сразу – во второй части, когда появляется огромная, под потолок зала, кукла. Оказывается, миниатюрная уборщица в начале спектакля и огромная поролоновая Родина-мать – это одна и та же женщина, женщина вообще. Не случайно «Родословная» заканчивается родами, рождением, а герой следующей части, «Шостакович», входит в зрительный зал робким ребенком.

Правда, большинство иносказаний настолько просты, что достигают своей цели, едва успев воплотиться. Гигантская швабра, как антенна, притягивает радиоголоса. А откуда еще берутся духи, если не из эфира? И почти не удивляет, что половая тряпка оказывается концертным платьем, потому что все отлично знают, каким образом

прекрасные когда-то вещи превращаются в ненужное старье и куда деваются старые фотографии. Это одновременно и обыденно, и волшебно – при помощи шерстяных пейсов и веревки-пояса из кляксы вдруг появляется человек, точнее, проявляется его тень на белой стене. Плача? Расстрела? Просто дома. И вот уже тень превращается в фотографию, из голоса возникает жизнь, вечная, как «куда делись мои очки». Кажется, это разговаривают в соседней комнате.

«Яша был толстый и все время молчал. Больше ничего сказать не могу». «Ее, кажется, звали Дора...» Сидя на жестком стуле, вы смотрите семейный альбом: слишком подробные воспоминания, которым предается нашедший его. Да, знаем, знаем мы и Цию, и Яшу, и Леву Рубинштейна – незачем пополнять Библию новыми персонажами, там и так все есть. Имена на бумажных клочках чужой памяти – их так много, что понадобился настоящий ураган, чтобы только перечислить их. И в этом еще одна замечательная особенность постановок Дмитрия Крымова – через очень простые, практически физические ощущения он вызывает нужную реакцию у зрителя. Безыскусность этих приемов проистекает из самой природы человека: нас пугает внезапно качнувшаяся тень, как-то по-особому торчащие воротник и рукава пальто в темной прихожей. Вы знаете что-нибудь более страшное, чем звук шагов убийцы, переходящего из комнаты в комнату? Неважно, что это всего лишь плоская кинопроекция, ее реальность подтверждает выпрыгнувший из стены детский мяч, настоящий, с потертым боком. Или выкатившаяся оттуда же коляска, почти такая же, как на бесконечной лестнице Эйзенштейна. Или груда обуви, вывалившаяся из пролома, словно из склепа, и детские ботиночки, ярко-красные на черно-белом фоне. Эпизод с ботиночками, когда актер их ведет, как непослушного ребенка, к толпе взрослой обуви, оставшейся от умерших? убитых? – этот эпизод отсылает зрителя к Чарли Чаплину, на которого во второй части будет так похожа душа Шостаковича.

Использование в спектакле готовых, чужих образов, да еще в таком количестве, как ни странно, не раздражает. Наверное, потому, что некоторые из них уже стали устойчивыми в художественном языке. Более того, они действуют не только нарративно, они влекут за собой шлейф уже пережитых эмоций и ассоциаций. Можно назвать это постмодернизмом, но это самая что ни на есть реальность – люди современной культуры постепенно превращаются в египтян. И в этом смысле «великий Шостакович» – знак для тех, кто умеет знаки читать и помнит великих, как родственников, в лицо.



Конечно, срастить две такие разные постановки, как «Родословная» и «Шостакович», – задача сложная, получасовой антракт трамбует первые впечатления, подготавливает почву. Впрочем, еврейская тема, которую Шостакович использует в своем знаменитом трио и которую Александр Бакши цитирует в первой части, музыкально цепляет одну к другой. Из портретного сходства персонажа и композитора – очки и детское выражение лица. Чтобы избежать персонификации, Шостаковича представляет

актриса небольшого роста, рядом с гигантской куклой она кажется беспомощным ребенком, прячущимся в складках просторной маминой юбки, театральной портьеры. Но вот рабочие сколачивают фанерный рояль, кособокий, убогий, и герой бросается на него, карабкается, борется с ним. Физическое преодоление, будь то столкновение железных роялей-танков под звуки «Ленинградской» симфонии или упорная, бессмысленная борьба двух по-разному маленьких людей на люстре, вся эта трудная, рваная пластика у Крымова становится очень точной метафорой душевных усилий.

Фантастичность происходящего, когда попытка прикурить оборачивается пожаром внутри рояля, пугает, как, вероятно, пугала Родина-мать, то ласковая, то чудовищная. То в фуражке с красной звездой, то в павловском цветастом платке, она никогда не отпустит от себя ребенка, даже если он вырос в творца, – никогда. Она хвалит и наказывает, вместо пряника – орден, протыкающий человечка насквозь. И ребенок приобретает кукольные родовые черты – механический голос публичных покаяний, безвольность членов, отрешенность. Да он же практически мертв, – понимаешь в какой-то момент и дальше ждешь: оживет или все-таки закопают, где-нибудь под роялем, когда надоест стрелять? Не то и не другое – он уходит обратно, в мать, тряпичным курганом она валится на него, погребая под собой. И снова звучат слова из самой длинной родословной. «Авраам родил Исаака...»



– Мне о нем рассказала Фиона Темплтон, актриса, которая читает его стихи в этом альбоме. Собственно, мы с ней встречались тогда.

**– Что тебя больше увлекло в этой работе: совершенство поэзии Целана или его захватывающая биография? Проще говоря, ты отталкивался от человека или от стихов?**

– Вопрос по делу... наверное, и то, и другое. Да, его стихи – образец совершенства, работать с ними – это все равно что сверлить драгоценный камень. Но я проникся такой симпатией к нему и к его страданию... Его жизнь – это его стихи, по моему ощущению, там нельзя отделить одно от другого.

**– Насколько важным для тебя было происхождение Целана?**

– Еврейство Целана было важным в самом широком смысле. Но его гений как литератора состоит в том, что ощущение одиночества, которое он поймал, универсально. Еврейское происхождение стало стержнем всей судьбы Целана, в конце концов, его родители не были бы убиты, если бы это не была еврейская семья. Конечно, это наложило отпечаток на всю его жизнь. Но он верил, что и в страдании есть надежда, пусть слабая. Он, например, отправлял зашифрованные письма со словами поддержки республиканцам во время гражданской войны в Испании и участникам восстания рабочих в Вене в 1934 году.

**– Ты выпустил альбом «Force Of Light» на лейбле Джона Зорна «Tzadik», который активно пропагандирует еврейскую музыку. Насколько лейбл близок к еврейской традиции в целом, например, к религии?**

– У «Tzadik» много направлений. К примеру, то, что основатель и владелец «Tzadik» Джон Зорн называет «Radical Jewish Culture». Есть собрание релизов, которое озаглавлено «Серия композиторов». Есть серия для женщин, она называется «Oracles», и там выпускает свои записи Памелия Керстин, которая в моей группе «Varbez» играет на терменвоксе. Но ни в каком, скажем, благословении со стороны религиозных деятелей ни один из релизов не нуждался. Лейбл занят только вопросами еврейской культуры, его задача – вывести на свет все новое, что появляется в потоке еврейской музыки. А «еврейская музыка» – это чрезвычайно обобщенное определение. Рок, клезмер, масса жанров, которых объединяет только то, что все они каким-то образом указывают настоящую дорогу к еврейской цивилизации.

**– Что представляла собой работа с Фионой Темплтон?**

– К моменту появления замысла альбома я знал Фиону двенадцать лет или около того. Нас когда-то познакомил наш общий друг, мы просто проводили вместе время. Авторитет Фионы в театральной среде Манхэттена неоспорим. Мне всегда нравился тембр ее голоса. Он напоминал мне голос Ванессы Редгрейв. Мне очень нравилось, что Фиона не переигрывает, когда читает стихи. Она предоставляет словам право говорить за себя. Эмоции она расходует экономно, дозирует, и от этого, например, лишь легкий намек на гнев в ее голосе обладает огромной мощью. Фиона была так глубоко увлечена творчеством Пауля Целана, настолько очарована им, что я не мог не заразиться этим ее интересом.



– Она начитывала текст на готовые звуковые дорожки?

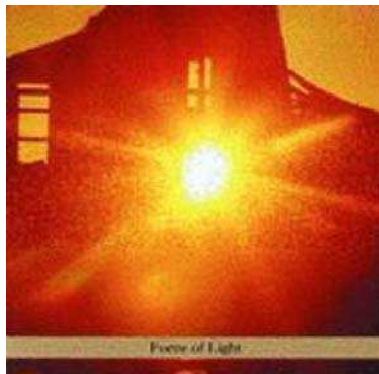
– Нет, она не слышала мелодий, когда записывала голос. Студийный звукоинженер и мой бесценный сопродюсер Мартин Бизи помог мне вплести музыку в уже готовые текстовые треки.

– Еврейская культура – родная для Фионы?

– Нет, но она активно интересуется всем, что связано с еврейской традицией, и Целан для нее такой же свой, как для любого из нас.

– Музыкальная палитра альбома «Force Of Light» сильно отличается от того, что ты делаешь в «Barbez», здесь почти нет гитар и гораздо больше боли, нежели рок-н-рольного драйва.

– Мне хотелось сделать эту запись доступной максимальному количеству слушателей, поэтому я не пережимал с гитарами. Но я не соглашусь с тобой, что их мало. Послушай внимательно открывающую пьесу «Shibboleth». Или «Conversation In The Mountains» – там я играю на гитаре lap steel. И в треке «Force Of Light» нет недостатка в моих партиях. В то же время в «Barbez» играют такие замечательные музыканты, что я не мог не дать высказаться каждому из них, сидя со своей гитарой в сторонке. Первоочередная задача этого альбома состояла в том, чтобы на записи зафиксировать боль в голосе чтицы. С ней может соперничать болезненный голос скрипки, который на подсознательном уровне ассоциируется у меня с еврейской музыкой моего детства, но из всех инструментов на этой записи самый острый – терменвокс, и, безусловно, никто в мире сейчас не играет на нем лучше, чем Памелия Керстин.



– «Force Of Light» можно представить себе в живом исполнении на концерте?

– Да, мы играли эти вещи вживую, и я счастлив, что в январе появится DVD, который снял замечательный нью-йоркский театральный режиссер Джон Джесаран. Любое зрелище в его руках превращается в мультимедийное шоу. Как раз зимой у нас намечаются гастроли в Европе, и мы, конечно, будем использовать его видеоинсталляции. Кстати, мы записали тексты Пауля Целана на разных языках. Важно, чтобы до аудитории дошло каждое слово. Так что там не только голос Фионы, мы все постарались.

# ПРОГУЛКИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛЬШЕ

Любовь и ненависть в домах и легендах Вроцлава и Кракова

*Àèèòíðèÿ Îí:àèíàà*

*À çíààòá ÷òí èì áííí ààèààò àÿèèé àðíáííèùèèè ? Ààðàè. Àíèè óæáíá àèáíí  
áàðáà, çíá:èò, ì ù áíáæàáí á ÷æèð ñòðáíóè,  
íðèáí:íúá è èðíðèñòñòàèð, ìùóíàáí,  
÷òí íáí èàè áóòòí ÷áá-òí íá ðáàò áàò.*

Юзеф Игнацы Крашевский.  
«Фонарь черно книжника» (1842)

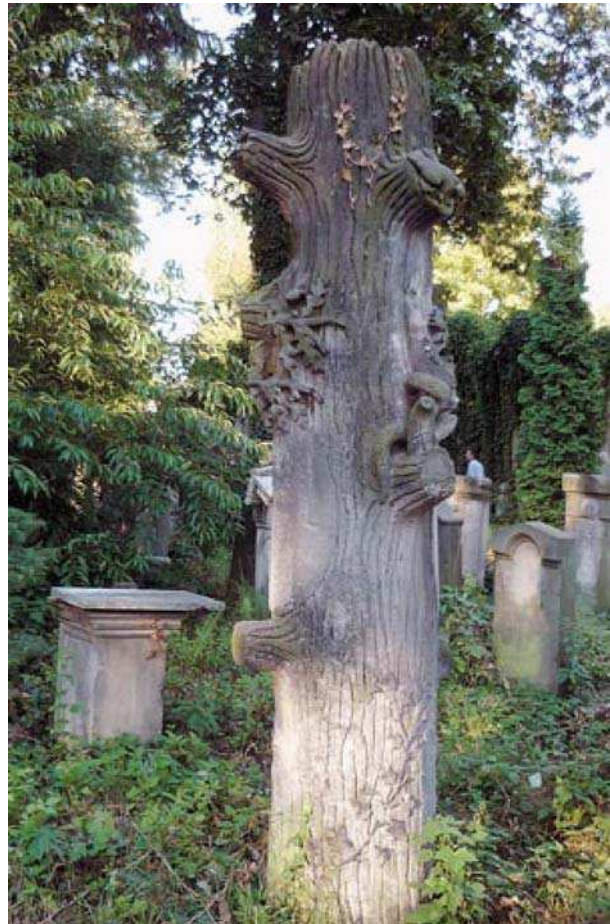
*Îí àèèííá ààðáèñòáí æèèí á Îíèùóá  
Îíèùóá áúèà èð çáí èàè íáàò íááííé...  
Îáí-àñòèèáíé ìíèùèí-áàðáèñèé áðáè  
ðáíí àèñÿ ìíèá Ñíèíèíòà... Ýòà ñòðáíá,  
èíòíðáÿ áúèà íáèíáà ì áñòíí ñàí íá  
áíèùóíá ñíñðááíòí:áíèÿ áàðáà, ñèè:áñ-  
è íááííá - ìñòáíáòñÿ èð ñàí íé áíèùóíé  
ì íáèíé. Ñáÿçí áóòòò ìðíáíèæàòòñÿ -  
áúá áíèáá òáíáÿ, ÷áí ðáíùóá, ðíòèí ì ù  
ÿòíá èèè íáò, ðíòèòááí ÿòíá èèè íáò.*

Адольф Рудницкий.  
«Театр, в котором всегда играют» (1987)



**Полин, Пойлин – так называли Польшу ашкеназские евреи, пришедшие в эту землю десять столетий назад. Одна из легенд гласит, что, спасаясь от преследований в странах Западной Европы, они бежали на восток, не зная, где остановиться, пока с неба не спустился листок всего с двумя словами: «по лин» – «здесь переночуй». Так толковал название Полин и ее уроженец романист Шолом Аш: Всевышний взял горсть земли Эрец-Исраэль, которую спрятал на небесах после разрушения Храма, и опустил ее на Польшу, чтобы она стала местом отдохновения для его детей, страдающих в изгнании. Поэтому страна эта называется Полин, и Сатана не имеет здесь власти, а Тора читается и изучается повсеместно.**

**Не впервые можно совершить путешествие по еврейской Польше вместе с группой студентов Летней школы по иудаике, организованной центром «Сэфер». Мы посмотрим, что осталось от самой большой общины диаспоры, прославившейся своими учеными и фабрикантами, ешивами и синагогами, больницами и даже театрами и добившейся столь значительной гражданской автономии, что некогда ее называли «государством в государстве».**



#### Еврейское кладбище во Вроцлаве.

Повторяя путь еврейских беженцев, начнем наше путешествие с интереснейшего города Вроцлава на юго-западе страны. У Вроцлава явные проблемы с идентичностью, отразившиеся во множестве его имен: Вротизла, Вратиславия, Вретслав, Бреслау, Пресслау, Врацлав, – которые менялись в связи с его принадлежностью то к Польше, то к Богемии, то к Австрии, то к Пруссии. В этой исторической пестроте силезского города нашлось место и для еврейской темы. Именно во Вроцлаве была найдена старейшая мацева (1203), а поскольку она была установлена над могилой «сладкоголосого» Давида, т. е. кантора, следует полагать, что задолго до его кончины здесь имелась и община, и синагога.

Гуляя по центральной рыночной площади и восхищаясь ее замысловатой архитектурной красотой, можно на углу смежного с нею Соляного рынка увидеть дом, из окна которого в 1453 году читал свои пламенные проповеди францисканский монах Джованни ди Капистрано, заезжий харизматический борец с грехом и ересью. Потрясенные его проповедями, горожане бросали в разведенный здесь же костер предметы роскоши, игральные карты, зеркала и косметику. Увы, этим дело не ограничилось. На Соляном рынке сейчас стоит памятник в виде высокого языка пламени. Хотя на нем нет надписи, еврейскому, да и всякому путешественнику стоит вспомнить, что на этом костре по обвинению в осквернении гостии (а судебным разбирательством руководил сам Капистрано, так что приговор был предрешен) тогда сожгли сорок одного иудея. Эффективная деятельность Капистрано по искоренению инаковерия привела и к тому, что вроцлавский раввин покончил с собой, еврейская община была изгнана из города, а маленькие дети, наоборот, оставлены – дабы отныне воспитываться в христианской вере.

Во Вроцлаве путешественник не только погрузится в средневековую историю еврейской общины, но и увидит замечательные памятники ее сравнительно недавнего, но очень яркого прошлого. Осматривая впечатляющий, основанный императором Леопольдом Габсбургом Вроцлавский университет (его здесь горделиво называют самым лучшим в Польше, Варшавский – всего лишь самым большим, а Краковский – самым старым), обратите внимание на памятную доску девяти нобелевских лауреатов, в нем учившихся или преподававших. На ней есть и еврейские имена – физиков Макса Борна и Отто Штерна, основоположника химиотерапии Пауля Эрлиха и изобретателя «циклона Б» Фрица Габера, чья жена покончила с собой, протестуя против его участия в разработке химического оружия.



**Дом № 9 (второй слева), где проходило обручение Марины Мнишек и Лжедмитрия.**

Еврейская община подарила Вроцлаву и миру не только нобелевских лауреатов, но даже и – как это ни покажется неожиданным – христианскую святую, Эдиту Штейн (1891– 1942), канонизированную Иоанном Павлом II в 1998 году и провозглашенную патронессой Европы. Эта необычайная женщина родилась здесь в религиозной еврейской семье, однако избрала путь европейской интеллектуалки, училась во Вроцлавском, а затем в Геттингенском университете у Эдмунда Гуссерля, под руководством которого защитила диссертацию по философии. В 31 год она перешла в католицизм, в 1933 году под именем Терезы Бенедикты ушла в монастырь, не прерывая, однако, своих научных занятий, результатом которых стали ее книги о феноменологии Гуссерля и философии Фомы Аквинского, о временном и вечном бытии. Для нацистов она оставалась еврейкой, и ей пришлось разделить судьбу своего народа. День 9 августа, когда ее поглотила печь Освенцима, в католических храмах отмечается особой литургией. Память св. Терезы Бенедикты чрезвычайно почитается католической церковью, а во Вроцлаве есть и много связанных с нею мест (родительский дом на Нововойской улице, 38).

Родители Эдиты Штейн, как и великий еврейский историк Генрих Грец, и социалист Фердинанд Лассаль, похоронены на вроцлавском еврейском кладбище, одном из крупнейших – наряду с кладбищами Лодзи и Варшавы – еврейских кладбищ Польши. Посетить его нужно непременно – не только потому, что чтение этой «каменной летописи» – самый простой рецепт познания прошлого, но и потому, что здесь путешественника ждет знакомство с шедеврами сепулькрального искусства. Мощь и величие местной общины запечатлелись в огромных семейных усыпальницах (некоторые

– в пышном мавританском стиле, характерном для сефардов) и выразительных надгробиях, выполненных в стилистике разных эпох.



**Ягеллонский университет, Collegium Maius, внутренний двор.**

Из Вроцлава мы отправимся на юго-восток, в древнюю польскую столицу – Краков (по-еврейски – КROKE), первое упоминание (965 год) о котором, кстати, принадлежит еврейскому купцу. Хотя в Краков евреи прибыли позже, чем во Вроцлав, именно с этим городом связано 600 лет непрерывной еврейской истории. Сюда в разное время прибывали немецкие, чешские и моравские, итальянские и испанские, венские и украинские евреи, внося в быт и облик города свои особые краски. В Краков, резиденцию королей, отовсюду съезжались главы еврейских общин для получения охранных грамот. Особенно покровительствовал евреям король Казимир III (1333–1370), вошедший в историю с эпитетом Великий, ибо именно его политическая программа превратила Польшу в мощное государство. Отблеск этого бывшего могущества заметен на древней столице, на овеянной легендами о королевне Ванде и драконе горе Вавель, где горделиво возвышается королевский замок.

Фольклор и хроники объясняют проеврейские симпатии короля Казимира влиянием его возлюбленной, красавицы Эстерки, которая родила ему двух сыновей и двух дочерей. Так это или нет, нам сейчас затруднительно проверить – никто из писавших об этом авторов свечу не держал. Вероятно, легенда была скроена по лекалам библейского сюжета о царе Ахашвероше, следовавшем «сладким наущениям» своей еврейки-жены. Однако, «миф – это то, чего никогда не было, но что всегда есть», и неважно, что там на самом деле было, – важно, что прекрасная Эстерка вписана вместе с венценосным возлюбленным в историческую память и искусство, в фольклор и литературу. Драматурги, поэты и исторические романисты стремились воспеть эту любовь, преодолевающую сословные, национальные, конфессиональные границы. Эстетически ориентированный путешественник может преуспеть в обозрении в польских музеях «портретов» Эстерки, а романтически настроенный человек приглашается пройти по следам легенды, посещая многочисленные места, где якобы жила прекрасная еврейка: это и дом № 46 по Краковской улице, разумеется снабженный тайным ходом в резиденцию возлюбленного – королевский замок на горе Вавель, и Лобзов под Краковом, где король построил ей дворец. Впрочем, легенда не скупится, и дворцов у Эстерки (кстати, как и могил, о которых вам достоверно расскажут в разных городах) было много, и не только в Кракове.

Тот, кто посетит изумительной красоты городок Казимеж Дольный, где евреи проживали с самого его основания, а перед войной составляли 50% населения, не пожалеет о проделанном пути – недаром он теперь облюбован художниками. И здесь, представьте, замок Казимира соединялся подземным ходом с дворцом Эстерки в соседней Бохотнице, и всем жителям доподлинно известно, что король еженощно отправлялся по нему на свидание с возлюбленной.



**Вавельский замок. Башня «Курья лапка».**

Но вернемся в Краков, на центральную площадь Старый Рынок, которую сравнивают с площадью Св. Марка в Венеции. Помните, у Блока в «Возмездии» есть три знаковых польских персонажа, связанных с лейтмотивом поэмы – мазуркой, танцем, «который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича»? Здесь можно встретиться сразу со всеми. В доме № 9 происходило обручение Марины Мнишек с авантюрным претендентом на русский престол и роскошный свадебный пир. В так называемом Сером доме (№ 6) в 1794 году располагался повстанческий штаб Тадеуша Костюшко, призвавшего и евреев принять участие в восстании против российских захватчиков. На той же площади стоит и памятник великому национальному поэту Адаму Мицкевичу, чей прах захоронен в Вавельском кафедральном соборе.

Стоя здесь, в самом сердце города, путешественник может перемещаться во времени, опускаясь в глубину местной еврейской истории. На этой площади, у костела Св. Войтеха, выступал со своими антииудейскими проповедями уже знакомый нам Джованни ди Капистрано, «бич Божий». Здесь же произошло небывалое: король Сигизмунд I даровал дворянский титул и герб еврею Михаэлю Эзофовичу за его большие заслуги перед королем и отечеством. Действительно, отдельные евреи делали головокружительную карьеру при дворах польских королей – например, прославившийся еще при Казимире Великом банкир Левко – завистники говорили, что он околдовал короля своим волшебным перстнем, – или известное краковское семейство Фишелей.



**Площадь Старый Рынок. Краков.**

Король Казимир очень способствовал процветанию Кракова. В частности, он основал здесь первый в Польше университет (1364 год) – Краковскую академию. Правда, из-за финансовых трудностей его тогда открыть не удалось, и лишь внучатая племянница Казимира, королева Ядвига (помните у Пастернака: «Всесильный бог любви, Ягайлов и Ядвига»), поддержала это учебное заведение, завещав ему свои драгоценности. С тех пор оно составляет гордость Кракова, уже, впрочем, нося имя ее мужа, короля Ягелло. Следует непременно осмотреть внушительные здания коллегий Ягеллонского университета, пройдя к ним с Рынка по улице Св. Анны, которая ранее называлась Еврейской и располагалась в центре большого, существовавшего с XIII века еврейского квартала с двумя синагогами, общинным домом, микве, кладбищем по ту сторону городских стен. Но король Ягелло решил возобновить строительство университета именно на этой территории, с чем связан еще один – весьма печальный и драматичный – эпизод краковской еврейской истории. В связи со строительством университета евреям пришлось уступить этот район, покинуть свои дома и синагоги, в которых молились многие поколения, и могилы предков. Гуляя по университетскому кварталу, мы уже не увидим ни следа от древнейших на польской земле еврейских памятников, уничтоженных вместе с самим названием улицы. Евреи были вытеснены в другой квартал Кракова, к улицам Св. Фомы и Щепанской, но и это вынужденное переселение не стало последним.

В 1495 году евреи изгоняются из Кракова в некогда основанный неподалеку от него Казимиром Великим город, носящий его имя – Казимеж (еврейское название – Кузмир), который вплоть до немецкого «окончательного решения» и был центром еврейской жизни. Сейчас это не отдельный город, а район современного Кракова, где бережно хранят атмосферу еврейского прошлого, куда стекаются туристы, где ежегодно (с 1988 года) проводятся фестивали еврейской культуры.



**Копия барельефа Г. Хохмана «Прибытие евреев в Польшу в Средневековье».**

Повторяя путь изгнанников XV века, пройдем по Гродской улице, мимо пышного иезуитского барочного костела Петра и Павла, реплики римской дель Джезу, мимо романского костела Св. Андрея (XII век), где краковяне укрывались во время татарского набега 1241 года. Помните песенку Окуджавы: «Мы связаны, Агнешка, навек одной судьбою...» (в первоначальном варианте – «Мы связаны, поляки...») – где поется о возносящемся над Краковом трубаче? Это именно про тот набег, во время которого трубач с башни Марицкого костела затрубил тревогу и был застрелен татарским лучником. Мелодия прервалась, и сейчас путешественник может ее послушать на площади Старого Рынка каждый час, причем она неизменно прерывается на том же самом месте – в память о гибели трубача. Минуем населенный легендами и привидениями Вавельский замок, где раз в год собираются на встречу покойные короли, где в пещере у подножия холма некогда лопнул, опившись воды, злобный дракон, а в башне «Курья лапка» якобы занимался алхимией Сигизмунд III, которого ужасная неудача в опытах побудила перенести столицу в Варшаву. Оставив позади монаршую резиденцию, мы переходим в еврейский Казимеж. Впрочем, можно до него доехать и в карете со Старого Рынка, и в специальных экскурсионных вагончиках, да и просто на трамвае, но в пешей прогулке есть своя прелесть.

На здании старой ратуши Кузмира на его рыночной площади Вольница установлена копия барельефа Г. Хохмана «Прибытие евреев в Польшу в Средневековье». Интересно, что принимает здесь евреев не представитель власти – князь или король, как на известной картине «Прибытие евреев в Польшу в 1096 году» самого знаменитого польского художника, краковянина Яна Матейко, который, кажется, изобразил все значимые события польской истории, а крылатый женский персонаж с короной, видимо олицетворяющий Польшу. Уничтоженный во время войны, барельеф был восстановлен в 1996 году в связи с визитом в Краков тогдашнего мэра Иерусалима Эхуда Ольмерта.

Названия некоторых улиц сегодняшнего Казимежа – тоже своего рода исторический источник: здесь есть улицы Исаака, Иакова, раввина Майзельса и, разумеется, прекрасной Эстерки. На живописной улице Иосифа (не библейского, а австрийского – императора Иосифа Габсбурга) множество маленьких галерей, антикварных магазинов и кафе. Здесь же, во дворике дома № 12, Спилберг снимал эпизоды «Списка Шиндлера» (сама фабрика Оскара Шиндлера находилась в районе

Подгуже, на Липовой улице, 4). Удовольствие просто бродить по Казимежу неизменно сопряжено с ощущением, что вы путешествуете по прошлому, которое здесь встречается с настоящим и заглядывает в него, как та увиденная нами случайно женщина из «списка», приехавшая из Израиля посетить родной город.



**«Новая» синагога на улице Широкой.**

На улице Иосифа нельзя не заметить Высокую синагогу (дом № 38), построенную в середине XVI века и вполне оправдывающую свое название – ее молитвенный зал расположен на втором этаже (сейчас здесь выставочный зал и замечательный магазин еврейской книги). Улица Иосифа выводит к Старой синагоге, действительно старейшей из сохранившихся в Польше (теперь здесь еврейский музей). Некогда – центр религиозной жизни Кузмира, она была построена в XV веке в готическом стиле, а нынешний, преимущественно ренессансный облик – результат ее перестройки знаменитым итальянским архитектором XVI века Матео Гуччи.

Второй по времени строительства (и потому прозванной «новой») стала синагога на улице Широкой, основанная известным краковским евреем в память своей покойной жены, оставившей наследство, которое и пошло на строительство. Синагога предназначалась их сыну, краковскому раввину, главе ешивы и выдающемуся ученому, рабби Моше бен Исраэлю Иссерлесу (а-Рама; 1525–1572). Теперь это единственная действующая в Кракове синагога, в субботы и праздники переполненная еврейскими путешественниками со всего мира. Местом массового паломничества является и примыкающее к синагоге кладбище, один из наиболее важных еврейских памятников Польши как по числу надгробий, так и по их исторической и художественной ценности. Здесь похоронены а-Рама с семьей и целый ряд других известных польских раввинов.

Само по себе количество сохранившихся в Казимеже синагог свидетельствует и о размере общины, и о ее процветании, особенно в «золотой» век Ренессанса. Самая большая и – в прошлом – наиболее пышно декорированная в Казимеже синагога, рядом с которой некогда располагалась достопримечательность еврейского города – шумный рыбный рынок, носит имя своего основателя, старейшины казимежского кагала Исаака Якубовича (реб Айзика Екелеса). С ее основанием связывают легенду о бедном Айзике, который увидел сон о кладе, зарытом у Карлова моста в Праге, отправился туда на безуспешные поиски, но в конце концов нашел клад под собственным домом. Этот клад и

был пущен на строительство синагоги. XX век вписал в историю синагоги Айзика свои драматические страницы: в 1939 году эсэсовцы застрелили здесь Максимилиана Редлиха, отказавшегося выполнить приказ поджечь ее, а после войны в ней, как и в других опустевших краковских синагогах, поселились евреи, вернувшиеся из СССР и оказавшиеся бездомными.



**Высокая синагога.**

Гуляя по Кузмиру, стоит взглянуть на самую маленькую из его синагог, построенную в глубине улицы Широкой одним из богатейших купцов и финансистов своего времени – Вольфом Поппером. Сейчас там находятся художественные мастерские. Большое впечатление ожидает посетителя от осмотра интерьера и росписей синагоги 40-х годов XVII века – Купа (название указывает, что она основана на средства кагала – миккупат а-кагал), но это – если повезет и удастся договориться в еврейской общине, собственностью которой она является. Здесь сохранились уникальные памятники еврейского искусства XX века – полихромные росписи 20–30-х годов.

Не стоит упускать возможности осмотреть и монументальную «прогрессивную», или «немецкую», синагогу (1862 год) у перекрестка улиц Подбжезе и Медовой, связанную уже с реформистским движением и призванную воспитывать новую еврейскую интеллигенцию в новом же духе. Ее архитектура напоминает реформистские темпелы Вены, немецких городов, а яркие витражи и другие детали убранства интерьера – памятники христианского церковного искусства.



**Синагога Купа. Интерьер.**

Со сквериком на Широкой улице связана известная легенда о шумной свадьбе, на которой гуляли после наступления субботы. Разгневанный раввин из синагоги напротив произнес проклятие, после чего земля расступилась и все свадебные гости вместе с домом буквально провалились под землю. Вероятно, у легенды были и некоторые исторические основания, связанные с раввинской дискуссией XVI века о позволительности устройства свадеб в пятницу.

Прогуливаясь по Казимежу, можно пройти мимо ничем не примечательного с виду дома, где в 1872 году родилась девочка Хая Рубинштейн, которая впоследствии эмигрировала в Америку, сменила имя на Елену и стала одной из богатейших женщин своего времени, «королевой косметики», основательницей бренда HR и компании Helena Rubinstein Inc. В Кузмире же находится дом, где плотник и «народный поэт» Мордехай Гебиртиг (1877–1942) писал свои песни: например, «Эс брент, бридер, эс брент!» («Горит, братья, горит!») – в память о всех погибших в ходе погромов и поджогов, которую распевали повстанцы в Варшавском гетто. Незадолго до того как его самого застрелили в Краковском гетто, он посвятил любимому городу песню «Блайб гезунт мир, КROKE!» («Будь здоров, Краков!»).

Стоит побродить по Новой площади с круглым торговым зданием в центре, которое до войны занимали резники, посетить замечательно отреставрированный – на средства конгресса США и местной еврейской общины – и активно работающий Центр еврейской культуры в старом молитвенном доме Бней эмуна, посидеть в колоритных маленьких кафе, неусыпно пекущихся о создании «атмосферы», и непременно посмотреть сокровища разместившегося здесь блошиного рынка. «Спешите покупать, – скажет вам толстая, густо накрашенная торговка. – Иудаика идет на ура, ведь евреи же все время приезжают и ищут свое!»



**Улица Иосифа.**

На этом мы покидаем старый Краков с его еврейским пригородом – а ныне кварталом – Казимежем. А о столице – а идише Варше, промышленной Лодзи – «польском Манчестере» и идеальных ренессансных городках Тарнове и Замости поговорим в другой раз.

## Пол Кругман. Путь наверх

*Г е е г е а е Г а е и и е е г а*

Нобелевская премия была и остается самой престижной и авторитетной наградой мира. Она была учреждена в 1900 году, согласно завещанию знаменитого шведского химика Альфреда Бернхарда Нобеля, создателя динамита. Нобелевская премия присуждается ежегодно в шести номинациях: физика, химия, экономика, физиология и медицина, литература и Премия мира. Вместе с денежной суммой каждый лауреат получает золотую медаль с профилем Альфреда Нобеля и уникальный диплом. Вручение высоких наград проходит в день смерти отца-основателя премии, 10 декабря. Премии по физике, химии, физиологии и медицине, литературе и экономике вручают в Стокгольме, Премию мира – в Осло.



По сложившейся уже традиции имя лауреата Нобелевской премии по экономике называется последним, когда уже известны победители в остальных номинациях. Не стал исключением и нынешний год: имя американца Пола Робина Кругмана из Принстонского университета, штат Нью-Джерси, было обнародовано лишь 13 октября. Согласно официальной формулировке Нобелевского комитета, Кругман удостоился награды «за анализ торговых моделей и мест расположения экономической активности».

Изначально в завещании Нобеля награда в области экономики не упоминалась. Ее в 1968 году учредил Банк Швеции в память о знаменитом химике, присвоив официальное название «Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля». В этом году денежный эквивалент премии составляет приблизительно один миллион четыреста тысяч долларов США.

Выбор Нобелевского комитета не стал неожиданностью для того, кто хоть немного следит за новостями в области экономики. Имя Пола Кругмана уже лет пять называли в числе самых вероятных претендентов на Нобелевскую премию, но получил он

ее лишь в этом году. Однако это не значит, что работа Кругмана до настоящего момента была практически не замечена общественностью. Первой наградой Пола Кругмана стала в 1991 году медаль Джона Бейтса Кларка, вручаемая раз в два года самому выдающемуся американскому экономисту в возрасте до 40 лет. Четыре года спустя Кругман стал обладателем престижнейшей американской премии Адама Смита, ежегодно вручаемой Национальной ассоциацией экономической теории бизнеса США, в 2000-м его отметили в Германии, вручив диплом лауреата премии Ректенвальда. В 2004 году стало известно, что экономист удостоился премии принца Астурийского в области социальных наук – высшей награды Испании, которую часто называют испанской Нобелевской премией. Кроме того, его заслуги признал мюнхенский Центр экономических исследований, включивший имя американца в список своих почетных членов и многие другие организации, специализирующиеся на проблемах международной экономики.

Теория, отмеченная в этом году золотой Нобелевской медалью, была разработана Кругманом еще в конце 70-х годов прошлого века. Она объясняет влияние глобализации и свободной торговли на мировую экономику и основывается на предпосылке, что затраты на производство многих товаров могут быть снижены при больших объемах производства. Это так называемая экономия за счет роста масштабов производства. С учетом потребительского спроса на различные виды товаров небольшое производство для местного рынка постепенно вытесняется масштабным для мирового. В условиях крупномасштабного производства расширяется торговля не только между странами, специализирующимися на различных видах товаров, как следует из традиционной экономической теории: согласно теории Кругмана, доминирующими на рынке постепенно становятся государства, не только находящиеся на одной ступени развития экономики, но и специализирующиеся на экспорте и импорте какого-либо определенного товара. В силу конкуренции экономик различных государств на мировом рынке это приводит к снижению цен на продукцию.

Теория Кругмана также объясняет причины урбанизации мировой экономики. Масштабное производство, с одной стороны, и борьба за снижение транспортных расходов – с другой приводят к тому, что все большая часть населения тяготеет к мегаполисам. Растущее население городов, в свою очередь, стимулирует развитие экономики и рост производства, которые, замыкая круг, приводят к дальнейшему увеличению числа жителей. В результате регионы постепенно делятся на высокотехнологичные «основные зоны» и менее развитую «периферию».

Пол Робин Кругман родился 28 февраля 1953 года на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, в еврейской семье. С раннего детства мальчик, во многом благодаря научно-популярным произведениям знаменитого фантаста Айзека Азимова, заинтересовался историей и экономикой. Родители, Дэвид и Анита Кругман, всемерно поддерживали сына в его увлечениях. Окончив школу, Пол поступил на экономический факультет Йельского университета, из стен которого вышел в 1974 году со степенью бакалавра. В 1977 году Кругман также получил степень доктора философии в бостонском Массачусетском технологическом институте – еще одном из самых престижных учебных заведений страны.

По окончании Массачусетского технологического института Кругман остался в Бостоне, но теперь уже в качестве преподавателя. Потом были Йель, Станфорд, Калифорнийский университет и Лондонская школа экономики. Сегодня Пол Кругман является профессором Принстонского университета. Он успешно совмещает преподавательскую деятельность с работой в Группе тридцати (G30) – международной организации, объединяющей финансистов и экономистов разных стран с целью

углубленного изучения финансовых и экономических проблем. В задачи G30 входит также анализ влияния решений, принятых в этой области, на общественную и частную сферы. Кроме того, нобелевский лауреат плотно сотрудничает со многими ведущими мировыми изданиями экономической направленности – его статьи по текущим вопросам международной экономической политики регулярно появляются на страницах профильной периодики.



С 2000 года, уже имея за плечами немалый опыт литературной работы – к этому времени он успел опубликовать не один научный труд и пару десятков статей по экономическим вопросам, Кругман стал сотрудничать с газетой «The New York Times». Он взялся вести аналитическую колонку, в которой достаточно популярно излагает свои взгляды на экономическую ситуацию в стране и часто позволяет себе выступать с резкой критикой действий администрации президента Джорджа Буша-младшего. Злые языки утверждают даже, что не случайно имя Пола Кругмана именно в этом году, накануне президентских выборов в США, попало в списки нобелевских лауреатов, таким образом снова поднимая вопрос о пристрастности и политизированности Нобелевского комитета. В 2002 году редакционный совет профессионального ежемесячного издания «Editor & Publisher» признал Пола Кругмана лучшим и в сфере журналистики, вручив ему свою премию «Колумнист года».

Первую после вручения Нобелевского диплома колонку Кругман посвятил теме глобального финансового кризиса в свете грядущих президентских выборов. По его мнению, правительства поступают правильно, оказывая финансовую поддержку банкам и национализируя наиболее пострадавшие от кризиса финансовые организации. Причем эти меры должны проводиться независимо от состояния государственного бюджета. Однако, считает экономист, это не все, что государство может сделать в сложившейся непростой ситуации: нефинансовый сектор экономики также нуждается в помощи.

Кстати, некоторое время назад прославленный экономист высказал предположение, что мировую экономику ожидает довольно длительная рецессия, являющаяся одной из фаз экономического цикла, – правда, в том же заявлении он оговорился, что ожидать полного обвала мировой экономики нет причин. Насколько нобелевский лауреат окажется прав – покажет время, хотя первая часть его «пророчества» уже начала сбываться.

В своей нобелевской речи, которую каждый лауреат традиционно произносит с трибуны Концертного зала в Стокгольме, Пол Кругман заверил, что присуждение ему столь престижной награды может, безусловно, на несколько недель изменить его жизнь, но в конце концов она снова войдет в прежнее русло. Ведь сейчас для него не время почивать на лаврах – впереди еще масса работы, которую нужно делать. Остается лишь пожелать удачи.

## ШЕСТОЙ НОМЕР «МАККАБИ»

### *Î àdè Çàé:èé*

Влиятельная и популярная газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала в праздничном приложении, посвященном 60-летию Израиля, список десяти американских евреев, оказавших несомненное влияние на жизнь Израиля. Среди имен, опубликованных в газете, числились: Голда Меир (бывшая глава правительства), Моше Аренс (бывший министр иностранных дел), Стэнли Фишер (генеральный директор Банка Израиля), Шерри Арисон (глава банка «А-Поалим»), Таль Броди (бывший капитан баскетбольной команды «Маккаби» Тель-Авив)... Остальные не менее достойные люди. Любопытно, что большинство фигурантов «великолепной десятки» родились в России, к примеру Голда Меир, Моше Аренс. Или же их родители были выходцами из этой страны. Но это к слову... А говорить мы будем о капитане «Маккаби», почему именно он, баскетболист, оказался в одном ряду с бывшей главой правительства и бывшим министром иностранных дел.



Таль Броди родился 30 августа 1943 года в Нью-Джерси в семье эмигрантов из России. С детских лет не только выделялся в учебе, но и привлекал к себе пристальное внимание на спортивных площадках. Великолепно играл в американский футбол, бейсбол, однако лучше всего у него выходило играть в баскетбол. Как известно, детский спорт в США построен на школьных секциях и клубах. Уже с одиннадцати-двенадцати лет за мальчиком началась серьезная охота: тренеры школьных баскетбольных команд намеревались заполнить в свои клубы этого хладнокровного, всевидящего гарда.

Не успев окончить школу, Броди получил от университетов восемнадцать (!) предложений, включавших спортивную стипендию – бесплатное обучение и выступление за команду вуза. Юноша вместе с отцом, игравшим в его жизни огромную роль, выбрал для себя университет Иллинойса, в котором впоследствии учился и успешно играл за сборную команду. Вскоре на Талю обратили внимание вездесущие скауты национальной баскетбольной ассоциации. По окончании университета в 1965 году Броди вышел на драфт – ежегодную отборочную лотерею НБА. Под номером пятнадцать Талю Броди заполучила команда «Балтимор булетс». «Вербовка» означала гарантированный контракт и будущее в американском профессиональном баскетболе.

В том же 1965 году Броди с еврейской сборной США отправился в Израиль на Маккабиаду. Его команда выиграла золотые медали. Тогда же он был привлечен в национальную сборную США.

Израиль произвел на Таль Броди, по его словам, ошеломляющее впечатление. То была жизнь, которую он прежде не знал. Жизнь, резко отличавшаяся от американской. Таль принял решение. В течение года репатриировался в Израиль, начал играть за лучший тогда – да и, пожалуй, сегодня – баскетбольный клуб страны – «Маккаби» (Тель-Авив). Номер Броди – шестой.

Именно этому самому «шестому» суждено было повлиять на весь израильский баскетбол. Согласитесь, такое бывает редко. Таль Броди показал израильским баскетболистам качественно иную игру, другое отношение к тренировкам, да и вообще к самой жизни. Он стал наставником взрослых игроков. Кумиром многих поколений болельщиков. А было ему всего-то двадцать три года от роду.

Броди еще вернулся в США для того, чтобы отслужить действительную службу в армии. Затем он отслужил действительную службу в Израиле.

Блистательно отыграл за сборную США на ЧМ 1970 года, будучи всеми корнями связанным с исторической родиной.

В октябре 1973 года в Испании сборная Израиля проводила матчи первенства континента. В это время шла тяжелейшая война Судного дня на Ближнем Востоке. Помню лица игроков сборной и среди них – напряженное лицо Броди, склонившееся над транзистором, передававшим тревожные новости из дома.

Таль Броди относился к тому «золотому» поколению игроков, которое первым выигрывало для Израиля Кубок европейских чемпионов в 1977 году. Вместе с ним блистали на площадке Микки Беркович, Моти Аруэсти, Боб Гриффин, Олси Пери, Арки Менкин, Шуки Шварц и другие. Все они были одарены, боевиты, великолепны. Тренировал их незабвенный Раль Клайн, совсем недавно ушедший от нас.

За сборную Израиля Броди провел 78 игр, набрал 1279 очков. Высшее достижение в национальной команде страны – 2 место на ЧЕ в Турине 1979 года.

В 1980 году Броди оставил большой спорт. Работал тренером, комментировал матчи родного «Маккаби» по ТВ, занялся бизнесом. Все делал основательно, профессионально, успешно.

Сегодня в 65 лет Таль Броди выглядит так, будто все еще в лучшей спортивной форме. Ни грамма лишнего веса, строен, подтянут, предельно внимателен. До сих пор играет за команду ветеранов «Маккаби», показывая прежнее видение площадки, понимание игры, дриблинг и стабильный бросок по кольцу.

Полтора года назад Таль Броди присоединился к политическому движению «Ликуд» как наиболее отвечающему его взглядам.

Не так давно получил главную награду страны – Государственную премию Израиля за вклад в развитие физической культуры и спорта в стране.

Сейчас его усилия в этой и других областях израильской жизни нашли признание и на родине, в Соединенных Штатах.

## Декабрь

*Агдей Ваэйт*

### 4.XII.1903

105 лет назад в Витебске, в бедной еврейской семье плотогона, вскоре занявшегося торговлей скобяным товаром, родился Лазарь Иосифович Лагин (Гинзбург). Писатель, поэт и журналист, взявший в 1956 году литературный псевдоним, составленный из первых слогов имени и фамилии, известен прежде всего как автор «Старика Хоттабыча», а также романов «Патент “АВ”», «Остров разочарования», «Белокурая бестия» и др. Все они написаны в исключительно самобытной манере, сочетающей лихую приключенческую фабулу с сатирой, фантастикой и элементами памфлета. Он также автор сценариев культовых мультфильмов «Жил-был Козявин» (режиссер А. Хржановский) и «Шпионские страсти» (режиссер Е. Гамбург). По окончании школы Лагин ушел добровольцем на Гражданскую войну, в 1920-м вступил в РКП(б), некоторое время был одним из руководителей белорусского комсомола. В 1922 году дебютировал как рабкор и с тех пор до конца жизни (1979) оставался газетчиком. Пика журналистской карьеры Лагин достиг в 1934 году, когда был назначен заместителем главного редактора журнала «Крокодил» Михаила Кольцова (Фридлянда), в те времена советского журналиста номер один. В 1938-м, когда Кольцов попал под каток сталинских чисток, влиятельный Александр Фадеев «упрятал» Лагина в длительную командировку на приполярный Шпицберген. Именно тогда журнал «Пионер» и газета «Пионерская правда» одновременно напечатали ставшую затем знаменитой повесть-сказку о всемогущем старичке Хоттабыче. За опубликованный в 1947 году «антиимпериалистический» роман-утопию «Патент “АВ”» Лагин был удостоен Сталинской премии, хотя и позволил себе в этом произведении смертельно опасные каламбуры. Дело в том, что многие собственные имена в романе – «говорящие», но только не по-русски, а на языке Талмуда. И писалось это как раз в то время, когда раскручивалась печально знаменитая кампания против «безродных космополитов», или попросту евреев.

### 21.XII.1938



70 лет назад в Москве родилась Мира Михайловна Кольцова (Мириам Равичер), танцовщица, художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического хореографического ансамбля «Березка». Преемница Надежды Сергеевны Надеждиной (урожденной Бруштейн), создательницы всемирно известного танцевального коллектива, она более двух десятков лет была ведущей «плясуньей» ансамбля и досконально изучила все тонкости мастерства своей наставницы. Кольцова начинала свой путь в искусстве в кружках районного Дома пионеров и Московского дома культуры железнодорожников – пела, мечтала стать дирижером,

танцевала. В 1957 году она окончила Московское хореографическое училище при Большом театре, а в 1973 году – ГИТИС им. А.В. Луначарского (ныне Российская академия театрального искусства). С 1979 года, после смерти Надеждиной, Кольцова стала бессменным руководителем «Березки». Мира Кольцова – народная артистка СССР и России, профессор, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», Екатерины Великой, Кирилла и Мефодия под эгидой Московской патриархии, «Во славу Отечества», Миротворца, «За дружбу» (Вьетнам), «Посол мира» (Бельгия), Симона Боливара (Венесуэла), «Heroe de la Breña» (Перу), лауреат международной премии «Душа танца». А еще она мать известного пианиста и композитора Филиппа Кольцова и бабушка пошедшего по стопам отца Николая Кольцова.

## 28.XII.1808

200 лет назад в еврейском местечке Слободка, что ныне в городской черте Каунаса, в семье меламеда (учителя в хедере), родился Авраам Мапу, создатель первых романов на иврите, видный деятель эпохи Хаскалы (еврейского движения Просвещения). С юных лет Мапу интересовался иудаизмом, библейской историей, занимался каббалой, самоучкой освоил латинский, немецкий, французский языки, а в 1830-х годах увлекся идеями Хаскалы. В 1848 году Мапу получил место преподавателя немецкого и древнееврейского языков в ковненской казенной еврейской гимназии и большую часть жизни так и проработал учителем. В 1853 году в Вильно увидел свет его исторический роман из библейской жизни «Любовь в Сионе» («Ахават Цион»), над которым он работал свыше 20 лет и который стал первым в еврейской литературе произведением этого жанра на иврите. Роман, по единодушному мнению читателей и критиков, потряс еврейский мир, увлечение им было повальным. Шолом-Алейхем вспоминал, как он мальчиком, лежа на чердаке, за одну субботу от корки до корки «проглотил» книгу Мапу, после чего купил себе бумаги, сшил из нее тетрадь и принялся писать роман по образцу «Сионской любви». К 1928 году книга выдержала 15 переизданий на иврите, не считая 11 изданий Собрания сочинений Мапу и переработок для сцены. Она была переведена на добрый десяток языков, причем не раз и зачастую в сильно отличающихся друг от друга версиях. Романтическим повествованием о жизни красивых и свободных предков – воинов, пастухов, земледельцев, столь контрастировавшим с убогим прозябанием в черте оседлости, зачитывались еврейские колонисты в Палестине. Давид Бен-Гурион, будущий первый израильский премьер-министр, приехавший на историческую родину в 1906 году, привез роман в нагрудном кармане потрепанного пиджака. Немалый, но не сравнимый с «Сионской любовью» успех имели и другие произведения Мапу, в частности опубликованный в 1858 году роман о современной жизни «Айит цавуа» («Ханжа», или буквально: «Перекрашенный коршун»). Благожелательно встреченная читателями, книга натолкнулась на негодование ортодоксальных кругов, унижительно назвавших автора Мапкой – «вольнодумцем». Помимо художественных произведений, перу Мапу принадлежат два учебника иврита: «Наставление юноше» (1859) и «Наставник-педагог» (1867), а также изданный на идише учебник французского языка (1859). Умер писатель в 1867 году в Кенигсберге. Его имя носят улицы в Иерусалиме и старом Каунасе.

30.XII.1988



20 лет назад, так и не будучи официально реабилитированным, в Москве умер Юлий Маркович Даниэль, потомственный литератор, поэт, прозаик и переводчик, диссидент, герой знаменитого процесса Синявского и Даниэля 1965–1966 годов. На этом процессе он и его близкий друг, тоже литератор, Андрей Донатович Синявский были осуждены за тайную публикацию своих антисоветских произведений на Западе. Даниэль печатался под псевдонимом Николай Аржак, Синявский выбрал для себя псевдоним Абрам Терц. Для «крамольного» творчества Аржака-Даниэля наиболее характерна повесть-антиутопия «Говорит Москва», рассказывающая о введении в СССР указом Президиума Верховного Совета Дня открытых убийств, единодушном одобрении странного «праздника» широкими массами трудящихся и непростою восприятию этого чудовищного новшества «отдельными недостаточно сознательными элементами». Терц-Синявский пострадал из-за повестей «Суд идет», «Любимов» и литературоведческой статьи «Что такое социалистический реализм?». Московский областной суд по статье 70-й УК РСФСР приговорил литераторов соответственно к пяти и семи годам заключения в исправительно-трудовой колонии строгого режима за антисоветскую агитацию и пропаганду. Расправа с литераторами породила мощную волну протестов общественности – как за рубежом, так и в СССР – и по существу положила начало советскому диссидентскому движению. Даниэль отбыл свой срок «от звонка до звонка». Синявский провел в колонии шесть лет и в 1973 году уехал с семьей во Францию.

30.XII.1993

15 лет назад в Иерусалиме после полутора лет тяжелых переговоров между представителями израильского правительства и Ватикана было подписано так называемое «Основополагающее соглашение между Святым престолом и Государством Израиль», подводившее черту под двумя тысячелетиями конфронтации между христианством и иудаизмом. В документе из 15 статей стороны выразили свою приверженность принципам свободы совести и вероисповедания, преданность делу углубления взаимопонимания между нациями, борьбы с антисемитизмом и всеми формами расизма и религиозной нетерпимости, а также курсу на мирное разрешение конфликтов между странами и народами при абсолютном неприятии практики насилия и террора. Правительство Израиля и Святой престол обязались сохранять status quo в отношении собственности и взаимных прав институций христианской религии и иудаизма в своих «зонах ответственности». Вопрос о статусе Иерусалима не обсуждался. Заключительные статьи соглашения и дополнительный протокол определяли порядок установления между сторонами полного объема дипломатических отношений. 16 августа 1994 года в Иерусалиме первый посол (а точнее папский нунций) Ватикана в Израиле архиепископ Андреа Монтеземоло вручил верительные грамоты израильскому президенту Хаиму Герцогу. А спустя полтора месяца, 29 сентября, первый посол Израиля при Святом престоле Шмуэль Хадас вручил верительные грамоты Папе Римскому Иоанну Павлу II,

первому из всех христианских иерархов посетившему синагогу (в Риме) и сыгравшему ключевую роль в сближении Ватикана с Израилем.

### 31.XII.1908

100 лет назад в старинном городке Бучаче, тогда в австро-венгерской Галиции, а ныне в Тернопольской области Украины, в семье преуспевающего торговца, бежавшего в 1905 году от российских еврейских погромов, родился Симон Визенталь, писатель, общественный деятель, знаменитый «охотник» за нацистскими военными преступниками, имя которого десятилетиями наводило ужас на гитлеровских последышей. Архитектор по образованию (с дипломом Пражского технического университета), Визенталь до войны работал в Одессе и Львове и едва избежал депортации в Сибирь после присоединения в 1939 году Западной Украины к СССР. В 1941 году, после взятия Львова нацистами, Визенталь оказался в Львовском гетто, участвовал в польском Сопротивлении, в 1943 году был отправлен в концлагерь, откуда ему удалось бежать. Однако в 1944 году его снова арестовали гестаповцы. Чудом выживший узник нацистских лагерей, прошедший 12 «фабрик смерти», он потерял в годы Холокоста в общей сложности 89 родственников – своих и своей жены. После освобождения американцами из барака умирающих заключенных Маутхаузена в мае 1945 года Визенталь сделал делом всей своей оставшейся жизни – а дожил он почти до 97 лет – «охоту» за скрывшимися нацистскими военными преступниками. В 1947 году в австрийском Линце он вместе с 30 единомышленниками создал и до конца своих дней бесценно возглавлял Еврейский центр документации, к настоящему времени выявивший более тысячи бывших нацистов, досье на которых были переданы органам правосудия различных стран. Важнейшую роль сыграл Визенталь в поиске одного из наиболее матерых гитлеровских мерзавцев – Адольфа Эйхмана, пойманного израильской разведкой Моссад в Аргентине и повешенного в 1961 году в Израиле. Визенталевский Центр сумел обнаружить гестаповского офицера Карла Зильбербауэра, ответственного за арест в 1944 году 15-летней Анны Франк, что имело большой общественный резонанс. Признательные показания Зильбербауэра окончательно дискредитировали антисемитскую версию о том, что дневник несчастной девочки якобы является позднейшей подделкой. С другой стороны, в начале 1980-х годов Визенталь, не побоявшись острого конфликта со многими коллегами, выступил в защиту обвинявшегося в связях с нацистами австрийского дипломата Курта Вальхайма, четвертого Генерального секретаря ООН, в 1986–1992 годах президента Австрии. В 1977 году был основан Центр Симона Визенталья со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе – независимая организация, работа которой направлена на сохранение памяти жертв Холокоста, пропаганду толерантности и борьбу с антисемитизмом. Незадолго до кончины Визенталь объявил о прекращении своего поиска нацистов. «Те, кого мне не удалось разыскать, – сказал Визенталь в интервью, – сейчас уже глубокие старики, не способные предстать перед судом». Тем не менее Центр Визенталья розыск нацистов не прекратил. Деятельность Визенталья, за которую ему многократно угрожали убийством, была отмечена высокими наградами США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Австрии, Польши, Израиля, Люксембурга, в 2003 году он был удостоен титула британского лорда. Умер Визенталь в сентябре 2005 года в Вене, где одна из улиц теперь носит его имя. Похоронили его в израильском городе Герцлия, недалеко от Тель-Авива.

**ЛЕХАИМ** ДЕКАБРЬ 2008 КИСЛЕВ 5769 – 12 (200)

## **Авторы номера:**

**Николай Александров** (р. 1961) филолог, литературный критик, журналист, ведущий программ на телеканале «Культура» («Разночтения», «Порядок слов») и радиостанции «Эхо Москвы» («Книжечки»).

**Роман Арбитман** (р. 1962) литературный критик, пишущий о проблемах массовой культуры. Автор «Истории советской фантастики» (под именем доктора филологии Р.С. Каца) и нескольких детективных романов (под маской Льва Гурского).

**Борис Барабанов** (р. 1973) журналист, музыкальный обозреватель Издательского дома «Коммерсантъ».

**Светлана Бунина** литературовед («Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века [М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева]» [2005] и другие работы по истории русской литературы).

**Жанна Васильева** журналист, обозреватель журнала «Итоги». Также сотрудничает в изданиях: «Литературная газета», «Сегодня», «Искусство кино», «Кинопроцесс», «Персона».

**Михаил Горелик** (р. 1946) эссеист, публицист, литературный критик. Автор книги «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем» (2003).

**Самуил (Шмуэль-Аба) Городецкий** (1871–1957) историк еврейского мистицизма и хасидизма («Хасиды и хасидизм», «Еврейский мистицизм» [1931–1958]).

**Хаим Граде** (1919–1982) один из крупнейших еврейских писателей XX века. Писал на идише. Получил светское и традиционное еврейское образование. Дебютировал как поэт в 1932 году. Был членом литературной группы «Юнг Вильне». Автор нескольких сборников стихотворений, циклов рассказов и романов «Безмужняя жена», «Цемах Атлас», «Немой миньян».

**Марк Зайчик** (р. 1947) прозаик («Феномен» [1985], «Сделано в СССР» [1988], «Иерусалимские рассказы» [1996]). Печатался в журналах «Континент», «Эхо», «22», «Звезда».

**Галина Зеленина** историк, литератор, переводчик. Доцент РГГУ и ИСАА при МГУ, редактор сайта «Booknik.ru: Еврейские тексты и темы». Автор монографии «От скипетра Иуды к жезлу шута. Придворные евреи в средневековой Испании», переводов и статей по средневековой еврейской истории, истории Испании, гендерной проблематике.

**Анна Исакова** журналист, прозаик («Ах, эта черная луна!» [2004]). Литературный обозреватель газеты «А-арец».

**Леонид Кацис** (р. 1958) филолог («Владимир Маяковский: поэт в интеллектуальном контексте эпохи» [2004]; «Осип Мандельштам: мускус иудейства» [2002]; «Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса» [2006] и др.). Профессор Учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ.

**Этгар Керет** (р. 1967) писатель, режиссер, сценарист, обладатель множества премий литературных и кинематографических. Автор романов «Разбить Свина», «Азъесмь».

**Борис Клин** (р. 1970) журналист, обозреватель газеты «Известия». Лауреат премии ФЕОР «Человек года» – 2006.

**Евгений Левин** (р. 1973) журналист, переводчик, автор пособий по еврейской традиции.

**Тамара Ляленкова** журналист, сценарист, писатель. Автор романа «Роза Галльская» (2008). С 1993 года постоянный автор радио «Свобода»

**Афанасий Мамедов** (р. 1960) прозаик, журналист. Автор романов «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам». Финалист Букера-2003. Лауреат премии им. Казакова (2007).

**Давид Маркиш** (р. 1938) писатель, сценарист, журналист. Автор романов «Стать Лютовым», «Белый круг» и других, сборников рассказов. Лауреат израильских и международных литературных премий.

**Виктория Мочалова** филолог-славист, директор Центра «Сэфер»; зав. Центром славяно-иудейских исследований Института славяноведения РАН; автор работ по истории и культуре восточноевропейского еврейства.

**Антон Нестеров** (р. 1966) переводчик, критик, литературовед. Автор работ по английской литературе. Ведущий рубрики «Другая поэзия» в журнале «Иностранная литература».

**Леонид Радзиховский** (р. 1953) журналист («Российская газета», «Еврейское слово», интернет-издание «ЕЖ»), радиостанции «Эхо Москвы» и «Маяк»).

**Нохум-Зеэв Рапопорт** (р. 1955) раввин, переводчик, преподаватель Талмуда и хасидизма в иерусалимской ешиве.

**Филип (Милтон) Рот** (р. 1933) прозаик, эссеист. Автор романов, художественно-документальных произведений. В 2007 году Рот первым получил премию, учрежденную в память Сола Беллоу.

**Клайв Синклер** (р. 1948) английский прозаик. За сборник рассказов «Золотые сердца» (1979) получил премию им. Сомерсета Моэма. В 1983 году опубликовал книгу «Братья Зингеры» об Исааке Башевисе Зингере и Исроэле-Иеошуа Зингере.

**Михаил Эдельштейн** (р. 1972) филолог, литературный критик, заведующий редакцией биографического словаря «Русские писатели». Печатается в «Русском журнале», «Политическом журнале», «Новом мире», «Знамени», «НЛО» и др.

**Леонид Юниверг** (р. 1945) историк, библиограф, издатель. Главный редактор и составитель альманаха «Иерусалимский библиофил».

**Борис Явелов** (р. 1940) автор научных и научно-исторических статей и книг.